

LE MESSENGER

ВЕСТНИК

РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ

160

ПАРИЖ — НЬЮ-ЙОРК — МОСКВА

№ 160

III — 1990

кж

LE MESSENGER

БИБЛИОТЕКА - ФОНД
"РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ"
Н. РАДИЩЕВСКАЯ, 2
915-10-73

ВЕСТНИК

РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ

160

БИБЛИОТЕКА-ФОНД
«РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ»
МОСКВА, НИЖНЯЯ РАДИЩЕВСКАЯ 2
4001524

ПАРИЖ — НЬЮ-ЙОРК — МОСКВА

№ 160

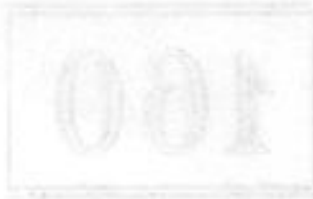
III — 1990

LE-MESSAGER

BECTHINK

ВАСКОТО КИПЧИНАСКОТО

ДОНКЕШИН



Copyright © Le Messager. Paris 1991

COMMISSION PARITAIRE
N° d'inscription 620 16

От редакции

Применение грубой силы в Литве внезапно отрезвило всех, кто уже начал надеяться, что разложение семидесятилетней советской системы будет идти плавно и бескровно. Однако не следует предаваться излишним страхам и систематическому пессимизму. Аналогии с Будапештом и Прагой, хотя и напрашиваются, но относительны. К "тому" прошлому возврата уже не будет. Стоит только сравнить горстку "отчаянных", вышедших на Красную площадь в 1968 г., с теми десятками, если не сотнями тысяч, что на улицах Москвы, Петербурга и других городов высказали солидарность с литовскими братьями. Слишком многим стало ясно, что литовский погром угрожает не только законным стремлениям литовцев к независимости, но и самой России, ее самостоянию и внутренней свободе.

Особо радует и утешает, как твердо и смело отнеслась к литовским событиям русская православная Церковь на всех ступенях: в самой Литве, устами популярнейшего теперь там архиепископа Хризостома, или 24-летнего иеромонаха Иллариона, настоятеля Каунасского собора, призвавших русских солдат не повиноваться бесчеловечным приказам; но и на верхах, в центре: патриарх Алексий, в обращении, напечатанном в "Известиях", недвусмысленно осудил военное вмешательство в Литву, как "политическую ошибку, а с христианской точки зрения, как грех".

Эти выступления подтверждают, что русская Церковь за два-три года гласности (начавшиеся для нее лишь в 1988 г.) уже успела обрести независимость по отношению к государству. (Что не означает безошибочности отдельных высказываний и действий). Тем самым беспредметной, ничем не оправданной и потому вдвойне греховной представляется раскольничья деятельность "карло-

вацкого" Синода, считающего "московскую" Церковь ущербной, чуть ли не безблагодатной за ее подчинение безбожной власти.

Но и в западной печати, в частности, на основании сообщения о том, что патриарх Алексей в начале января (до Литовских событий) дал свою подпись под воззванием "53 депутатов" в пользу усиления горбачевской власти, начали ополчаться на русскую Церковь недоброжелательные и высокомерные судьи, упрекая ее в тесном союзе, ради материальных благ, с нарождающейся партийной диктатурой.

Как объяснить эти поспешные (воззвание "53" Патриарх как будто даже и не подписывал, а высказываниями о Литве как бы его опроверг) и огульные (подпись Патриарха под мирским документом не связывает всей Церкви) обвинения? "Гордый взор иноплеменный" по-прежнему не хочет, а вернее всего не может понять кенотический путь православной Церкви, не обладающей ни духовной непогрешимостью, ни материальной мощью, ни политической властью, к тому же претерпевшей самые страшные гонения, какие были во всей мировой истории.

Православие — "нищая религия", как некогда выразился о ней поэт Б. Поплавский, в буквальном смысле убогая, и не потому ли оно чище, полнее, святее славит Бога? Когда-то французский писатель Жорж Бернанос сказал о Спасителе: "Христос занял настолько последнее место в мире, что это место никто у него отнять не мог". Не применимы ли эти слова и к Ею, Христовой, православной Церкви, в которой "тайно светит" смиренная нагота смиреннейшей из религий?

Никита Струве

Григорий ЛЕБЕДЕВ, еп. Шлиссельбургский (1878–1937)

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ОБРАЗЫ
(Дневник размышлений над Евангелием)

БЛАГОВЕСТИЕ СВ. ЕВАНГЕЛИСТА МАРКА

В Богословских Трудях-16 (М., 1976, с. 5-32) и БТ-17 (М., 1977, с. 3-84) "Евангельские образы" еп. Григория Лебедева опубликованы со значительными сокращениями (34 машинописных страницы), которые не оговорены и не обозначены никак. Здесь приведены опущенные фрагменты. В них раскрывается сущность зла, мирской суеты, говорится о конце века сего, изобличается безбожие в различных личинах. Вероятно поэтому, из соображений "перестраховки", редакция "БТ" в свое время не стала печатать эти страницы. К сожалению, купюры не были обозначены. Поэтому нумерация фрагментов (§§) в опубликованном тексте не соответствует рукописному оригиналу. Например, § 10 (БТ-16, с. 8), толкование на Мк. 1, 32, согласно рукописи, должен быть обозначен как § 11. И далее, в "БТ" все смещено. Здесь указана правильная нумерация фрагментов, соответственно евангельскому последованию.

10.

"Пришли (Христос с учениками) в дом Симона... Теща же Симона лежала в горячке, и тотчас говорят Ему о ней. Подошел, Он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им". — Мк. 1, 29–31.

Теща Симона, лежащая в горячке, — образ человека в миру. Каждую душу в миру трясет сатана, как в горячке... "Се сатана просит, дабы сеял вас, как пшеницу"... Как трясется засеваемое зерно, так дьявол трясет человеческие души. Надо, чтобы Господь взял душу как бы за

руку, и тогда “она стала служить Ему“. В душе есть обращенность к Господу, т. е. желание работать Ему, а сил нет... Мир трясет душу, и усилия ее бесплодны. Возьми Божью руку, и тогда встанешь от болезни мира и станешь служить Христу.

12.

“Господь не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос“ . — Мк. 1, 34.

Конечно, бесы знают, где Христос, где Божье, где добро, где зло. Они намеренно держат человека в слепоте, в потемках, чтобы не заблестел для человека Божий Свет истины. А на слепоте держится его рабство дьяволу.

21.

“И сказал (Господь) им (ученикам): суббота для человека“ . — Мк. 2, 27.

Не ставьте человеческих обычаев выше Божьих требований. Человеческий обычай зовет в сторону от храма, к семейной и домашней жизни, он идет вразрез с Божьим законом. Откиньте его деспотизм... Пусть обычай подчинится человеку ради Бога, а не господствует над человеком, отдаляя его от Христа.

47.

“И, вскричав громким голосом, сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю Тебя Богом, не мучь меня! ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека“ . — Мк. 5, 7–8.

Тут новое свидетельство, что тьма не выносит Света и зло не выносит добра. “Не мучь меня“. Кто мучил его? Тьме невыносимо самое присутствие Света. (Ср. Мк. 1, 23–24).

Так, при соприкосновении с добром, грешник впадает в раздраженное состояние (вскричал громким голосом) и шлет вызовы добру: “Что тебе до меня“. А когда Свет начинает побороть тьму, когда добро, усиливаясь, хочет вытеснить зло, тогда душевный перелом проходит с

большой болезненностью. Дьявол с неохотой оставляет насиженное место. Для него болезненно сдать позиции. “Не мучь меня“. Он мучается, и, уходя, он мучает свою жертву. Помни это! А все—таки Распорядитель души, пока она не закоснела от зла, — Господь. И, конечно, Он одним дыханием уст выгонит сатану.

48.

“И много (бесы) просили Его, чтобы не выгонял их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили Его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, вышедши, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море“ . — Мк. 5, 10–13.

Бесы просили не высылать их из той страны. Зло, как живая стихия, группируется. Сродное притягивается сродным. Группирующаяся стихия крепнет. Создается могучая среда, которая властвует, поглощает окружающее... Так наслаивается стихия зла. И понятно, что агентам зла невыгодно расслоять среду.

В своей стихии они сильнее... Их губительная работа идет легче и усиленнее. Вот почему бесы просят оставить их в той же среде.

Так бывает и в человеческом обществе: зло, как зараза, ширится, оседает черными пятнами на человечестве и имеет тенденцию подчинить себе все окружающее. Зло оседает в семьях. Бывают семьи лжи, семьи легкомыслия, семьи черствости, семьи гордости и пр. и пр.

Так как в этом мире зло не истребляется Господом поголовно, то Господь снисходит к очагам зла и терпит их. Вот почему Он разрешает бесам оставаться в том же районе. И бесы удаляются в свиней.

Свиньи — образ порочного человечества. Значит, бесы уходят в свою среду, и большую, сложившуюся, укоренившуюся среду (стадо большое). Св. евангелист дважды подчеркивает, что это среда зла. Свиньи паслись “при горе“. Горы, где жил бесноватый, — это пути смерти и зла. На этих путях и свиньи. Это среда зла. И в другом месте: “свиньи бросаются с крутизны“ самости и пороков. На ней

бился и бесноватый. Это среда зла. Итак, бесы уходят в свою среду. Но конец их один — гибель. Свиньи тонут в море. Конец пути смерти — одна гибель, духовная смерть.

49.

“Жители вышли посмотреть, что случилось”. — Мк. 5, 14.

Вот образ человеческой толпы. Как она поверхностна, обывательски мелочна, и вся она во внешнем! И ничем, ничем, кажется, не разбудишь ее от духовного сна.

По стране ходит Великий Учитель. Он совершает знаменья, обличает неправды жизни, зовет к возрождению. Вот волны Его обличения уже стучат в людские души, а Его знаменья потрясают стены людских жилищ, а обыватель, сонливый, апатичный, вышел посмотреть, “что случилось”. Евангелист в коротком простом слове передает выразительную картину жизни: “вышли посмотреть, что случилось”! Эпическое спокойствие! Ни волнения, ни стремления разобраться в окружающем, ни попыток подняться над мелочностью дня!

Один захват внешностью! Одно мелочное всепоглощающее любопытство: “что случилось”.* “И просили Его, чтобы отошел от пределов их”. И Господь оставляет людей.

Так было всегда! Волны Божьих призывов набатом бьют в человеческие души. Знаменья потрясают стены людских жилищ, а обыватель только кидается от мелочи к мелочи и с жадностью выкликивает, “что случилось”.

* Евангелист Лука отмечает только чувство страха гадаринян перед непонятным для них происшествием, причинившим материальный ущерб (8, 35–37).

51.

“Бесновавшийся просит Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус не позволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя”. — Мк. 5, 18–19.

А почему в другой раз указывает оставить дом и идти за Собой? “Приходи, следуй за Мной”, — сказал юноше. (Лк. 18, 22). И еще: “всякий, кто оставит дом... отца... мать... жену... ради имени Моего, наследует жизнь вечную”. (Мф. 19, 29).

Есть заповедь о любви к Богу, и она первая и главнейшая: “Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем твоим... Сия есть первая и наибольшая заповедь”. (Мф. 22, 37–38). Есть заповедь о любви к ближнему, и она по своей важности подобна первой.

“Вторая же подобная ей: “Возлюби ближнего твоего, как самого себя”. (Мф. 22, 39). И исполнение первой контролируется второй: “Кто говорит: “я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец”. (Иоанн. 4, 20).

Потому Господь, утверждая исцеленного бесноватого в любви к Себе, посылает его на дело любви к ближнему: “иди домой к своим”. И, конечно, первое дело любви к своим родным — открыть им истину жизни, если они пребывают во тьме.

Исцеленному и заповедуется пойти к неверующим и рассказать им о Господе и о чудных делах Его милосердия.

А вот когда дело любви уже исполнено (“все это сохранил я от юности моей”, Мф. 18, 21), тогда человеку указывается, как предел совершенства, всецелая отдача себя Богу. “Если хочешь быть совершенным, приходи и следуй за Мной”. (Мф. 19, 21).

Или когда при исполнении дела любви обнаружилось, что “ближний” принадлежит к миру не Христа и не покинул его, тогда естественно, по слову Господа, разделение человека “от отца своего” (Мф. 10, 35), и человек ради Царствия Христа оставляет дом, отца, мать, жену, чтобы наследовать жизнь вечную (Мф. 19, 29).

Этими же словами Господа, обращенными к исцеленному, указывается обязанность верующего не скрывать

Божьих милостей, явленных человеку, поведывать их миру, особенно в тех случаях, когда окружающие нуждаются в утверждении в вере. Как Господь во имя долга любви направил исцеленного бесноватого к своим, чтобы открыть истину, так же точно, во имя любви, наш святой долг открыть своим, ходящим во тьме, истину Христа и Свет жизни по Его правде.

52.

“И пошел (исцеленный бесноватый) и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились”. — Мк. 5, 20.

Опять толпа... любонитная и равнодушная, падкая к новости и духовно сонная. “И все дивились...”

Она схватывает новость, закидывает вопросами, переспрашивает, хотя подробности, сообщают друг другу, пожимают плечами по необычности происшедшего. Они оживлены, они целый день будут говорить об этом... и только! “И все удивились”. А почему не вернули? Почему не поправили своей грубости? Ведь они выгнали Великого Человека, сделавшего добро. Почему не пали к ногам Учителя? Почему не встрепенулись души? Почему нет раскаяния? Даже нет понимания. Они беспокойны. Или свинья дороже и ближе душе человека. В море внешности они только “дивились”. А Он ушел. Он отвернулся, быть может, навсегда! ...

54.

“Иисус, услышав... слова (о том, что дочь Иаира, которую Он шел исцелить от болезни, умерла и что не нужно утруждать Учителя идти в дом Иаира) тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй”. — Мк. 5, 36.

Вера отлична от знания. Это две сферы, и каждая — со своими законами. Знание — это земля, и законы знания — законы материальные, земные.

Вера — это дух, и законы веры — это законы духа. И как земля не соединима с духом, так знание не соединимо с верой. И как знание не соединимо с верой, так законы

земли не приложимы к явлениям веры. Они будут стеснять веру, связывать ее, спутывать ее полеты. Вот почему своей веры ты не перемешивай с земным и для веры не ищи земных подпорок. Это гнилые подпорки. Они только вяжут веру. А вера должна иметь свободный полет. Значит, не прикидывай земную мерку к делам веры и дела веры не ставь в зависимость от земных событий. Например, ты знаешь, что твой больной ребенок не поправляется и что болезнь осложнилась. По человеческим соображениям, по медицинскому знанию ты видишь, что шансы на жизнь ребенка убывают, является растерянность, боязнь. И если ты будешь молиться Христу, сам думая в то же время, что по-медицински ребенок должен умереть, то из-за серьезности положения ребенка помощь Христа будет казаться почти несбыточной. И твоя молитва будет, может быть, и глубокой молитвой человеческого бессилия, но вера твоя уже изранена. Ее надломило знание, факт жизни, от которого ты отравляешься. Ее надломила “боязнь”, совершенно законная с человеческой точки зрения, с точки зрения земли. А потому, в деле веры откинь землю. И Христос говорит Иаиру: “не бойся”, т. е. выбрось из головы сообщение, что дочь умерла, это земля. И там, у тебя дома, по законам земли, что-то совершилось. Пусть, это совсем не важно. Ведь тебя же привела ко мне вера. Ты и веруй! Вера же дух. Это другая сфера. Там свои законы и своя жизнь. И она совсем не зависит от совершающегося на земле. Ведь не скажешь же ты, что вот, если у тебя болит палец и ты помолишься Христу, то палец заживет и Христос исцелит тебя; а вот, если случится серьезная болезнь, то еще надо подумать: придет ли к тебе Христос. Как будто акт Божьей воли стоит в связи с твоим пальцем или твоими внутренностями.

Ясное дело, что акт Божьей воли не зависит от малости или крупности земных вещей. Ясное дело, что для Господа одинаково свободно придет к человеку и когда он порезал палец, и когда он стоит на краю могилы. И одинаково для Господа сделать чудо милосердия и в том, и в другом случае. Ведь не остановило же Господа совершить чудо милосердия даже разложение тела Лазаря (Иоан. 11, 39).

Значит, Господь приходит независимо от того, что совершается по законам земли. А чтобы придти Господу, это зависит не от земли и не от того, что совершается на земле, а зависит от духа человека и от того, что совершается в этом духе. Так пусть же земля не связывает духа, когда он уходит в сверхземное. И потом, сверхземное для земли есть неизвестность. А неизвестность всегда угнетает ум человека. Неизвестность родит в уме колебания, боязнь. А для духа сверхземное — Бог и радость. И уход в сверхземное только охраняет дух. Так пусть же земля, земное, ум не связывают духа уходить к Отцу и просить у него потребное со всей простотой и силой веры. И придет Господь, что бы ни делалось с тобой на земле и как бы ни казалось невероятным с человеческой точки зрения Божье посещение.

61 “Не бойся, только веруй”.

57.

“И смеялись над Ним, (потому что сказал Господь, что спит девица)”. — Мк. 5, 40.

Вот с какого времени идет насмешка над Христом. И понятно: “Я не от мира”, и они (христиане) не от мира. Христос и мир — два царства. Это плоть и дух. И чем более противоположность меж ними, тем непонятней для мира Христос, и тем больше недоумение мира и злее его насмешки.

Христос и христианский дух. А мир “судит по плоти” (Иоан. 8, 5).

65.

“И сказал им, если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам: отрадней будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу”. — Мк. 6, 10–11.

Какая страшная участь. И пойми, что это участь не палестинских городов и домов времени Христа, которые отвернулись от учеников и от Христова учения, — это

участь всех, отвергающих евангельскую истину, во все времена и во всех народах.

Содому и Гоморре, городам безнравственности, в наказание сожженным огнем, отрадней будет в день суда, нежели городу тому, который отвергнет вас, вестников Божьего Слова. Не об апостолах. Не об апостолах заботится и не им обеспечивает радушный прием, а скорбит об ожесточенных сердцах, сознательно отвергающих истину, когда она известна, проповедуется. Как в другой раз записал апостол: “горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида” (Мф. 11, 21). Такова страшная участь сознательно отвергающихся истины. “Если бы я не приходил и не говорил им, они не имели бы греха, а теперь они не имеют оправдания в грехе своем”. Теперь не имеют оправдания, потому что пренебречь истиной — значит сознательно обречь себя на обладание тьмы. А для тьмы — участь тьмы. Здесь только справедливость.

Что сеял, то пожнешь! Разве можно шутить Словом Жизни? Разве можно безнаказанно пред Вечной Правдой пройти с усмешкой презрения мимо откровенного Слова Божественной Истины? Какая наивность, какая глупость! Разве можно безнаказанно предпочесть Слову Вечной Правды побасенки ограниченного человеческого ума! Вот и результат: предпочел умную тьму, оставайся во тьме! “Горе тебе, Хоразин! Содому и Гоморре будет отраднее в день суда”, потому что Содом и Гоморра не слыхали проповеди истины. А если бы в Содоме были явлены силы (и, значит, была проповедь истины), явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня (Мф. 11, 28). Тебя не заинтересовало слово Правды? Ты отверг Свет Истины? Ты остался глух к призывам спасения? Евангельские рассказы для тебя наивная фантазия? Тебе дороже кичливое пустословие человеческого ума? Так получи свое — осуждение отвергнутой истины.

Истина, Вечное Евангелие, отвергнутое тобой, твой неумолимый Судья: “Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих, имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день”. (Ин. 12, 48).

“И увидел я... Ангела, летящего посредине неба, который имел Вечное Евангелие... И говорил он громким

голосом: убойтесь Бога... ибо наступил час суда Его". (Апок. 14, 6–7). И суд за отвергнутую истину будет только истинен. Вся вселенная подтвердит это. "Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот, здесь больше Ионы". (Мф. 12, 41). Проповедь пророка смягчила сердца грешнейших ниневитян, а ты глух и отвергаешь проповедь Самого Сына Божия.

Ты нераскаяннее грешнейших ниневитян! И они восстанут на суд и будут свидетельствовать против тебя. Тебя не смягчил призыв Самого Бога!

"Царица южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот, здесь больше Соломона". (Мф. 12, 42). Царица южная (Савская), ища истины, когда услышала о необычайной мудрости Соломона, от пределов земли пришла за словом жизни. Царица презрела все опасности неизвестного пути. Она презрела женскую слабость. И идет и ищет человеческой мудрости, чтобы научиться истинной жизни!

А к тебе пришел Сам Спаситель. Он зовет и открывает Небесные тайны, и дает исцеление всей твоей немощности, а ты беспечно или горделиво отвернулся!

Так какое же может быть оправдание тому, кто остался во тьме и грехе? Никакого! Горе тебе! Отраднее будет Содому и Гоморре в день Суда...

68.

"Ученики Его, приступив к Нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много, Ты отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали Ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на двести и дать им есть? Но Он спросил: сколько у вас хлебов, пойдите посмотрите. Они, узнав, сказали: пять хлебов и две рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами, по сто и пятидесяти.

Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы, и дал ученикам Своим, чтобы они раздали им; и две рыбы разделил на всех. И ели все и

насытились. И набрали кусков хлеба и остатков рыб двенадцать полных коробов". — Мк. 6, 35–43.

"Отпусти их..." Это голос мира. Он делит жизнь на две полосы: одна полоса — значиться христианами, пойти в церковь, послушать св. Писание, повздыхать о жизни святых; другая полоса — это собственно жить, т. е. хлопотать, заботиться, приобретать, радоваться, отдыхать, растить детей и пр. и пр. И потому, когда нужно жить, тогда мир говорит христианству: "Отпусти их... они послушали Слово Истины и теперь пусть пойдут поживут. Ведь люди, надо им же и об жизни подумать". И около христианства место безжизненное, пустынное. Христианство — хорошая теория... А жить христианством — не живут. А потому "Отпусти их". Христос не отпустил народа. То, что говорит мир, — заблуждение. "Я хлеб жизни" (Ин. 6, 48). От Меня и около Меня питайтесь душами и телами. Вот, когда вы уходите от Меня "жить" и насыщаться помирскому, что вы выгадали? Не умирали ли вы не только душами, но и телами. "Отцы ваши ели манну... и умерли" (Ин. 6, 49). А Я дам "хлеб таков, что ядущий его не умрет" (Ин. 6, 50). Куда же Я отпущу от Себя, на смерть? И Он оставил народ около Себя. Оставил для насыщения сначала душ, потом тел. И хотя души уже были насыщены, а все же говорит ученикам: "Вы дайте им есть". Конечно, Он через это внушал ученикам, чтобы насытили народ словом истины, чтобы души их насытили, потому что знал же ведь Он, что ученики не имели вещественного хлеба и никак не могли накормить пять тысяч народа. Значит, словами "дайте им есть" напоминает, что посланные (апостолы) и раздаватели слова прежде всего должны позаботиться о духовном насыщении алчущих правды, напоминая, что это первая забота о душе. Она должна напитаться от Христа.

А вторая забота о теле, о всей внешней жизни. Господь знает, что такая забота естественна, и указывает, что она должна быть удовлетворена около Него.

Ради этой цели Господь совершает великое чудо насыщения пятью хлебами и двумя рыбами пяти тысяч человек, не считая женщин и детей (Мф. 14, 21). Значит смысл чуда насыщения тот, что и внешняя человеческая жизнь

должна строиться Господом же, как и насыщение Им души; что человек во всей своей жизни, в заботах, в трудах, в отдыхе, в радости, в печали должен жить от Него, через Него и в Нем.

Для наглядной передачи этой мысли Господь совершает чудо в обстановке полного земного порядка. Он хочет указать, что все естественные земные потребности ведомы Ему и Он удовлетворит их под Своим могучим воздействием. Как добрый Домоправитель, Господь спрашивается: сколько имеется пищи? Как добрый Домоправитель, Господь приказывает всем занять места в полном порядке, рядами, с промежутками через 50, 100 человек. Как добрый Домоправитель, Господь велит ученикам разносить сидящим пищу и раздавать им, чтобы не было суеты и беспорядка. И, наконец, как добрый Домоправитель, Он приказывает после трапезы собрать остатки, чтобы дар Божий не валялся неприбранным. Зачем нужны все эти подробности в евангельском рассказе? Все подробности порядка насыщения приводятся затем, чтобы показать, что Господь и в земном устроении жизни все предусмотрит, как мудрый Создатель жизни, и удовлетворит земное потребное, как любящий Отец.

Теперь, как творится самое насыщение? Чем достигается насыщение? Умножением хлеба, т. е., иначе говоря, увеличением внешних земных вещей? Нисколько. Ни один евангелист, рассказывая об этом чуде, не говорит, что Господь из пяти хлебов сделал 500 хлебов и ученики раздавали их; и из двух рыб сделал 200. Насыщение дается благословением Бога: "возрев на небо, благословил и преломил". И стали делиться те же пять хлебов, и от отламываемых кусков этих пяти хлебов с избытком были сыты пять тысяч человек.

Здесь развитие той же великой мысли, что устроение земного порядка идет от Христа и наилучше совершается Его благословением. Значит, не бесконечная забота о вещах, не бесконечная череда приобретений, не умножение вещей, не этот обычный плен вещам обеспечивает удовлетворение жизненных потребностей, а благословение Бога.

Когда земная жизнь устроится под этим могучим благословением, тогда как бы повторяется чудо насыщения: всего хватает, малое удовлетворяет, большое не раздражает, и нет постыдного рабства вещам и бесконечной рабской работы ради вещей, ради "живота".

Когда же жизнь строится без Божьего благословения, по эгоистической самости, тогда она обращается в египетский плен вещам. Человек приобретает и не насыщается, заботится, и не уменьшается ярмо забот. Весь свой век человек в хлопотах и тревоге... и конца нет делам... и не прибывает спокойствия и удовлетворения жизнью. Какое-то беличье колесо. Бег без достижения и радости. Плен, ярмо вещей.

Так всегда, когда жизнь строится без Бога.

70.

"Вечером лодка (с учениками) была посреди моря, а Он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный, около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их... Они увидели Его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели Его и испугались... И тотчас заговорил с ними и сказал им: ободритесь; это Я, не бойтесь. И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебом, потому что сердце их было окаменено". — Мк. 6, 47–52.

Опять та же картина (ср. Мк. 4, 36–38). Лодка людской жизни сама по себе. Господь, Правитель жизни, Сам по себе. И понятно, лодка над пучиной. Там были вечером, т. е. к закату жизни. К вечеру она изжила все иллюзии земли, и нет у нее гавани, нет опоры, нет твердых берегов. Отяжелевшая лодка жизни к вечеру жизни чаще всего носится "среди моря", и сгущается около нее мрак жизни, а под ней — бездонная пучина.

И, конечно, лодка в бедствии! И, конечно, ветер был противный. Как же ей не быть в бедствии, когда она одна и беспомощна! И "противный" ветер жизни мира тоже неминуем!

И вот, когда бедствия протянулись длинной полосой, когда должны бы быть изжиты иллюзии и оценена человеческая беспомощность, тогда Господь, вечно бодрствующий над миром, идет по путям бедствующих человеческих жизней. Он всегда ходит по путям жизни, но люди в беспечности не видят Его.

Теперь, в дни бедствия, и когда бедствие достигло вершин развития ("в четвертую стражу ночи"), Он проходит так близко к бедствующим, чтобы быть заметным.

Но и милосердая о страдающем человеке, Господь, однако, не может спасти человека насильно, без воли человека, и вот почему, когда со стороны бедствующих учеников не было обращения за помощью, Господь хочет миновать их. Об этом и упоминает св. ев. Марк: "и хотел миновать их". Человек, чтобы получить Господню поддержку, должен обратиться ко Христу. Надо, чтобы у человека была открыта душа и приняла Божественное воздействие. Ученики увидели Христа, идущего по морю, но откликнулись не обращением за помощью, а смятением, растерянностью и испугом.

Их испугала необычность хождения по воде, и они не уразумели, что это живой Бог, для Которого все возможно, как Творца стихий, а подумали, что они видят призрак. Люди, переживая бедствие, чаще всего бывают подавлены им и пригнаны к земле. Еще в первый период несчастья те из людей, кто не утратил веры в Бога, те обращаются к Нему с мольбой бедствующих учеников: "Учитель, неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?" Но так как Господь, испытывая мужество и укрепляя веру, приходит лишь в четвертую стражу бедствий ночи, то слабая вера успеваешь зачахнуть, а в душе разливается растерянность и смятение, а вместе с ним и подавленность. Когда в таком состоянии подавленности и влачности по земле человеческая душа соприкасается с Божественным воздействием на нее, она, как застигнутая врасплох, совсем теряется.

Соприкосновение с неизвестным и чрезвычайным усиливает страх, маловерие влачит мысль по земле. И вот тогда веяние чудесного мира, который зовет к Богу, воспринимается, как "призрак", как нереальное, как то, что

"показалось". А когда пройдет первый невольный трепет души от осязания сверхземного и человек вернется к будничному "прочному и ясному" сознанию, тогда минувшее мгновенье Божьего веяния рассматривается как иллюзия, объясняется расстроенным воображением, нервозностью и вспоминается как проявленная болезненная слабость.

Господь, однако, и при обнаружившемся малодушии учеников проявляет свое милосердие до конца. И так как в учениках теплилась вера, что их Учитель может спасти их, и их сердца невольно тянулись к Нему ("они хотели принять Его в лодку". — Ин. 6, 21), то Господь прекращает бедствие. Он успокаивает учеников, заверяя их, что это Он Сам, живой их Учитель, чудеса Которого они видели много раз.

И Господь входит в лодку. А как только Кормчий жизни вошел в лодку жизни, тотчас наступила тишина. Противного ветра как не бывало, и жизненное плавание пошло устойчиво и спокойно. Так верно руководство и так надежна охрана.

Не "изумляйся", не "дивись", как ученики (ст. 51), что бодрствует Господь и что милосердие Его велико и что Он ходит по путям жизни и подает руку, хотя бы ты был на грани отчаяния. А ты сам—то будь чуток, не "окамени сердца" (ст. 52), не похорони совесть в постоянных сделках, в приспособлениях, в устраивании жизни по попятному и земному, а сумей ощутить Господа и приход Его. Да не малодушествуй, робей и как бы стесняясь принять Божеское, пытайся приспособить его проявление к земным, естественным явлениям, а с внутренней теплотой, открытым сердцем прими Христа, со страхом и любовью поклонись Ему, возблагодари Его милосердие, что Он взыскивает тебя, грешного и забывшего Его, и тогда Господня рука выведет тебя из бедствия, и с ее помощью ты пойдешь прямее и тверже.

“И сказал им (Фарисеям и книжникам): хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?” — Мк. 7, 9.

В мирской жизни так бывает на каждом шагу, т. е. на каждом шагу отменяется Божья заповедь ради предания человеческого. И эта отмена стала таким законом, что люди даже не подмечают ее. Люди желают руководствоваться в жизни своим рассудком. И вот, при следовании за рассудком, происходит незаметная подмена Божьего закона человеческим обычаем.

Любям кажется, что они живут осмысленной, разумной жизнью и совсем свободны в выборе своих поступков.

Пустое заблуждение! Приглядиись!

Люди во все века рабы и попугаи. И они рабы и попугаи не только в быту, где все делается “как принято”, они рабы даже в своей мнимой идейности, когда под влиянием и под давлением модного течения мысли они и сами перестраивают свою идейность под него и начинают их танцеванье под модные перепевы.

А христианство, эта Высшая Откровенная Правда о жизни, заглушается модным установлением. Оно или совсем откидывается, как негодная отжившая теория жизни, или же оно оставляется внешне пристегнутым к жизни, как старая, маложизненная традиция.

И выходит, что послушание высшей жизненной истины, послушание Богу заменено рабством пред тренькающими пустыми погремушками времени. А слепой, бедный человек не видит, что он скоморошно попугаивает под жалкую балаалайку. Он спокоен, а иногда и горд. Он “свободен”. Он в первом ряду современности! Он носитель человеческого прогресса!

Так оковы современности, меняющиеся чуть не каждое поколение, носят спокойно, и человек не видит их, а Божьи веления о жизни, действительно выправляющие жизнь, не нужны. Они — рухлядь... они цепи, мешающие жизни! Какое жалкое заблуждение!

Оковы ограниченного человеческого ума и человеческого кривляния предпочтены Вечной Правде, Свету в жизни. Недомыслие! Почему так бывает? Да потому, что

Божье слово “вольно и невольно” беспокоит. Оно беспокоит совесть. Оно связывает в человеке стихию зла... Оно требует контроля над собой. Божий закон — как судья в человеке. А человеческой испорченности приятнее и приемлемее то, что развязывает стихию низшего порядка и потока ей.

Так и получает деспотию человеческий обычай и отбрасывается Божий закон.

“Кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми Ангелами”. — Мк. 8, 38.

Не пройди без внимания и этого слова!

Оно строгое. В нем речь не об явном отступничестве от Христа, а как будто о малом, совсем безгрешном: о постыждении Христом и Христовым.

Господь только что изложил о непримиримости с миром греха и, как следствие его, ученье о пути Креста, и делает выводы из этого учения применительно к жизни. А вывод такой: у тебя, христианин, свой путь, и ты иди им. Иди прямо, открыто, без смущения. Что же стесняться Жизни и Света, к которым ты идешь? Тебе будет очень трудно, потому что ты окружен миром греха. Если же ты для облегчения тяжести жизни среди зла, как тебе думать, станешь на путь сглаживания пропасти между тобой и миром зла, то ты только потеряешь, потому что всякий компромисс есть путь истребления христианства (ср. Мк. 8, 33—33). Незаметно для себя самого, но ты отвернешься от Меня, и тогда Мое лицо должно отвернуться от тебя.

Вот почему всякое, даже по-видимому малое компромиссное отклонение от Христа, даже только “стыждение Его” пред лицом мира греха (малюсенькая иконка) так строго встречается Господом, что Он постыдится такого верующего (отвернет Свое лицо: не все вас...), когда придет во славе Отца с ангелами Своими.

“При сем Иоанн сказал: Учитель! Мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас“. — Мк. 9, 38–40.

Как бесконечно Божественно милосердие. Когда человеческая душа, эта христианка по природе, сбита с толку и сбита с пути своим грехом и злом мира, все же ощутью тянется к Свету и дотянется до Бога и Христа, когда она еще не познала Христа в совершенстве и не ходит по Его пути и за Его учениками, Господь все же бережно ласкает ее и благословляет ее путь.

Даже такую душу, еще не сподобившуюся полноты благодатных дарований, Господь, ради признания Его имени, удостоивает своей поддержки вплоть до явления в ее жизни своих чудес.

И эту же бережность Господь заповедует ученикам: не отпугивайте ее, не насилуйте узостью требований, не ставьте как обязательного сейчас “единого пути“, которого сейчас она не понимает, и не заставляйте вот сейчас повернуть и идти за вами.

Богатый юноша ведь тоже не шел за Христом и не понимал и не принял Христова пути (“опечалился и отошел“), а как ласково обошелся с ним Господь и с какой зовущей ласковостью сказал ему: “не далек ты от Царствия Божия“.

Так и душа, ищущая Христа, Божественным милосердием и помощью придет к Нему, если она честно ищет Его. Она неминуемо придет к Богу и Христу, потому что путей только два: или путь с Богом и Христом против зла — или путь со злом против Бога и Христа. И третьего пути нет. Вот почему и сказал Господь: “никто, сделавший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня“.

А потому не возбраняйте ищущим ходить своими путями в поисках истины и Бога. Сегодня они не примут полностью Божиего пути. Завтра Божиим озарением, выросши духовно, они поймут единый путь и станут на него и пойдут только за Христовыми учениками.

Третьего нет. Или с Богом, или против Бога. И нейтральности нет. Вот почему и последний вывод: “Кто не против вас, тот за вас“. Или как дополнение в другом месте: “Кто не со Мною, тот против Меня“. Внимай. Здесь мудрость.

“Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я; и многих прельстят“. — Мк. 13, 5–6.

Гибели мира предшествует моральное банкротство мира. Оно обнаружится в потере пути жизни, потере правды жизни. А отсюда пойдет моральный разброд и выдвигание новых фиктивных ценностей, которые будут выдаваться за последнее слово могущества человека над жизнью. Наступит апофеоз человеческой самости.

Кроткий Учитель Божьей Истины — Христос будет отесняться шумливыми глашатаями “последних“ разумнейших истин. Кроткое слово Божией Правды будет заглушаться назойливыми лозунгами торжествующей материи. Смиранный носитель “вечных глаголов“ затмится дерзкими самозванцами, нагло подменивающими правду яркими погремушками последнего дня: “Вот где новый Бог, и вот в чем его новое откровение“. Апофеоз человеческой самости! А человеческая стадная масса, морально банкротная, погасившая в себе Свет, сбившаяся с пути, потерявшаяся, или будет (в малой своей части) кидаться из стороны в сторону в поисках новых истин, взамен якобы устаревших старых, или же будет тупо принимать всякую новую подсовываемую ей веру.

В те дни “берегитесь, чтобы кто не прельстил вас“.

“Когда же услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство; и будут землетрясения по местам и будут глады и смятения. Это начало болезней”. — Мк. 13, 7-8.

“Предаст же брат брата на смерть, и отец — детей; и восстанут дети на родителей и умертвят их”. — Мк. 13, 12.

Господь указал основную причину гибели мира в моральном разложении человечества и отвержении Евангелия, проповедь которого будет возвещена во всей вселенной; и теперь переходит к обозначению “начала конца”, “начала болезней”.

Чем же обозначится наступление периода последних годин? Оно обозначится следствием морального банкротства — моральным одичанием. Моральное одичание, прежде всего, заметно скажется во взаимных отношениях народов.

Когда мораль, правда будут выкинуты, как регуляторы жизни, тогда наступит право сильного, право кулака, денег, словом, право эгоизма лучше обставить себя. Тогда личность другого рассматривается или как ненужная для самоутверждения эгоизма, и она поработается, или как мешающая ему, и тогда она устраняется.

Так в международных отношениях культивируется война. И чем человечество морально ниже, тем будет обычнее, что народы будут создавать взаимные трения и сильный будет войной пожирать слабого. А к “концу дней”, когда вырождение человечества достигнет своего предела, очевидно, народы не будут выходить из состояния войн... будут непрерывные войны и “военные слухи”, т. е. не прекращающиеся приготовления к новым войнам.

Господь и говорит: “восстанет народ на народ и царство на царство... услышите о войнах и военных слухах... но не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть”.

Моральное одичание, раз оно явится, конечно, не ограничится его проявлением “к чужим”. Понятно, что оно пронизает всю жизнь человека. Оно пронизывает жизнь государственную, общественную, семейную, личную. Как, например, Господь указывает на ужасающее одичание в

самой интимной, самой дорогой, казалось бы, области человеческих взаимоотношений — в области семейной, в отношениях отца к детям и детей к отцу. И здесь одичание вызовет чудовищные невероятные обнаружения: “Предаст брат брата на смерть, и отец — детей... и восстанут дети на родителей и умертвят их”.

Одичание — худшее звериного состояния.

И, конечно, раз будет выкинута из руководства жизнью всякая правда и уничтожено всякое добро, то в человечестве истребится всякая устойчивость жизни, и оно, как зачумленное, будет испытывать постоянные конвульсии отравленного организма:

“И будут смятения”.

Господь сообщает и еще об одном показателе “начала болезней” — болезненное реагирование природы на истребление моральной правды на земле: “и будут землетрясения по местам, и будут глады”. Как будто природа, совоздыхающая человеку в его рабстве греху и жаждущая освобождения, переживает вырождение и тоже испытывает конвульсии “конца” и последнего истребления.

127.

“Но вы смотрите за собою: ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня, для свидетельства перед ними... Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой... И будете ненавидимы всеми за Имя Мое, претерпевший же до конца спасется”. — Мк. 13: 9, 11, 13.

Как тьма исключает свет, как больное зрение не выносит яркости дня, как уродству причиняет боль красота, как порок ненавидит добродетель и святость, так моральное одичание всеми силами возненавидит Свет на земле.

Свет приносящий — это Господь, и Его лучи отраженно светятся в христианских душах. А потому ненависть мира гибели обрушится на христианство.

“И будете ненавидимы всеми”... всеми силами земли. Они будут взваливать на вас всяческие обвинения. И обвинения будут лживы от начала до конца. Ни в чем вы не

повинны перед ними. А ненавидимы вы будете исключительно “за имя Мое”, за то, что вы христиане, представители Света. А тьма не выносит Света.

В результате ненависти вы будете гонимы: “вас будут предавать в судилище и бить в синагогах и пред правителями и царями поставят вас...” И опять—таки, все это последует не за ваши действительные преступления (которых у вас нет и быть не может), а исключительно “за Меня”.

Но вы не теряйтесь, продолжает Господь, “смотрите за собой”, чтобы вам не пасть духом. Если вы будете гонимы ради Меня, то могу ли Я оставить вас? Я настолько буду близок вам, что вам не следует даже заботиться о своих ответах в судилищах. Не вы будете говорить там, а Я за вас. И “что дано”, что подсказано будет вам в тот час Духом Святым, то и говорите.

Вы только не теряйтесь. “Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни”.

128.

“Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, — читающий да понимает — тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома твоего, и кто на поле, не обращай назад взять одежду свою.

Горе беременным и питающим соснами в те дни. Молись, чтобы не случилось бегство ваше зимою”. — Мк. 13, 14–18.

Отсюда начертание конца. Он обозначается тремя признаками. Здесь указан первый, как бы внешний признак конца. Это мерзость запустения, стоящая на святом месте, т. е. значит, внешнее истребление христианства, когда “святое место”, очевидно, будет уничтожено, и в дополнение к этому, быть может, последует и водружение на святом месте какого-либо иного культа, взамен Христа.

Вот когда увидите эту мерзость запустения на святом месте, тогда знайте, что “близ есть” Господь, “при дверех”.

И Господь указывает еще, что с того момента события будут разворачиваться быстротечно, и, следовательно, верующим надо быть в крепкой вере, терпении и крепкой устремленности ко Христу. Тогда брось земное и “беги в горы”. Беги на горы духа, потому что скоро придет Господь. Тогда забудь о доме, забудь об имуществе, забудь о всех дневных занятиях, забудь, одет ты или не одет, — беги... беги в горы, чтобы спасти неповрежденной свою душу, потому что скоро придет Господь. Тогда забудь о семье, о браке. Женщина, забудь о своей несправности или не задержись из-за кормления младенца, а беги, беги в горы, спасай душу, потому что скоро придет Господь.

И это обращение к верным о спасении душ в последнюю годину Господь заключает словами: “молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою”, т. е. молитесь, чтобы внешнее, земное, как-то: имущество, занятия, привязанности, семья и всякая неблагоприятная обстановка не помешали вашей устремленности к Грядущему, и не запуталась бы ваша душа в обреченном на гибель, и не погибла бы в развалинах обреченного.

129.

“В те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже доныне, и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных, которых он избрал, сократил те дни”. — Мк. 13, 19–20.

Указывается вторая черта, характеризующая “последнюю годину” (первая — внешнее истребление христианства). Это обволакивание земли тягчайшей непереносимой скорбью.

Св. евангелист Лука подробнее описывает эту последнюю тяготу земли, отпавшей от Бога. Будет “на земле уныние народов и недоумение”... “люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную”. (Лк. 21, 25–26).

Когда из жизни будет вынут последний этап ее духовности, когда жизнь будет только торжествующим животным процессом, тогда обездоленные людские души

(которые нельзя же вытравить без остатка) будут инстинктивно метаться в ужасающем уродстве жизни. Для них уже не осталось ни атома воздуха. Спертые удушающим злом, обвеваемые из бездны падения и пустоты, в которых они стоят, сдавленные навалившимся нагромождением всех мерзостей, всех преступлений земли, эти истребленные души, не имеющие теперь и тени отрады, в предчувствии близкой расплаты, в ужасе замечутся, ища хоть какого-либо просвета. Жизнь будет уже не просто тоскливой пустотой, она станет густущим ярмом... мало того, она станет безысходной могилой. Нет, нет. И этого мало: в могиле спокойствие пустоты. А здесь будет невыносимый, безвыходный, ужасающий гнет страха расплаты. Он будет тяжелее всякой гибели. "Люди будут издыхать от страха". И не будет выхода. И некуда кинуться. Люди сами будут искать смерти, как спасения, как прекращения непереносимого отчаяния. Вот тогда-то в паническом ужасе и крикнут они: "Горы, падите на нас! Холмы, покройте нас!" Это будут дни такого непереносимого ужаса, каких не было от начала создания мира. И в этом ужасе погибло бы все человечество, если бы Господь ради своих избранных не сократил тех дней.

Но ради избранных сократил те дни.

130.

"Тогда, если кто вам скажет: вот, здесь Христос, или: вот, там, — не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам все". — Мк. 13, 21–23.

Здесь речь о третьей и последней черте години конца, о последнем испытании и отборе избранных. Эти слова Господа предрекают смятения в стане христиан. Очевидно, смятение, переживаемое всей мятущейся вселенной, затронет и ту часть христиан, которая окажется не свободной от связи с землей, которая строила свои расчеты земного устройства. И вот, когда все земное устройство будет безнадежно валиться, тогда, понятно, эта часть христиан в поисках прочности ринется по разным надуманным расчудам и будет видеть в них "подлинного

Христа". И такие будут кричать, подбадривая себя: "вот с нами Христос... и мы верны Ему".

И так как это будет последнее сатанинское обольщение, которым враг спасения захочет через христианскую видимость прельстить и избранных, и оторвать их от Христа, то оно будет чрезвычайным по силе соблазна. Слуги сатаны получают от него силу пророчества, знамений и чудес. И это будут дни величайшей ответственности, потому что тогда обольщение пойдет из самой христианской среды и будет действовать именем Самого Христа и Господа и будет употреблять для прельщения высшие средства, которыми действует и Господь: пророчества, знамения, чудеса. А потому "берегитесь", заповедует Господь, соблазн будет силен и лицемерно прикрыт. Вам будет тяжело, и вы можете кинуться на него. "Берегитесь... вот, Я наперед сказал вам все".

131.

"В те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою. И тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба". — Мк. 13, 24–27.

Теперь Господь открывает, как совершится Его второе пришествие. В нем отмечаются три момента: первый — гибель физического мира, прекращение закона всемирного тяготения, нарушение закона обращения планет, прекращение света солнца и луны и колебание (изничтожение) всего мирового физического порядка. Второй момент, неразрывно сопутствующий первому, — появление в мировом пространстве Сына Божия Христа, грядущего как Судья мира, с силою многою и славою. И, наконец, третий момент, непосредственно следующий за вторым, — собрание Христом всех избранных Своих, живых и умерших, "от края земли до края неба". Этот момент в большой подробности описан апостолом в словах: "говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что это Сам Господь при ... гласе Архангела и трубе Божией, сой-

дет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем“ (1 Фес. 4, 15–17).

132.

“От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам: не пройдет род сей, как все это будет. Небо и земля пройдут, но слова Мои не пройдут. О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам Своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак бодрствуйте; ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте“. — Мк. 13, 28–37.

Это заключительная часть беседы Христа о втором пришествии.

Господь вновь подтверждает, что второй приход Его будет, неминуемо будет. “Небо и земля пройдут, но слова Мои не пройдут“. И вот вам доказательство: как совершится предсказываемое Мной разрушение Иерусалима, как “не пройдет род сей“, как увидите гибель этого города, так точно “не пройдет род человеческий, как придет, по Моему слову, гибель вселенной“.

Когда совершится это, в точности никто не знает, кроме Самого Бога. Как спасение мира, так и гибель его не механический процесс, стоящий только в произволе Бога, а процесс, определяющийся моральной активностью самого человечества, и потому его точные сроки стоят только в предведении Бога.

Вот почему Господом только названы характерные черты последних дней, обрисовывающие моральный уровень человечества, и указано, что наступление этого уровня является предвестником конца. И Господь приводит аналогию обычных человеческих угадываний. Как по мягкости ветвей смоковницы вы судите о близком на-

ступлении лета, так и по признакам морального банкротства человечества и по его следствиям знайте, что “близко“, “при дверях“ мира стоит Господь, чтобы войти и произнести приговор земному отступничеству.

А так как точность наступления Великого и Страшного дня Господня неизвестна, то последним призывом Господа является призыв к постоянному бодрствованию и молитве, чтобы быть всегда готовыми ко дню конца и прихода Господа.

“Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время“.

И снова Господь приводит образную аналогию. В соответствии с образами притчи о винограднике, Господь уподобляет Бога домохозяину, который временно “отошел в путь“, а людей уподобляет слугам домохозяина, оставленным “каждый с своим делом“. И так как слугам неизвестно, когда вернется домохозяин — вечером ли, в полночь ли, или утром, то приходится им быть исправными в своем деле, и быть всегда готовыми встретить Господа с спокойной душой и сознанием исполненного долга.

Так же и христианин должен быть в духовной бодрости и в постоянном исполнении своего жизненного долга, как верный приставник Домовладыки, готовый каждый час встретить Его приход и дать ответ во всем сделанном.

И пусть никто не забывает, что призыв к бодрствованию обращен Господом и к нему. Ведь ясно сказал Господь: “А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте“.

170.

“И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет“. — Мк. 16, 15–16.

Какая четкость и определенность судьбы человека. Человечество всей вселенной распределится только по двум лагерям: один — спасения, это находящиеся в Царстве благодати и вступившие в Царство славы; другие — неспасенные, те, что останутся вне этих Царств.

Первые — это верующие во Христа, крестившиеся в Него и получившие токи благодатного возрождения; вторые — неверующие, оставшиеся жить в неблагоприятном состоянии.

И в этом жестком делении сама неприкрашенная справедливость. Верующие — спасены. Они спасли свою душу и спасли свою жизнь от умирания, потому что через вступление в Царство благодати они возрождаются от смерти и живут уже в стихии бессмертия. Неверующие же — обреченные, потому что, продолжая носить в себе элемент разложения и смерти, они неминуемо кончают разложением и умиранием.

Вот почему и сказал апостол: “верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом... Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную”...

“Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни”. (I Ин. 5, 10–12).

“Приидите, нового винограда рождения, Божественного веселия, в нарочитом дне воскресения, Царства Христова приобщимся, поюще Его, яко Бога, во веки”.

Свящ. Павел ФЛОРЕНСКИЙ

ПИСЬМА ИЗ СОЛОВКОВ*

Публикация П. В. Флоренского

П. А. Флоренский, чье творчество сейчас все шире и шире публикуется, как в России, так и за границей, был арестован 25 февраля 1933 г. по ложному обвинению, а 26 июля осужден по статье 58, пункт 10, 11 УК СССР сроком на десять лет, и в августе, в эшелоне заключенных, вывезен на Дальний Восток в город Свободный, откуда переведен 1 декабря на мерзлотоведческую станцию г. Скворовино. 1 сентября 1934 г. он был неожиданно отправлен под конвоем через Медвежьегорск и Кемь в Соловецкий лагерь Беломорско-балтийского канала. Последние его известные письма датированы концом июня 1937 г., вторичный приговор к высшей мере наказания (а для родственников “десять лет без права переписки”) был вынесен Особой Тройкой УНКВД 25 ноября 1937 г. и приведен в исполнение 8-го декабря, о чем теперь имеется документальное подтверждение.

Находясь в лагерях и в ссылке, П. А. Флоренский систематически — насколько позволял режим — посылал письма семье. Значительная часть их сохранилась благодаря героизму его жены Анны Михайловны Флоренской. Из Соловецкого лагеря в разные периоды разрешали посылать от одного до четырех писем в месяц. Их сдавали незапечатанными, а на клапане писали фамилию, корреспондента и номер письма: основное (“Оси”) или дополнительные (“Доп”) № 1, 2 или 3 — в зависимости от обстоятельств, в том числе и от трудовых успехов заключенных, поэтому быть “ударником” значило иметь

* В № 152 Вестника РХД был напечатан ряд писем отца Павла Флоренского из тюрем и лагерей (1933-1937). Новая подборка значительно дополняет первую. Трудно воспроизводимая в наборе математическая часть писем опускается.

право на дополнительные письма. Помимо официальной нумерации П. А. Флоренский вел собственную, сквозную, что позволяет судить об объеме написанных и полноте сохранившихся писем. Последнее письмо помечено № 103.

В 1966–1967 годах я с Алкаеном Альбертовичем Санчесом, тогда преподавателем Института восточных языков МГУ, по разрешению А. М. Флоренской приступил к разборке и перепечатке писем: эта работа еще не завершена, хотя и подготовлен значительный объем. Начата публикация писем целиком, кроме того, публикуются подборки отрывков из его писем, которые наполняют также биографические и исследовательские статьи, нередко являясь основным источником материалов.

Письма адресовались жене — в б. Сергиев Посад, и матери — в Москву, но обычно предназначались нескольким близким, как правило, детям. Поэтому каждое письмо распадается на несколько самостоятельных, и поэтому текст (обычно двойная страница из тетради) П. А. Флоренский писал каждому адресату с двух сторон листа и индивидуальное письмо в виде полосочки можно было отделить. Для экономии места о. Павел не делал абзацев, а ставил большие тире: писал мелким почерком — обычно чертовым перышком, присылать которые просил семью. Целое письмо нередко достигало десяти страниц. Ниже публикуются лишь пять писем, написанных из Соловков в разное время. Полные письма оставляют совсем иное впечатление, чем отрывки и цитаты, вырванные из контекста. Лишь постепенно, вчитываясь, начинаешь чувствовать, в каких условиях был автор: написанное подвергалось двойной цензуре. Во-первых, П. А. Флоренский не хотел печалить близких и лишь изредка в письмах к матери проливаются трагические ноты, а во-вторых, все письма перлюстрировались чекистами, и приходилось учитывать и этого читателя.

Главной задачей публикации мы ставим точное воспроизведение текста, а полный научный библиографический и биографический комментарий — дело будущего. Мы кратко расскажем об адресатах и близких; там, где это возможно, раскроем скрытые за инициалами имена современников и приведем отдельные комментарии по специальным вопросам, подготовленные с участием специалистов по наследию П. А. Флоренского.

П. В. Флоренский

АДРЕСАТЫ

Ольга Павловна Флоренская (25.III.1859 – 30.X.1951) — урожденная Сапарова (Сапарянц), мать П. А. Флоренского, жила в Долгом переулке (ныне ул. Бурденко), где общественность Москвы пытается сейчас создать музей П. А. Флоренского.

Анна Михайловна Флоренская (31.I.1889 – 18.III.1973), урожденная Гиацинтова, жена П. А. Флоренского, родилась в крестьянской семье в Сапожковском уезде Рязанской губернии. Сохранение наследия П. А. Флоренского во многом ее заслуга. У П. А. и А. М. Флоренских было пятеро детей: Василий, Кирилл, Ольга, Михаил и Мария-Тинатин.

Василий Павлович (21.V.1911 – 5.IV.1956) — старший сын Флоренских, доцент Московского нефтяного института (МНИ) им. И. М. Губкина, педагог, геолог-петрограф, исследователь глубинного строения нефтегазоносных областей. После ареста своего отца стал основным кормильцем семьи. П. А. Флоренский обращается к его жене, своей старшей невестке Наталье Ивановне (род. 5.IX.1909), урожденной Зарубиной, и пишет об их старшем сыне Павле (род. 7.VI.1936).

Кирилл Павлович (14.XII.1915 – 9.IV.1982) — второй сын Флоренских. Ученик академика В. И. Вернадского, один из создателей сравнительной планетологии, его имя дано одному из кратеров на обратной стороне Луны. Именно его усилиями и авторитетом была начата систематическая публикация в 60-ые годы трудов П. А. Флоренского; он заложил принципы нашей публикаторской деятельности.

Ольга Павловна (род. 21.II.1918) — старшая дочь Флоренских, биолог, в замужестве Трубачева. В письмах — Олень.

Михаил Павлович (26.X.1921 – 14.VII.1961) — третий сын Флоренских, специалист в области бурения скважин; погиб во время экспедиции на Камчатке. В письмах — Мик, Мика.

Мария-Тинатин Павловна (род. 11.X.1924) — вторая дочь Флоренских, химик. В письмах — Тика.

РОДСТВЕННИКИ

В письмах П. А. Флоренский постоянно упоминает родственников. Подробно о них написано в воспоминаниях (П. А. Флоренский. *Воспоминания. Часть I. Раннее детство*. "Литературная учеба", № 2, 1988, с. 147–158, а здесь мы дадим лишь краткие справки о них.

Отец П. А. Флоренского Александр Иванович (30.IX.1850 – 22.I.1908) — инженер-путеец, строитель Закавказской железной дороги; его сестра — Юлия Ивановна (24.VI.1848 – 20.V.1894). Мать — Ольга Павловна, урожденная Сапарова (21.III.1859 – 30.X.1951); ее сестры — Елизавета Мелик-Бегларова (23.VI.1864 – 22.XI.1919), у которой были дети — Давид Сергеевич (1875–1913) и Маргарита Сергеевна (в замужестве Оганесян, 1872 – ок. 1920 г.). Варвара Павловна (1861–1891), Репсимия (Ремсо) Павловна (29.VI.1865 – ок. 1930 г.), Софья Павловна (6.I.1866 – 30-е годы).

Братья и сестры П. А. Флоренского: Юлия (1.VII.1884 – 27.IX.1947) — врач-логопед; Ольга (Валя, 19.II.1892 – 2.IX.1914) — художник-миниатюрист, корреспондент Д. Мережковского и З. Гиппиус; Елизавета Кониашвили (7.V.1888 – 1960) — художник; Александр (7.III.1890 – 1937?) — геолог, археолог, этнограф, погиб в Магадасе; Раиса (Гося, 14.IV.1894 – 5.IX.1932) — художник, участница объединения "Маковец"; Андрей (1.XII.1899 – 15.VII.1961) — специалист по корабельным и береговым орудиям, лауреат Сталинской премии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА К ПРЕДИСЛОВИЮ

П. А. Флоренский. "Автобиография". *Наше наследие*. 1988, № 1. Публикация игумена Андроника (Трубачева) и П. В. Флоренского.

П. А. Флоренский. "Автореферат". *Вопросы философии* 1988, № 12, с. 113–119. Публикация М. С. и А. С. Трубачевых и П. В. Флоренского; примечания П. В. Флоренского и С. М. Половинкина.

Иеродиакон Андроник (Трубачев). К 100-летию со дня рождения священника Павла Флоренского. *Богословские труды*. Сб. 23, М. Изд. Московской Патриархии, 1982, с. 264–276.

Возвращение забытых имен. Павел Флоренский. Каталог выставки. М. 1989. Составитель А. С., М. С., С. З. Трубачевы и П. В. Флоренский.

С. М. Половинкин. П. А. Флоренский: логос против хаоса. *Философия*, подписная научно-популярная серия. 1989, № 2, 64 с. Изд. Знание, М., 1989.

Ближе к жизни мира (П. А. Флоренский о культуре) — Советская культура. 1988. 3 ноября, № 132 (6544), с. 6. Публикация С. З., М. С. и А. С. Трубачевых и П. В. Флоренского. Предисловие С. З. Трубачева.

Игумен Андроник, П. В. Флоренский. Павел Александрович Флоренский. (Из истории русской философской мысли). С литографией Ю. Селиверстова. *Литературная газета*. 1988. 30 ноября. № 48 (5218), с. 5.

П. А. Флоренский. Письма из Соловков. *Наше наследие*, 1988, № 4, с. 114–129. Публикация из архива семьи Флоренских, М. С. Трубачевой, игумена Андроника (Трубачева), П. В. Флоренского и А. А. Сапчеса, предисловие и примечания П. В. Флоренского.

П. А. Флоренский. В мире ничего не пропадает. *Наука и религия*, 1989, № 2, с. 56–58. Публикация М. С. Трубачевой и П. В. Флоренского.

Возвращенные имена. Павел Александрович Флоренский. *Северный космополит*. Печаталась как книга в газете "Говорит история", с. 62–83. Начиная с № 18 (10450), 29.IV – 5.V — № 24 (10456), 10.VI – 16.VI.

П. А. Флоренский. Письма из тюрем и лагерей (1933–1937). *Вестник Русского Христианского Движения*, 1988, № 152, стр. 155–181.

П. А. Флоренский. О литературе. *Вопросы литературы*, № 1, 1988, с. 146–176. Публикация П. В. Флоренского, А. С., М. С. и С. З. Трубачевых, А. А. Сапчеса и А. П. Мумрикова. Вступительная статья А. С. Трубачева и Н. К. Бошечкой. Примечания А. П. Мумрикова.

"Не во сне ли я вижу все происходящее". Письма из Соловков. Публикация П. В. Флоренского и М. Трубачевой. *Северные просторы*. № 3, 1990, стр. 19–28.



р. Павел Флоренский с семьей. Лето 1933 г. Сергив Посад (Загорск).

Слева направо: сын Кирилл, П. А. Флоренский, дочь Тиха, сын Василий,
рядом с матерью А. М. Флоренской сын Михаил, мать Ольга Павловна и дочь Ольга.
(Опублик. в журнале "Северные просторы", №3, 1990)

Письмо I

(Анне Михайловне)

На конверте:

г. Загорск Московской области, Анне Михайловне
Флоренской, Пионерская ул., д. 19. Рукой А. М. Флоренской — 1934 г.
4 ноября.

В конверт вложен листочек с белкой, нарисованной тушью и зафиксированной буроватым фиксатором (возможно, рисунок из другого конверта).

На клапанах — П. А. Флоренский 3-я Т. К.¹
Загорск 5.11.34.

1934. X. 24

Дорогая Аннуля, вот история моей поездки. С 17 авг. по 1 сент. в Свободном, с 1 по 12 дорога до Медвежьей горы, с 12 сент. по 12 окт. на Медвежьей горе, 12-го окт. переезд до Кемь, с 12-го окт. по 20 окт. в Кемь, с 20 по 23 на Морсплаве² (б. Попова гора), 23-го переезд по Белому морю и приезд на Соловки. По дороге морем сильно укачало, несмотря на краткость времени переезда. Сегодня, после различных проволочек, наконец попал в Соловецкий Кремль. Не знаю, что писать тебе. Первое впечатление очень тяжелое, отчасти вероятно от дорожной усталости, качки, неопределенности и неустройства. Местность тут красивая довольно, но ее пожалуй и не увижу. Кремль сложен из огромных необтесанных валунов, так что снаружи живописен. Небо серое, воздух влажный, сравнительно теплый, особенно при северном ветре. Тут 243 пруда или точнее озера, но я видел один пруд. Все время думаю о вас, беспокоюсь, не зная, как вы доехали, как живете, как ваше здоровье и в особенности мамы. Письмо очень спешу писать, т. к. иначе пропущу срок и будет нельзя, надо сейчас сдать его. Имей в виду, что писать отсюда можно лишь один раз в месяц, и потому не беспокойтесь, не получая от меня писем. Адрес мой: Мурманская ж. д., ст. Кемь, почтовое отделение Попов остров, 8-е Соловецкое отделение ББК, мне.

Очень жалею о работах, оставленных на БАМ^е:³ там я мог бы сделать что-нибудь полезное. А также о лазурном небе ДВК и сухом воздухе. Так обрывается полезная деятельность и все приходится начинать сначала; да и придется ли? Мне сюда вещей не присылайте, т. к. их некуда класть; денег прислать можно не более рублей 10. Но необходимо, чтобы вы написали скорее, тем более, что с прекращением навигации (вероятно в начале или половине декабря), письма доходят весьма задерживаясь. Как живет моя Тикулька? Как Мик? Что делает Оля? Приехали ли мальчики и как они себя чувствуют?⁴ Хоть бы вы все были веселы и радостны, только этого хочу. Сейчас я не успею написать каждому, но скажи им всем, как я их люблю и как страдаю, что ничем не могу помочь им в жизни. Поцелуй от меня маму и непременно сообщи об ее здоровье. Кланяйся твоей маме, как ее здоровье? За время переезда у меня так ослабла память, что мне трудно написать это письмо и пишу наудачу, что придется. Мои вещи выпиши от П. Н.⁵ — белье и прочее хозяйственное оборудование, а то, боюсь, оно пропадет. — С декабря по середину мая навигация на Соловки прекращается, сообщения нет, только почтовое, но неаккуратное. Остались ли у детей какие-либо впечатления от Сквородино и дороги?⁶ Довезли ли вы корни княженики? Сделали ли что-нибудь мальчики за лето? Хорошо бы, чтобы Кира немного исследовал минералы, о которых я говорил тебе, может быть найдет для себя что-нибудь интересное. Как здоровье Васи? Хочется чтобы хоть мальчикам удалось поработать и сделать что-нибудь полезное и интересное. Играет ли Олечка? Если она увидит Игоря, то пусть кланяется ему от меня. —

Что касается меня, то я за это время ничего не делал и почти ничего не читал, если не считать 3–4 романов — было нечего читать, да и вся обстановка не дала возможности заняться чем-нибудь. Впрочем, на Морсплаве мне удалось прочесть трагедию Расина, это единственное хорошее впечатление за два месяца. Более всего думаю о тебе, моя дорогая, боюсь, что ты унываешь, и беспокоюсь о твоём здоровье. Будь радостна и бодра, заботься о наших детях. Старайся, чтобы вы питались лучше — прода-

вайте, что можно. Крепко целую тебя и всех вас, не забывайте своего папу.

Примечания к Письму I

1. 3-я Т. к. — трудовая колонна — сортировочная тюрьма в Соловках — 3-я часть.
2. Пересылочная тюрьма в порту в Кеми.
3. Работы на ДВК — Дальне-Восточном Крае — по вечной мерзлоте П. А. Флоренский вел с П. Н. Каптеревым (см. ниже).
4. Сыновья П. А. Флоренского — Василий и Кирилл — были в экспедиции в Средней Азии.
5. П. Н. — Каптерев Павел Николаевич (1889–1955) — сын профессора Московской Духовной Академии; вместе с П. А. Флоренским — один из создателей Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры (1918–1922), был арестован и репрессирован и вместе с П. А. Флоренским выслан в 1933 г. на Дальний Восток, где они работали на Сквородинской мерзлотной станции. Соавтор работы, где, по понятным причинам, нет имени П. А. Флоренского: Н. И. Бычков, П. Н. Каптерев. Вечная мерзлота и строительство на ней. М., 1940. Речь идет о личных вещах П. А. Флоренского, оставшихся в Сквородине.
6. Летом 1934 г. Анна Михайловна с тремя младшими детьми — Ольгой, Михаилом и Тинатин — ездила к П. А. Флоренскому в Сквородино — это еще восточнее мест, где жили жены декабристов.

Письмо II (№ 54)

(Анне Михайловне, Оле, Мике, Тике)

Конверт:

г. Загорск (б. Сергиев), Московской области, Анне Михайловне Флоренской, Пионерская ул., д. 19.

Штемпеля: отправление — 7.IV.36, Рабоче-Островск. Получение — 9.IV.36, Загорск.

На клапане: Флоренский Павел Александрович сп. 2 доп.1.

На конверте рукою А. М. Флоренской: "получ. 1936, 10 апреля".

1936. III. 23. Соловки. (№54).

Дорогая Аннуля, сегодня получил твое и Мики письмо, № 10 от III. 4. Как тревожно, что вы всё и все болеете. Кажется я писал тебе относительно приемов иода (по 3–4

капли в день тинктуры в воде или в молоке), как предохранительном средстве против гриппа. У нас тут была эпидемия гриппа, но я, хотя и был в состоянии близком к заболеванию, однако не заболел, вероятно потому что принимал иод. Интересно, что и рабочие у нас, которые заняты возгонкою иода и следовательно вдыхают иодные пары не болеют гриппом, те же, кто стоит от возгонки подальше — заболевали, но не в сильной степени. Вот, только, не знаю, достанешь ли иода (не бромферрона!). Да, помимо всего, принимать время от времени иод вообще следует, особенно тебе. Спрашиваешь о Кириной работе, она мне понравилась, равно как и моему приятелю химику;¹ но проверить результаты я не мог, нет потребных реактивов. При этом письме посылаю портрет, сделанный тем же художником, что и тот, который послан Оленю, — согласно твоему желанию.² Если ты не захочешь оставить его, т. е. портрет у себя, то передай Васе. Хотелось бы послать тебе что-нибудь красочное и красивое, но художник, который мог бы это сделать, частью занят, частью ленится, и приставать к нему мне неудобно. Однако в присланном портрете человек знающий мог бы оценить скульптурную лепку формы.

Я сижу всецело в водорослях. Эксперименты над водорослями, производство водорослевого, лекции и доклады по тем же водорослям, изобретения водорослевые, разговоры и волнения — все о том же, с утра до ночи и с ночи почти что до утра. Складывается так жизнь, словно в мире нет ничего, кроме водорослей. Но как раз о них-то не удается читать что-нибудь дельное, — имею в виду какой-нибудь курс "альгологии", т. е. водорослеведения. Докапываешься до всего своим умом, а потом узнаешь, что это уже сделано другими. Если бы мне было 20 лет, то пожалуй такая школа была бы не плоха, доходить своим умом. Но в моем возрасте уже поздно думать о школе и готовиться к чему-то будущему, а надо в настоящем вести работу с настоящими результатами, и наименьшею тратю сил. Большой недостаток у меня также и в том, что пока я работаю с водорослями уже привезенными на завод, но не наблюдаю их выбросов на берег, и тем более растущими в море. Но м. б. весной и летом этот недостаток

будет восполнен. Мое мышление так устроено, что пока я совершенно вплотную не подойду к первоисточнику в природе, я не чувствую себя спокойным и потому не мыслю плодотворно, т. е. со своей точки зрения, ибо только я могу судить или предощущать свои возможности. Водоросли же настолько своеобразны, что их непременно надо прощупать до конца собственными руками. Недаром один из работников допытывался у меня, что водоросли растения или животные, и когда я говорил, что растения (хотя чуть-чуть и животные), то был явно неудовлетворен: ему хотелось услышать о животной природе водорослей. —

Очень жалею, что все не нахожу место написать М. В.³ Боюсь огорчить детей, если не напишу кому-нибудь из них. (Васе и Кире пишу параллельно, в письме к маме, которое надо закончить, это № 53). Но скажи ей, что я часто вспоминаю ее, рад ее посещением и собираюсь написать. —

Сейчас нашел у себя присланное вами — тряпочку с букowymi орешками. Эти орешки меня очень интересовали в детстве, своей трехгранностью. Трехгранность, как и всякая трехосная симметрия — огурцов в сечении, однодольных растений, в отличии от квадратности и круглости, создавала во мне чувство тайны. А тайна — столь же заманчива, как и страшна. Я сильно боялся букowych орешков и, хотя почва под букowymi деревьями была засыпана ими, никогда не решался раскусить. О съедобности их тогда никто не говорил и тогда на Кавказе конечно их не собирали и не ели. Только впоследствии я узнал, что букowe орехи съедобны, но вместе с тем понял и пользу своего чувства страха пред ними: старые букowe орехи содержат ядовитое начало, при поджаривании их разлагающееся, так что действительно нельзя есть этих орехов под деревом. Мне хочется записать здесь тебе и детям по связи со сказанным, что все научные идеи, те, которые я ценю, возникали во мне из чувства тайны. То, что не внушает этого чувства, не попадает и в поле размышления, а это внушает — живет в мысли, и рано или поздно становится темою научной разработки. Вот почему я писал тебе несколько раз, чтобы ты не беспокоилась за детей и что я верю в них: в них тоже должен жить инстинкт научного размышления, опирающийся на

чувство таинственного и питающийся этим чувством, которое не мотивируется, но которое не обманывает. В каждой области действительности выступают особые точки, они — то и служат центрами кристаллизации мыслей. Но нельзя формулировать, чем эти точки отличаются от прочих и человеку, лишенному интуиции, хотя бы он и был умен, образован и способен, эти особые точки не кажутся входами в подземелья бытия. Их знал Гете, их знал Фарадей, Пастер. Большинство, повидимому, слишком умно, чтобы отдаться этому непосредственному чувству и выделить особые точки мира, — и в силу этого бесплодно. Это не значит, что они неспособны сделать что-нибудь; нет, сделают и делают, но в сделанном нет особого трепета, которым знаменуется приход нового, творческого начала... Буковые орешки завели меня в сторону и заняли все место.

Целую тебя, постоянно вспоминаю. Как видишь даже бумага попалась розовая. Вчера получил от тебя № 10, а ранее № 8; № 9 не получено.

Дорогой Олень, сейчас ночью подошел ко мне дежурный пожарник и попросил решить задачу, с которой не мог справиться. Т. к. мне она показалась не лишней интереса, то сообщаю ее тебе. Задача: найти сторону a и диагонали b и c ромба, если известно, что площадь ромба 24 см^2 , а периметр превышает сумму диагоналей на 6 см .

[...].

На днях перечел “Петербург” Андрея Белого,⁴ точнее сказать — прочел, т. к. читал ранее в первом издании, где была редакция значительно большего размера. Сам А. Белый и редактор издания считают новый текст более совершенным, чем первоначальный. По-моему это — большая ошибка. А. Белый постарался придать роману псевдо-популярный характер, упростив язык, сократив текст. Но общедоступным роман от этого конечно не стал, напротив внутренний его смысл сделался менее доступным. Ведь суть “Петербурга” в передаче чувства призрачности, мнимости Петербурга, в тревоге, в изломанности петербургской жизни и души, в оторванности

Петербурга от страны. С упрощением языка, с сокращением текста этот момент ослаблен до неузнаваемости, тогда как никакой новой сути в произведении не вложено. Роман напоминает ученический пересказ “своими словами” “Петербург” в первоначальной редакции, бледную копию вещи очень сильной и, в соответствии со своим предметом, — очень нездоровой. Однако от бледности она — не здоровее. Помню, таким же образом А. Белый испортил первоначальную редакцию (не напечатанную) “Кубка мятежей”. —

Как твоё здоровье, дорогой Олень? В каком находишься настроении?

III. 24. Продолжаю о Белом. У него была гениальная интуиция тождества внутренней природы вещей и явлений по-видимому вполне разнородных — способность сближения. Но это таинозрение вещей потом, уже в молодости, стало заволакиваться от слишком большой заостренности (как зрение слишком хорошее в детстве, напр. у меня, от своей тонкости гибнет) — своими же порождениями, — сближением настолько сильным, что ломаются более существенные перегородки различия. А кроме того, он, при своей гениальности, отнюдь не был талантлив, пожалуй даже определенно неталантлив и свои глубокие проникновения портил, т. к. у него не хватало способности оформить их соответственно внятно качественно и не хватало наивной смелости дать их в сыром виде, без наукообразного оформления. Так губил он свою гениальность, так портил он свои произведения. —

Крепко целую тебя, дорогой Олень, будь здоров и бодр, не раскисай. Еще раз целую.

1936. III. 21. Соловки.

Дорогой Мик, на этот раз отправимся с тобою путешествовать снова в Удмуртию⁵ (вотскую область), а потом в Бухару. Но поедем не наедаться, а смотреть игрища. В летнее время они устраиваются в Удмуртии торжественно. Очень уж оживленно происходит борьба. Борются представители отдельных территориальных участков, и успех победителя считается честью всего участка. Поэтому выбирают самых надежных борцов, а если не находят достаточно надежного у себя, то приглашают со стороны.

Но его надо именно пригласить, сам не пойдет. Еще состязания: ставят котел с кислым молоком, а на дно его кладется золотой, требуется окунуть голову в кислое молоко и вытащить золотой зубами. Удмурты ходят с волосами, и после такого окунания вся голова становится белой; татары же бреют голову, и кислое молоко стекает у них за шиворот. Другая игра — влезание на столб, на вершине которого кладется сукно или часы. Сумевший влезть на столб берет приз себе. Затем, устраивают бег в мешках. Или еще — бег с ложкою в руке, причем в ложку кладется сырое яйцо. Надо добежать к финишу первым, не разбив яйца; если же оно упадет, не разбившись при падении, то такое падение не порочит бегуна. Другая игра — битье горшков. На столбе ставится горшок. Состязующимся завязывают глаза, отводят на 15 шагов от горшка, поворачивают и затем он должен подойти к горшку и разбить его дрыном, но бить может только однократно. Зрители забавляются тем, что играющие уходят на 15 шагов куда-нибудь в сторону и напрасно поражают воздух. Когда происходят конские бега, то премией служат навешиваемые на коня-победителя особые шерстяные, узорно-затканые полосы, носимые молодцами какой-то срок после свадьбы. Лошади понимают значение этой чести, и когда победителя проезживают после бега, то прочие лошади из зависти начинают его кусать. Забыл еще сказать, что победившему борцу достается половина сбора из добровольных пожертвований зрителей. —

Игрища происходят и в Бухаре, на праздник (обычно летний) Курбан-байрам, что значит праздник жертвоприношений. В этот день приносят жертвоприношение; и шкура жертвенного животного идет мулле — единственная плата ему за год. В это время, т. е. после жертвоприношения, происходят конские и человеческие бега, а также борьба. Борются, схватив друг друга за пояс. При этом долго-долго, иногда до часу, взявшись за пояса, не приступают к борьбе, а ходят по арене, доводя тем ожидание и волнение зрителей до крайнего предела. Лишь в заключение происходит самая борьба, обычно безвредная для борцов, но иногда, если один из них слишком силен,

то кончающаяся поломом рук или ног. Устраиваются также бега, лошадиные и людиные. —

В Бухаре особенно труден вопрос с орошением полей; от орошения зависит урожай. Оросительные каналы не могут доставлять воды, сколько хочешь и потому воду делают, давая каждому, по числу душ в хозяйстве, воду на определенное время. При дележе пользуются для измерения времени особым приспособлением, как вискозиметр Энглера. Это — кувшин определенной емкости, в днище которого заделана стандартная металлическая трубка, вводимая туда до обжига и закрепляющаяся при обжиге. В кувшин наливается вода и в момент открытия шлюза канавы открывается и отверстие трубки. Шлюз держится открытым, пока не вытечет вся вода. Отсюда выражение: "делить воду кувшинами". Если кому причитаются 2 кувшина, 3 и т. д., то в промежутках между концом истечения первого кувшина и началом второго, пока вновь наполняют кувшин, шлюз закрывается. Беда, если на счастье получающего воду, в кувшин попадет соринка, замедляющая течение: прочие подымают крик. Эти стандартные кувшины продавались эмиром Бухарским и в каждом селеньи кувшин хранился у старшины. Система оросительных канав очень старинная; есть подземные, в глине идущие и защищенные от испарения и рассасывания каналы времен Александра Македонского. К ним на определ. расстояниях проходят колодцы до 10 м глубиною, служащие для поливки и для прочистки каналов.⁶ От многовековой (22 столетия) прочистки около колодцев образовались холмы из выброшенных осадков. Высота каналов ок. 1,5 м. — Чтобы проводить каналы нужна нивеллировка. Знатоков этого дела — всего неск. человек, и они обслуживают не только Бухару, но и Персию с Афганистаном. Нивеллировка производится без инструментов. Помощник нивеллировщика становится на корточки, на него, на спину, ложится нивеллировальщик и задирет ноги кверху. Угол определяется по месту на ногах, сквозь которые смотрит нивеллировщик. Говорят, такая нивеллировка дает очень хорошие результаты. Но далеко не всякий способен вести ее, нивеллировку по ногам.

III. 23. Пока писал это письмо, получил твое, с фото-снимками. Спасибо. Самые удачные твои снимки. Но вообще твой товарищ плохо промывает снимки, и на письме от них появилась желтизна. Имей в виду, что в фотографическ. деле промывка составляет 1/2 задачи, т. к. самый хороший снимок, будучи дурно промыт, не сохраняется и гибнет. Меня очень беспокоят твои глаза. Лечишься ли? Кланяйся своему московскому доктору и спроси его, напечатал ли он свою работу об искусственных носсах, если же не напечатал, то пусть печатает скорее. Почему—то про эту работу мне часто вспоминается, хотя здесь носы у всех целы. Крепко целую тебя, дорогой. Поправляйся и не забывай своего папу.

Дорогая Тика, вот близится уж время твоего отдыха и мне хотелось бы, чтобы ты хорошо оправилась от зимних занятий.

Нового у меня ничего нет, все водоросли и иод. Но начинаем готовиться к весеннему сбору водорослей, и я надеюсь, что тогда смогу сообщить тебе что-нибудь новое. Сейчас же сижу целый день и большую часть ночи в лаборатории, где произвожу опыты или пишу, вычисляю, диктую и т. д. Выхожу дважды в день, на завтрак и на обед, в Кремль,⁷ где помещается столовая. Но это расстояние очень небольшое, так что вне своих стен я бываю очень мало времени. О портрете, который ты просишь, я подумаю, но как осуществить твоё желание, не знаю, тем более, что миниатюристов сейчас ведь нет, и не только на Соловках, но и везде. Тетя Валя⁸ была чуть не единственная, занимавшаяся этим делом; по крайней мере мне не известен художник той же специальности. —

III. 24–25. Сегодня мне принесли совершенно свежих водорослей, вытщенных особым приспособлением из подо льда (он в этом году тонкий, 80 см.) со дна моря. Это — мясистые, упругие крупные водоросли из класса бурых, из порядка ламинарий. Называются они Ламинария дигитата, т. е. по-русски пластинчатка пальчатая, т. к. “лист” водоросли похож на огромную ладонь с растопыренными пальцами. Есть еще Ламинария сахарина, т. е. пластинчатка сахарная, т. к. она довольно сладкая. Я

грыз ламинарию; в сыром виде она жестковата, но довольно вкусна, слегка солоновата и напоминает кислую капусту, квашенную кочаном, — только не кислая. Водоросли очень цепко присасываются своими придонками (“ризоидами” — вроде корней) к камням, чтобы получить устойчивость в воде, но корнями почти не питаются, т. к. берут себе пищу прямо из воды всюю своею поверхностью. С середины июля по конец августа происходит размножение ламинарий — посредством спор. У Сахарины споры развиваются посередине “листа”, а у дигитаты — на концах его. Споры выделяются особыми темными пятнами, пожалуй вроде как у папоротника.⁹

Крепко целую свою дорогую дочку и жду прилета чаек, чтобы они мне рассказали о дочке.

Примечания к Письму II

1. Вероятно, это профессор Литвинов. Ю. И. Чирков в воспоминаниях (рукопись с. 77–78) пишет: “Павел Александрович вместе с профессором Литвиновым разработали технологию получения йода из беломорских водорослей, в изобилии растущих у Соловецких берегов, и создали “Иодпром” — лагерное предприятие по сбору и переработке водорослей”.
2. Вероятно, что этот портрет — бумага, карандаш, белила, 250 x 180 мм — последний из прижизненных. Портрет, посланный Оле с датой 1935, IV, 23, опубликован: “Наше наследие”, 1988, № 4, с. 117; “Северный комсомолец”, 29, IV — 5, V, 1989, № 18 (10450), с. 10.
3. М. В. — здесь Мария Вениаминовна Юдина (28. VIII. 1899 — 19. XI. 1970) — профессор Московской государственной консерватории, пианист; никогда не прерывала дружбы с семьей Павла Александровича. О ней смотри: Мария Вениаминовна Юдина. Статьи, воспоминания, материалы. М., изд. Советский композитор, 1978. — С. 3. Трубачев. Музыкальный мир П. А. Флоренского, изд. “Советская музыка”, 1988, № 8, с. 81–82; № 9, с. 99–102. — С. 3. Трубачев. “Только в Моцарте защита от бурь”. П. А. Флоренский и М. В. Юдина. “Музыкальная жизнь”, 1989, № 13, с. 23–26; № 14, с. 19–21.
4. Андрей Белый (Б. Н. Бугаев, 14. X. 1880 — 8. I. 1934) — поэт—символист, дружил с П. А. Флоренским в студенческие годы, сын одного из любимых учителей П. А. Флоренского — математика Николая Васильевича Бугаева (14. IX. 1837 — 11. VI. 1903). См.: письмо П. А. Флоренского к Б. Н. Бугаеву (А. Белому), ВРСХД, 1974, № 114.
5. Вероятно, “проводником”, когда П. А. Флоренский “возил” Мика в Удмуртию, был Кузубай Герд (1898–1941?) — удмуртский поэт,

писатель, фольклорист (настоящее имя Кузьма Павлович Чайников). В январе 1989 г. сотрудник Соловецкого музея А. В. Мельник рассказала мне о работавшем на Иодпроме этом удмуртском ученом, родственником которого она разыскала. 29 июня 1989 г., едучи вместе с ленинградским отделением Мемориала в Соловки на дни памяти, когда там были открыты посвященные концлагерю музей и мемориальный камень, а также названа улица именем Павла Флоренского, я оказался в купе с Николаем Ивановичем Гердом — внуком поэта. Наверное, строки об удмуртских обычаях П. А. Флоренский написал со слов Кузубея Герда. О нем смотри: Ф. К. Ермаков. Удмуртский поэт и ученый. Ижевск, “Удмуртия”, 1988.

6. Приведен рисунок керизов—колодцев, глубиной 10 м и соединяющего их подземного канала высотой 1,5 м; размеры рисунка 45 x 25 мм. Керизы до сих пор кое—где сохранились в Туркмении, а в Афганистане в них скрывались во время боев население и муджахиды, поэтому возник даже термин: “керизная война”.
7. Из воспоминаний Ю. И. Чиркова, рукопись: “Иодпром и проектное бюро находилось за кремлем на значительном расстоянии, и в непогоду походы туда были нелегкими. Котляровский рассказывал, что однажды в бурный день начала зимы, когда густо валил крупными хлопьями мокрый снег, он встретил Флоренского и Литвинова по дороге в кремль. Ученые мужи тяжело брели навстречу ветру, опираясь на длинные палки. Шапки, бороды, лица у них были залеплены снегом. Они останавливались, протирали очки и шли дальше, при этом еще беседуя. Несколько раз под напором бури они падали на гололеде, скрытом снегом. Котляровский помогал им подняться, а Павел Александрович шутил и говорил о перспективах использования энергии ветра”. Это было не только шуткой. См.: П. А. Флоренский. Запасы мировой энергии. — “Электрофикация”, 1925, № 1, с. 10—16, где говорится, что энергия будущего — это энергия солнца, тепловая и ветровая. Эти идеи после 1933 г. пропагандировал А. Ф. Иоффе.
8. Тетя Валя — сестра П. А. Флоренского, см. “Вступление”.
9. Приведен рисунок чернилами, раскрашенный зеленым карандашом: “ламинария дигитата” и “ламинария сахарина”, “ризоиды (корни)”, которые опираются на “камень”. Размер 60 x 70 мм.

Письмо III (№ 58)

(Матери — Ольге Павловне Флоренской)

Конверт :

Москва, Ольге Павловне Флоренской

Угол Долгого переулка и Новокопюшенной улицы,
д. 12, кв. 7

Штемпеля: отправление — Рабоче—Островск 5. V. 36. Получение —
Москва, 8. V. 36. Круглый штамп — “257”.

На клапане — Флоренский Павел Александрович сп. 2 Доп. 3.

1936. IV. 23—25. Соловки (№58).

Дорогая мамочка,

получил на днях письмо от Васи и Наташи, из которого узнал о тебе. Я доволен, что они бывают у тебя и в этом отношении заменяют меня. Впрочем, не заменяют, а, надеюсь, выполняют то, что должен был делать я, лучше моего. —

Ведь я так не умел разговаривать, а теперь окончательно разучился, что мне трудно поддерживать общение даже с теми, кого люблю больше всего. Единственный разговор, который удается — это обсуждение какого—нибудь научного вопроса. Даже чтение чуждо, т. е. наиболее пассивное занятие. Лишь собственная мысль и исследование оживляет, вероятно по воспитанной с детства привычке. Меня уже давно, а чем дальше, тем сильнее, удерживает из книг только чисто фактического содержания: таблицы, словари, справочники. А кроме того — классики первого ранга. Малейшее отступление от безукоризненности формы вызывает внутренний протест и раздражение: плохой стиль, неточность, неудавшаяся композиция встречаются почти как личная обида. Флобер, когда собирался (чуть ли не целую жизнь!) писать “Бювар и Пекюше”, собирал глупости, высказанные человечеством и даже наиболее достойными его представителями. Он с торжеством отыскивал глупости и у своих друзей, даже у себя самого. Я не стал бы коллекционировать в этом направлении; глупость давит, ее не соберешь, так она обширна. Нужно быть слишком благодушно настроен-

ным, чтобы считать глупость рассеянной редкими блестящими, тогда как она течет сплошной струей. И потому вообще перестаешь говорить. Детского говора около меня мне не хватает, дети мудры, но вероятно не все. Припоминаю свое детство и вижу, насколько я поглупел с тех пор и как вообще глупел постепенно. Каждый шаг в жизни есть шаг назад. Разве что под старость, но уже глубокоую, можно начать возвращаться к детству. Моя мысль подсознательно занята малышом, — подсознательно, потому что нечего о нем думать сознательно. —

Что писать тебе о своей жизни — не знаю. Пока что она идет в прежней обстановке и в прежнем направлении, если не считать разных частностей. День проходит за днем, в работе, значительная часть ночи также. Природы не вижу, только иногда наблюдаю северное сияние. Искусство тоже недоступно, кроме изредка попадающих и случайных книг. Тоже изредка попадает «Книжная Летопись» (это официальная сводка с перечислением всех вышедших за данный срок книг), из которой я вижу, что выходит на свет много интересного. Но сюда из этого интересного попадает весьма немногое и при том довольно случайно, так что прочесть то, что хотелось бы невозможно. Старые книги еще более случайны. Вот сейчас, например, добыл себе том Мольера и том Бальзака, — читаю, хотя вовсе не собирался читать, да и не соответствует настроению и потребности. Для научной же работы просто ничего нет, — из того, что нужно мне. Приходится доходить до всего самостоятельно, но это даже в математике в большинстве случаев невозможно, а в других областях, где требуется фактический материал, — тем более. Между тем я как раз нуждаюсь в фактах. Живую мыслью о детях, м. б. они сделают то, что должен был бы сделать я. Однако работа индивидуальна; м. б. они сделают и лучшее, но все же не то, т. к. для определенных научных замыслов требуется и соответственное сочетание опыта и внутренних данных, которое не может повториться. —

Время от времени сталкиваюсь с людьми, которым известны местности, привычные мне по воспоминаниям детства или более нежного возраста, или знакомые, даже

родные. Это дает новый повод к воспоминаниям. Кажется, как тесен мир; в его пределах толкнутся все одни и те же люди, или их знакомые, родственники, друзья. И так, при моем всегдашнем уединении, малом количестве встреч и сидении на месте. Воображаю, как густы подобные же впечатления у людей общительных или путешествующих. —

Письмо надо кончать, отправляю на почту, иначе застрянет. К тому же на днях вероятно кончится авиационное сообщение и будет перерыв до возобновления навигации, а этот перерыв может продлиться недели две. Крепко целую тебя, дорогая мамочка. Кланяюсь Люсе и Шуру.¹ Если будешь писать, сообщи обо всех, кто как живет и что делает. Еще раз целую.

Внешне пока что все идет гладко, т. е. я более или менее бодр, здоров, работаю, живу в неплохих условиях и окружен неплохими людьми. Ты пишешь, что я не принимаю участия в современных работах по физике. Но ведь это не только потому, что я не в Москве. Дух современной физики, с ее крайней отвлеченностью от конкретного явления и подменой физич. образа аналитическими формулами, чужд мне. Я весь в Гете-Фарадеевском мироощущении и миропонимании. Современная [*зачеркнуто: "наука". — П.В.Ф.*] физика есть квинтэссенция буржуазного мышления, и я даже не понимаю, почему в стране советой [*советской — ? П.В.Ф.*] с нею носятся. Физика будущего должна пойти по иным путям — конкретного образа. Она должна пересмотреть свои основные позиции, а не расти путем заплат на мышление явно изветшавшем. Нет, и в Москве я не принял бы участие в работах, в современных работах, по физике, а стал бы заниматься космофизикой, общими началами строения материи, но как она дана в действительном опыте, а не как ее отвлеченно конструируют из формальных посылок. Ближе к действительности, ближе к жизни мира — таково мое направление.² Ведь не без причины я ушел в свое время в электротехническое материаловедение.

Еще раз целую, дорогая мамочка.

Примечания к Письму III

1. Люся и Шура — сестра и брат П. А. Флоренского. См. вступление.
2. Это принципиальное место неоднократно публиковалось, в том числе и в указанных во вступлении изданиях.

Письмо IV (№95)

(Анне Михайловне, Васе)

Конверт :

г. Загорск (б. Сергиев) Московской области
Анне Михайловне Флоренской, Пионерская ул., д. 19
Штamps: отправление — 10. IV. 37, Кемь; получение — 12. IV. 37,
Загорск
Рукою А. М. Флоренской: “получено 12 апреля 1937 г. №95”.
На клапане: Флоренский Павел Александрович Сп. 1. Доп. 1

1937. III. 20. Соловки (№95).

Дорогая Аннуля,
не удивляйся, что я так просрочил письмом. В этом месяце можно написать лишь 2 дополнительных и я ждал от вас письма, чтобы не потерять возможности ответа, — но не дождался. Впрочем, и трудно писать, не имея сведений от вас и теряя под ногами почву. Ты пишешь, что Вася хотел бы от меня маленькому подарка на всю жизнь.¹ Но что же есть у меня для подарка? Если есть что, т. е. если ты найдешь, то подари все, что хочешь, — что найдешь подходящим. Но, мне кажется, у меня просто ничего нет, ни подходящего, ни неподходящего. Даже рассказать ему что-нибудь я лишен возможности; единственное, что имею, свою любовь к вам всем, — и ту не могу проявить.

Стараюсь хранить ясность душевного настроения, однако вихрь производства взбаламутил и ее, и для мысли и созерцания не остается ни минуты времени, ни сил. Не странно ли, — никогда в жизни я не старался о прибытке, для вас, а теперь приходится напрягаться во всю, чтобы завод добыл лишние десятки тысяч рублей. Ведь задача производства — в этом и только в этом, т. к. в нашей спешке думать о решении технологических проблем не

приходится или — только на ходу, не углубленно и несовершенно, а как-нибудь, лишь бы в данный момент изжить недостатки.

III. 21. Впрочем, от производства можно получить и другие впечатления. Васе я пишу о Долине десяти тысяч дымов в штате Коннектикут. Так, вот, и у нас: со всех сторон поднимаются столбы пара, брызжет вода, журчат ручьи, порою на 1/2 метра от тумана ничего не видно, идешь по воде, где свистит, где пыхтит, где грохочет. И я вспоминаю Долину 10.000 дымов. Жизненные впечатления на 3/4 слагаются из приправ воспоминаний и окружения, которое мы делаем для непосредственно воспринятого. Надо уметь подавать случайные факты. Разве ты не замечала: дают кушать, ты говоришь себе — “что за гадость, не понимаю, из чего оно”.² А когда скажут из чего, то мнение резко поворачивается в благоприятную сторону. Название в кушанье самое важное, затем идет запах и внешний вид и уже на последнем месте собственно вкус. О питательности же вообще вопроса как будто не ставится. Так и все. Умение есть есть умение подавать себе и другим. Вареная картошка на белоснежной скатерти и в хорошем фарфоре несравненно лучше, чем наилучшее из кушаний в грязной обстановке, окруженное ссорами и руганью. —

Имеется у нас сушилка. Там стоит температура в 70–75°, то при довольно сухом воздухе, то при влажном. Сухой жар переносится легко, даже не без удовольствия захожу в сушилку и работаю там. Но при влажности всякое дыхание сопровождается кашлем, и воздух обжигает легкие. При этом весь делаешься мокрым.

Пусть Мик объяснит, почему сухой воздух при нагреве переносится гораздо легче влажного. И еще ему вопрос: почему надо дуть на угли, когда они угасают; ведь дутье охлаждает угли и, следовательно, они должны были бы погаснуть еще быстрее. Наблюдал, как делали мармелад с агаром и, сделав сам неск. раз кое-что в виде пробы, я сожалею, что не могу вас научить пользоваться этим веществом. Думаю, вы остались бы им довольны. Особенно хорошо было бы готовить маленькому на агаре, т. к. агар — хороший регулятор пищеварения. Сообщи мне,

получили ли вы мои рисунки водорослей.³ Мне было бы грустно узнать о их пропаже, т. к. они потребовали усилий и времени, повторить я уже не смогу, а рисовал, думая о вас. Рисунки были в №№ 84, 86, 87, 90, 91. К сожалению, последнее время я так занят, что не хватает времени и внимания на рисунки, главное же — нет ни рисовальных перьев (чертежных), ни сносной кисточки. Но надеюсь, все таки, вернуться к этому делу, где-нибудь раздобывши кисть. —

Что-то давно не получаю ничего от Киры; в каком он настроении? Напиши мне, каких глав “Оро”⁴ у вас не хватает. Постарайся распределить домашнюю работу на всех по немногу, чтобы не переутомляться, а детям тоже необходимо привыкать к хозяйству и приобретать навыки. Когда я был маленьким, то не было никакой надобн. в моей помощи, и тем не менее я старался шить, гладить, стирать, готовить, особенно перед праздничными днями и вообще принимать участие в домашних хлопотах. Этими начатками я приобрел возможность, если надо, обойтись без посторонней помощи, а кроме того ряд теплых и поэтичных воспоминаний. Надо, чтобы домашний труд был не несчастной необходимостью, а родом художественного творчества. Что же касается до скучных его моментов, то ведь и в самом высоком творчестве есть много черновой работы; усилия, терпения и самопринуждения, окупающихся результатами.

Крепко целую тебя, дорогая, Тику, Мика, Олю и Киру, кланяюсь бабушке и Ан. Ф.,⁵ кланяйся С. И.⁶

1937. III. 20. Соловки.

Дорогой Васюшка, никак не могу найти неск. спокойных часов, чтобы вспомнить мысли о классификации осад. пород, которые не дошли до тебя. Живу в атмосфере аврала, время не расчлняется для меня на дни и ночи, а тянется одной непрерывной лентой ритмически сменяющихся бригад и летит так быстро, что, кажется, смена бригад дает инфразвук жужжания. Думать о чем бы то ни было не приходится при наших бешенных и судорожных темпах, когда из кустарной мастерской надо выдать продукцию завода. —

Мне недавно попались данные о величайшем из вулканич. извержений, бывших в мире, а им. об извержении аляскинского вулкана Катмаи и близких к нему Мадчесика и нек. других, происшедшем 6 июня 1912 г., причем об этом извержении никто ничего не знал до 1916 г., когда результаты его деятельности были обследованы Григгсом. Вот как мало исследован мир! У нас, кажется, и по сей день о деятельности Катмаи не знают, по кр. мере в курсах геологии о ней не говорится. Хочу дать тебе кое какие указания, используй их, это весьма яркий пример внезапного изменения лица Земли. Лишь снарядив четырех экспедиции в этот совершенно необитаемый район, америк. ученые узнали об извержении, при котором не было ни одного свидетеля, в том числе отсутствующих в районе туземцев, и обследовали это грандиозное явление. Экспедиции были в 1912, 1914, 1915 и 1916 годах, последние три под возглавлением Роберта Ф. Григгса, посланы Национ. Географ. О-вом. Результаты опубликованы в *National Geographic Magazine*, я же черпаю сведения из статьи V. Forbina (“La Nature”), № 2617, 31 mai 1924, pp. 337–341. Вулкан Катмаи и знаменитая Долина десяти тысяч дымов (Иолстонский парк) заключен в “резервы” 1700 кв. миль. Эти резервы находятся у присоединения к материку пол-ова Аляски в штате Коннектикут. Размеры: диаметр кратера Катмаи 5 км, окружность 14 км, высота пика над лавовым озером 1124 м, высота над самым озером вероятно более 2000 м. Высота Катмаи до извержения была 2250 м. Емкость кратера 4,5 миллиарда куб. метров. Извержение длилось 60 часов, причем выброшена масса в 11 миллиардов куб. метров — в 40 раз превышающая земляные работы Панамск. канала. Это величайший из действующих вулканов (Жилауза на Гавайе диаметром 2,93 мили., окружность 7,85 мили, глубиною 152 метров — против соотв. чисел для Катмаи 3 мили, 8,4 мили и 1124 метра). Лишь два, но потухшие вулкана превосходят Катмаи — Crater Lake в Орегоне диаметром 6,5 км и Haleakala на Гавае. Общая масса пепла и др. обломков, выброшенных на воздух, составляет 5 куб. миль, т. е. 20,5 куб. км. Она покрыла территорию штата Коннектикут слоем мощностью 0,25–3 м, а неболь-

шие количества пепла были перенесены на 1500 км. Если бы такое извержение произвел Везувий, то Неаполь был бы погребен под слоем мощностью 65 м, Рим покрыт слоем 0,3 м. Взрыв был бы слышен в Париже; Брюссель и Берлин были бы засыпаны пеплом, газы распространились бы до Норвегии. Но от Катмаи не пострадал ни один человек, зато вся топография местности была искажена до неузнаваемости, флора и фауна истреблены, многие реки отклонились от своего русла. Взрыв был слышен за 1200 км, Juneau и через центр Аляски — Dawson и Fairbanus одновременно с Катмаи, “по симпатии”, извергались Маджеик и Мартен, причем от первого ничего, кроме провала не осталось. Возник Great Magein Avulder Flow — Великий Маджинский скальный поток. Земля и глыбы величиною с дом (напр. 16,5 м длины, 7 м ширины и 7 высоты), выбрасывались на воздух и скатывались, образуя поток, как волны, с “водоворотами”, завихрениями, в потоке видны остановившиеся вихри — столбы высотой не менее 10 м. Рядом с Катмаи найден замечательный кандидат на извержение. Это вулкан с закупоренным горлом. Гора вместе с древними лавами, но без кратера. Через скальные породы проходят горячие газы, разрушают гору и обломки с грохотом скатываются по склону длиной 700–800 м. Масса этих обломков очень различна: одни — величиною с кулак, другие же — во много квинталов (один квинтал = 1 *doppel-renter* = 100 кг), имеются огромные глыбы, напр. в 170 м по окружности. Относительно некоторых огромных глыб можно утверждать, что они не скатились, а летели по воздуху. Найден еще ряд вулканов. Перед Падающей горой найдена колоссальная трещина — кратер диаметром 1,3 км, появившийся не из потухшего вулкана, а непосредственно на дне долины, сложенной осадочными породами. Эта трещина *Novarupta* забросала обломками район диаметром 16–18 км, при мощности выбросов более 20 м. Образовавшаяся лавовая пробка диаметром в 400 м высится на 820 м над уровнем кратера. Над *Novarupta* стоят пар и дым — то столбы в 3–3,5 км, то черною завесой, застилающей небо. Вот замечательное описание самого Григгса: “Нашу стоянку мы выбрали весьма близко

от снежного поля и хотя у нас не было дров для костра, однако мы имели полный домашний комфорт. В 50 шагах от нашей палатки мы расположили наш холодильник, где хранилась (в снегу) наша портящаяся провизия, а прямо перед нами находилась фумаролла, в которую мы опустили наш котелок. Мясо и овощи всегда были в готовности и не подгорали. Это была удачная фумаролла, а в других палка обугливалась почти мгновенно. Почва была теплее воздуха, а на глубине в 15 см имела T° кипящей воды. Этот факт тем более разителен, что около марта лишь совсем недавно сошел снеговой покров. Одежда приходилось стел. *наг* собою, т. к. постель слишком нагревалась, тогда как воздух был очень холоден (62° сев. широты и высота 850 м). Так мы кипятились с одного бока и замерзали с другого. Через почву просачивался невидимый пар, конденсирующийся на постелях“.

О “Долине 10.000 дымов”: “Никогда не смогу забыть чувства, испытанного мною, когда глаза мои смотрели на предгорье. Предо мною была огромная долина, столь широкая, что гора, ее окружавшая, казалась лишь синей массой. Теряясь из виду, сотни и тысячи малых вулканов изрыгали вихри дыма. Многие выбрасывали столбы, которые растворялись в воздухе лишь на высоте от 300 до 400 м. Большинство располагалось правильными рядами. Можно было бы сказать, что все паровые машины мира собраны в этой долине и что их предохранительные клапаны действуют одновременно“.

Тебе, дорогой Васюшка, надо особенно запомнить это извержение Катмаи, как мемориальное: оно произошло 6 июня 1912 г., т. е. через 2 дня после твоего рождения (21 мая по ст. ст. 1912 г.).⁷ Расскажи об этом вулкане когда-нибудь маленькому Павлику, когда он сможет понимать подобные вещи. —

Не получаю от вас писем очень давно, чувствую себя оторванным, ничего не знаю, как вы живете, тем более, что последние полученные письма были очень давними и в момент получения, т. е. сильно отставшими. —

Относительно горных пород.⁸ В чем суть “осадочной породы”? Совсем не в том, что она осадилась, а в том, что она получилась из породы же без нарушения ее минера-

логической, а иногда и петрографической природы. Этим они отличаются от пород возникших *in situ* — на месте, из элементов которых еще не предугадан минералогический и петрографический состав. Из базальтовой магмы, в зависимости от режима охлаждения, могут возникнуть разные породы, разные не только по текстуре и структуре, но и по минералогич. составу, тогда как из песка возникнет нечто заранее predetermined. Даже простые элементарные расплавы (S_iO_2 , сера и т. п.) могут дать разные а[неразб.]ческие образования, т. е. разные породы. Итак, кратные члены породы — это образовавшиеся из готовых петрографич. образований и образовавшиеся из расплава; к последним относятся магматические породы, а также ряд других, в том числе *ледяные*. Промежуточное звено — породы, получившиеся из растворов (напр., кам. соль, сильвинит и т. п.). Это первый ярус классификации. А далее все породы могут метаморфизоваться, т. е. преобразоваться, но не коренным образом изменять свою петрографич. природу (кварциты, метаморф. сланцы, графитовые образования и т. д., углистые породы и т. д.), в которых мы узнаем, хотя и с трудом, первичные элементы исходной породы. Крайняя степень метаморфизма, напр., переплав, растворение, уничтожает эти первичные элементы, и тогда порода вновь возвращается ко второй группе 1-го яруса классификации. Необходимо подчеркнуть этот *круговорот* природы: нет пород в собс. смысле первозданных, а есть лишь звенья единого процесса, начало которого геология не знает и которое, если его искать, то надо искать за ее пределами — в астрономии. Крепко целую тебя, дорогой.

1937. III. 21 Дорогой Васюшка,

пишу второе письмо, т. к. только что получил твое. На твои вопросы о гипсах буду отвечать постепенно. Методов изучения можно указать бесконечно много, но чтобы бить в точку, надо знать более конкретно, что ты хочешь установить и каков именно твой материал — т. е. имеешь ли ты в виду кристаллы гипса, или породы, в которые входит гипс, а также еще что-то и что это именно. Из литературы для электр. методов и нек. других физических тебе надо непременно ознакомиться с книгой Н. Кузнецова,

Физика твердого тела, многочисленными книгами по диэлектрикам (Валтера и проч., моей, Иоффе).⁹ [неразб.] моими с сотрудниками работами по слюде, из коих напечатано лишь несколько, остальное в рукописях и перепечатано на машинке, моими статьями в "Техн. Энци."¹⁰ особенно статьями Слюда, Пластические массы, Скважность, Склерометрия и др. Обрати внимание на Lehmanns, Molecular physics и Грот, Физич. кристаллография, и вообще на вопрос по физике *роста* кристаллов. Смотри также мои работы по льдам и изучи классификацию льдов, как пород (у мамы есть фотоснимки таблиц). Электрическое разделение минералов:¹¹ 1° если измельчить смесь минералов с диэл. коэф-нтами $E < E_2 < E_3 \dots E_n$, разболтать в жидкости с диэл. $E^{(k)}$, причем $E^{(k)} > E_k < E_{k+1}$ и создать постоянное или переменное электрич. поле в этой смеси, то все минералы с индексами $k+1, k+2 \dots$ будут втянуты в места бóльшего градиента поля (где силовые линии плотнее), а все с индексами $k, k-1 \dots$ вытолкнутся наружу. Далее эти фракции можно опять разделить, изменив диэл. коэф-нт жидкости. Для сознательного подбора жидкости надо пользоваться смесями двух жидкостей и подсчитывать их диэл. коэф-нт либо по формулам, либо по обычным диаграммам Доброхотова (имеется 2 его книги в трудах Казанского университета). 2° Возможно разделение электроферическое — пропуская постоянный ток через суспензию из смеси минералов в разных жидкостях: одни минералы будут идти к+, другие к-, причем это будет зависеть от рода жидкости. 3° Возможно разделение в очень сильном магнитном поле, пуская струйку минеральной пыли между полосками сильного электромагнита — смесь распадется на фракции. Само собой, эти способы могут служить и для диагнозов. Если, теперь, обратиться к гипсам, то вероятно этим и подобными (о них буду писать после) способами, следовало бы найти критерии каких-либо тонких различий между разностями гипсов. —

Мною создана теория слюды, как состоящей из тонких пластинок со "склеивающим" их электролитом (отчасти найдешь краткое упоминание в статье "Слюда"). Думаю, этот же взгляд (в сущности XVIII в.) следовало бы распро-

странить и на гипс. Для углубления доказательства надо систематически изучать характеристики гипса, как тензоры, т. е. величины, зависящие от направления. Тогда можно вычислить величину и свойство отдельных элементов текстуры. М. б. откроются различия между разностями гипса и, соответственно, найдутся диагностические признаки.

Ты спрашиваешь, нравятся ли мне фотоснимки с маленького. Да, они вышли хорошо, и все маленького одобряют.

Относительно гипса. Попробуй сделать ряд фотоснимков излома пластины в поляризованном свете: тогда замечательно красиво выступает ступенчатость, свидетельствующая о пластинчатости строения. Это "пластинчато дисперсная система", по Вс. Оствальду (см. его статью в "Успехи Химии" 1936, т. 5, вып. 5, стр. 69).

Целую тебя, дорогой, и маленького, кланяйся Наташе.

Примечания к письму IV (№ 95)

1. Речь идет о старшем внуке — Павле, родившемся у В. П. и Н. И. Флоренских 7. VI. 1936 г.
2. В последних письмах мысли о пище появляются все чаще и чаще, но ... никогда не в форме жалобы.
3. Репродукции рисунков водорослей — 4 цветных и 2 черно-белых — опубликованы: "Наше наследие", 1988, № 4, с. 120 и 129.
4. "Оро" — поэма об ороченском мальчике — своего рода Дерсу Узала — ребенок, который в забайкальской тайге встретил ссыльного кавказца, специалиста по вечной мерзлоте и вслед за ним пришел на Сквородинскую мерзлотоведческую станцию, чтобы учиться и стать ученым-мерзлотоведом. Эту поэму, посвященную младшему сыну — Михаилу, П. А. Флоренский начал писать в Сквородино, а потом — частями — посылал из Соловков. Первый вариант, написанный в Сквородино, опубликован.
5. Ан. Ф. — Анна Федоровна Хлебникова, зубной врач, жившая на покое в доме Флоренских до своей кончины (1940).
6. С. И. — здесь Софья Ивановна Огнева, урожденная Киреевская (1846—1940), жена профессора Московского Университета гистолога И. Ф. Огнева (1855—1928), которого П. А. Флоренский почитал и говорил, что он похож на Александра Ивановича Флоренского — его отца.

Софии Ивановне П. А. Флоренский диктовал ряд своих работ, в том числе "Иконостас" (раздел работы "Философия культа", Богословские труды, сб. 9, Изд. Московской Патриархии, М., 1972; публикация священника Апатолы (Просвирина) и П. В. Флоренского; то же в сокращении "Декоративное искусство СССР", 1988, № 6/367, с. 26—37, публикация А. С. и М. С. Трубачевых, П. В. Флоренского и А. Г. Дунаева. П. А. Флоренский, *Собрание сочинений*, т. I, Париж, 1984 и "Воспоминания", см. выше.

7. Одно из немногих мест, где прорывается состояние автора писем: его старший сын родился не в 1912, а в 1911 г.
8. Классификация осадочных пород, основанная на изложенных здесь взглядах, не делалась; мысли о круговороте вещества и отсутствии пород первозданных близки к идеям В. И. Вернадского, который, однако, брал за исходное несколько иные основания.
9. П. А. Флоренский, *Диэлектрики и их техническое применение*, М., Изд. Ред. — изд. отд., Главэлектро ВСНХ, 1924, 388 с.
10. См. *Техническая энциклопедия*, М., Советская энциклопедия, "Пластические массы" т. 16, М., 1932, стб. 563—584; "Скважность" т. 21, стб. 73—113; "Склерометрия" т. 21, стб. 133—176; "Слюда" т. 21, стб. 259—304. Результаты изучения слюды, полученные П. А. Флоренским, развития до сих пор не получили.
11. Методики разделения минералов по диэлектрическим свойствам нет; напротив, магнитная сепарация минералов применяется и в заводском масштабе.

Письмо V (№ 101)

(Анне Михайловне, Мике, Тике, Оле, Васе, Кириллу)

Конверт:

г. Загорск (б. Сергисв) Московской области
Анне Михайловне Флоренской, Пионерская ул., д. 19
Штемпель: отправление — 22. VI. 37, Кемь
получение — 25. VI. 37, Загорск
На клапане: Флоренский Павел Александрович Сп. 1. Осп.
Рукою А. М. Флоренской: "получ. 1937 г. 25 июнь"

1937. VI. 4. Соловки (№ 101).

Дорогая Аннуля.

Ты вероятно удивляешься, получая от меня письма редко. Но это происходит от того, что имея возможность писать лишь 2 письма в месяц, я дожидаюсь твоих, чтобы ответить тебе и потому задерживаю писание своего. А от тебя не получаю, т. е. получаю редко и с большим опоз-

данием. Живу в Кремле, т. е. не живу, а влачу существование, т. к. работать в моих условиях нет никакой возможности. К тому же у нас очень холодно и быть на воздухе, во дворе, не приходится. Я перенес легкий грипп, теперь принялся за лечение спины физико-терапевтич. средствами ультрафиол., лучи, инсоляция.

В общем все ушло (всё и все). Последние дни назначен сторожить по ночам в б. Иодпроме произведенную нами продукцию. Тут можно было бы заниматься (сейчас пишу письмо напр.), но отчаянный холод в мертвом заводе, пустые стены и бушующий ветер, врывающийся в разбитые стекла окон, не располагает к занятиям и, ты видишь по почерку, даже письмо писать окоченевшими пальцами не удается. Зато тем более думаю о вас, впрочем спокойно. Жизнь замерла и в настоящее время мы более, чем когда-либо, чувствуем себя оторванными от материка. Вот уж июнь, а лета никаких признаков, скорее похоже на ноябрь. То туман, то мелкий дождь, то ветер. Даже когда проглянет редкое солнце, не становится тепло. А между тем в этом году весна была очень ранняя и примерно на 2 недели забежала вперед. Живу я в среде сравнительно выносимой, — с нашими бывшими рабочими, которые для меня Васи, Миши, Феди и т. д., но конечно не все. Во всяком случае такое общество несравненно лучше другого, в котором было бы легко оказаться. Но слишком много и хорошего делается трудно выносимым, а у нас ок. 40 человек. Впрочем, и в этом свое преимущество, т. е. при 40 человеках чувствуешь себя более уединенным, чем при 4—6.

Захаживаю в Музей — даю кое-какие советы и таскаю экспонаты, большей частью собранные мною коллекции и всякую всячину в виде диаграмм, рам, утвари из б. Иодпрома. Музей находится в стадии поновления, но надолго ли? Настали наши соловецкие белые ночи. И в полночь вполне светло, как у нас под вечер, сейчас же после захода солнца. Ведь мы так близки к полярному кругу, что в наиболее короткие ночи солнце, когда оно вообще не застится облаками, освещает купы дерев не прекращая. К тому же движется оно в наших широтах по линии, почти параллельно горизонту и потому уходит под него очень недалеко. —

Загадка Мику разгадывается именем *Кьельгаль*; это — химик, предложивший простой и удобный способ определения азота в органических соединениях, при помощи которого определяется количество белков. Но Мику сразу не говори, пусть постарается узнать сам. Второй вопрос — о хлорофилле; хлорофилл — белый, а зеленый свет ему придает присутствующий в нем зелен. пигмент. Третий вопрос: при Иоанне Грозном, который для этой цели сватался к англ. королеве Елизавете, но получил отказ — на свое счастье, т. к. Елизавета была такая ведьма, что сумела бы доконать даже Иоанна Васильевича Грозного. Четвертый вопрос: Бенедикт есть лат. перевод еврейского Барух, так что Бенедикт Спиноза и Барух Спиноза есть одно и то же лицо. —

Вот уже 6 час. утра. На ручей идет снег, и бешенный ветер закручивает снежные вихри. По пустым помещениям хлопают разбитые форточки, завывает от вторжения ветра. Доносятся тревожные крики чаек. И всем существом ощущаю ничтожество человека, его дел, его усилий. —

Получил 4—5-го июл. твое письмо № 13 от 28 апр. Я уже писал тебе, что занятиями Оли в саду я доволен. Но надо принять меры против ее похудения, т. е. чтобы она не делала лишней работы и ела побольше и питательней. Крепко целую тебя дорогая. Сегодня выглянуло солнце и стало теплее.

1937. VI. 4 Дорогой Мик,

вот тебе загадка: какая фамилия одного ученого пишется с тремя мягкими знаками? И чем известен этот ученый? Другой вопрос: какого цвета хлорофилл? Третий вопрос: когда Россия собиралась присоединить к себе Англию? Как-то ко мне обратился с вопросом один (увы!) мой б. ученик и спросил: “Было два Спинозы, один Барух, другой Бенедикт. Который же из двух был особенно замечателен“. Мне стало стыдно, почему? Можешь ответить мне не писать, а скажи их мамочке.

1937. VI. 5

Получил твое письмо. О разгонке угля ты пишешь неплохо, но все же дело не в сдувании золы и не простом

механич. удалении углекислоты, а в явлении сорбции углем продуктов горения и, в силу этого, в снижении реакционной способности горения. При продувании воздуха уголь очищается (не снаружи, а в самой массе) от поглощенных газов и потому реакция горения идет оживленнее, т. е. с ббльшим выделением тепла и ббльшей скоростью. Поэтому, несмотря на охлаждение дутьем, баланс тепла становится ббльшим в положит. сторону. Крепко целую тебя, дорогой Мик, заботься о мамочке и не огорчай ее.

Дорогая Тика,
под скамейкой в кремлевском садике чайка устроила свое гнездо и высиживает своих птенцов, хотя на скамейке целый день сидят люди, а в садике (он по величине не больше нашего двора) ходит толпа. Впрочем эта толчея даже в интересах чайки, т. к. люди отгоняют от ее гнезда чернобурых лис, которые время от времени забегают в Кремль и пытаются напасть на чайку. Кажется, я уже писал тебе, что эти чайки словно из датского фарфора и очень нарядные. Одна из чаек просила меня передать тебе, чтобы ты заботилась о мамочке, слушалась ее и не грубила ей. Но не знаю, надо ли передавать тебе слова чайки, вероятно ты и сама все это знаешь. Писать чаще, чем я пишу, мне нельзя, объясни это мамочке, пусть она не огорчается. Крепко целую тебя, дорогая Тика.

Дорогая Оля, по-видимому твоя работа в саду несколько наладилась. Постарайся же теперь сконцентрироваться около нее, чтобы не было разбросанности внимания и излишней траты времени. Для этого читай около вопросов, с которыми сталкиваешься на практике. Было бы в частности хорошо, если бы ты кое-что читала по этим вопросам по-английски и на др. языках. Как жаль, что пропали мои книги, там было много по вопросам прикладной ботаники, особенно в папках америк. изданий. С прикл. ботаникой связывается бесчислен. множество вопросов почти из любой области знания, и потому, занимаясь садоводством, не только возможно, но и целесообразно обогатить себя целостным охватом мировой жизни, хотя под

определенным, узким углом зрения, а это есть единственный правильный подход к изучению мира, — по Гете. Но меня беспокоит твое здоровье. Постарайся находить хотя бы на лето, усиленное питание, тем более, что летом это сделать легче. Между прочим, употребляйте побольше трав, они не только вкусны, но и способствуют обмену веществ, содержа различные витамины. Напр. побеги (молодые) конского щавеля, звездчатка, крапива, одуванчики, корневище лопуха, корневище одуванчика. Во мне живет убеждение, что растительный мир, преимущественно в диком состоянии, содержит много различных веществ, которых нам не хватает в питании и что поэтому необходимо вводить в питание как можно больше разнообразных диких растений. В частности, необходимы ароматические вещества, отсутствие которых в северной кухне не только вредит вкусу пищи, но и снижает ее усвояемость. —

Очень интересна также история культурных растений, по ней составляется совсем новый взгляд на ход общей истории и начинаешь представлять его гораздо более конкретно. Крепко целую тебя, дорогая Оля. Будь здорова.

Дорогой Васюшка,
вот несколько моментов морфометрии, которые могут быть тебе полезными. Общая постановка морфометрии — нахождение линейной конвергенции форм, в частности кривых контуров, из которых один принимается за стандарт,¹ а другой характеризуется мерою своего отступления от стандарта. Но для вычисления линейной конвергенции какого-либо свойства контуров (или форм вообще) необходимо прежде всего знать среднее значение этого свойства для данной формы (контура). Это свойство контура всегда м. б. само представлено некоторой диаграммой (типа годографа), в которой полярный угол пропорционален дуге контура, а радиус вектор — рассматриваемому свойству.² Поэтому задачу о нахождении среднего значения расстоян. можно ограничить рассмотрением задачи о среднем расстоянии точек контура (того или другого) от некоторой постоянной точки. *Megueй*³ точек

контура относительно неподвижной точки будем называть взвешенное среднее арифметическое расстояний элемента этого контура от точки неподвижной, причем длина элемента берется по своей абсолютной величине. [...]

Постарайся воспользоваться летом, чтобы побыть побольше дома и ходить почаще по окрестностям. —

Голова у меня в отношении памяти стала столь слабая, что я, как ни старался, не мог вспомнить содержания письма о классификации пород. Постараюсь, если обстоятельства мои будут более подходящими, сочинить классификацию заново. Основная мысль была: деление пород по процессу возникновения и предшествующих минералов (или пород) и из среды, где будущих минералов еще нет (расплав, раствор), а возникнуть они могут по разному, в зависим. от условий. К числу последних пород относятся магматическ., лед, выкристаллизовавшиеся вроде соли, гипса и т. д. Третья группа — это те породы, хотя и возникли из готовых минералов, но последние затем более или менее преобразованы. —

Крепко целую тебя, дорогой; поцелуй маленького. Кланяйся Наташе.

Дорогой Кирилл,
в прошлом письме я писал тебе о намечающейся возможности получать повышенные концентр. тяжелой воды посредством фракционного вымораживания. Припоминаю, есть где-то старинные опыты (поиски в моих мерзлотных материалах) с медлен. замораживанием воды, причем первые фракции льда садились на дно, т. е. были тяжелее воды — очевидно были из тяжеловодного льда. Имеешь ли ты представление об образовании донного льда? Этому внезапному процессу предшествует появление в воде тонких ледяных пластинок дисков, диам. неск. мм, при толщине в 1/10 мм (если не ошибаюсь, а м. б. и тоньше). Полагаю, первыми будут образовываться пластинки тяжеловодного льда, они будут садиться на дно, и потому, понятно, переохлажденная вода будет вероятно выкристаллизовываться на этих тяжеловоднольдových пластинках. Следовало бы произвести ловлю этих пер-

вичных пластин у дна и определить их состав; а м. б. это и будет наиболее простой способ промышленного производства тяжел. воды. Поговори об этом с Вл. И. Опыт прост, но многообещающий. —

При определении содержания тяжелой воды по уд. в. ты столкнешься однако с одним затруднением, а именно с многозначностью смысла уд. в. воды, поскольку тяжелых вод много (всего вод 9, если смотреть по х. составу, а по физическому составу, включая и химич. многообразию вод тысячи) и следов. один и тот же уд. в. воды может отвечать весьма многим смесям различных вод. Правда, количеств. содержание их в воде невелико. Но принимая во внимание высокий уд. в. сверхтяжелой воды (1,33) и кроме того, обогащение воды ее тяжелыми компонентами, которые м. происходить в разных колич. соотношениях, необходимо признать, учет каждой из вод порознь совершенно неизбежным, иначе все выводы будут произвольны. На многообразии тяжелых вод и вытекающие отсюда последствия обрати внимание самое серьезное. —

Есть еще способ получения концентрации воды тяжелой — посредством фракционного выпаривания, но это делается в спецколонке. Но, я думаю, такое упаривание следовало бы вести под вакуумом при более низкой T° , а тогда разность упругостей кипения скажется у различных вод более выпукло. Лед тяж. в. (эту мысль уже высказывал в 1934 г.) вероятно объяснит многие загадочные явления в области мерзлоты и мне весьма обидно, что не могу заняться этими вопросами. Кстати, ты мне так и не сообщил, достал ли ты от П. Н.

[пропуск в рукописи]



Заклоченный П. А. Флоренский.

Фотография из следственного дела НКВД.
(Опубл. в журнале "Огонек", №45, 1990)

МАТЕРИАЛЫ ИЗ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА

В журнале "Огонек" Виталием Шенталиным опубликованы доселе неизвестные следственные материалы, извлеченные из архивов Лубянки. Приводим из этой статьи выдержки.

Все дело было состряпано из показаний профессора-правоведа П. В. Гидулянова, надеявшегося смягчить свою участь.

1

...

Второй арест последовал 25 февраля 1933 г. "Поп-профессор, по политическим убеждениям — крайне правый монархист", — такая характеристика дана в справке на арест. "Член центра контрреволюционной организации "Партия Возрождения России". Обличается показаниями обвиняемых профессоров Гидулянова, Остроухова и члена контрреволюционной организации Жирихина".

Арест и обыск на московской служебной квартире Флоренского — Лефортово, Проломный переулок, дом 43, квартира 12 — производил сотрудник ОГПУ Корнеев. Изъято холодное оружие — кавказские клинки, шашка, тесак, охотничьи патроны, а также книги и две рукописи — "У водоразделов мысли" и "Воспоминания детства" (рукописи были вскоре возвращены жене Флоренского Анне Михайловне).

Вел дело уполномоченный ОГПУ Московской области Шупейко.

28 февраля датированы собственноручные показания Флоренского. В этом месте листы дела были подмочены, поэтому текст, написанный красными чернилами, поплыл, страницы будто залиты кровью. Писал Флоренский мучительно: сначала черновик на трех страницах, потом — на пяти — развитие версии и, наконец, дополнение — имена, схема контрреволюционной организации. "Сознавая свои преступления перед Советской властью и пар-

тием, настоящим выражаю глубокое раскаяние в преступном вхождении в организацию национал-фашистского центра...“

2

4 марта, видимо, с целью найти компромат, был произведен еще один обыск на квартире Флоренского. Протокол обыска — интересное описание дома ученого, антураж которого явно поразил сотрудников ОГПУ — в записи проглядывает и удивление, и зависть.

“При обыске изъято ничего не было, так как книги “Столп и утверждение истины“ и других книг по мистике, а также порнографии не оказалось. Жена Флоренского ... очевидно была готова к обыску, она заявила нашему сотруднику: “Вы, очевидно, ищите его рукописи“, — и, открыв большой шкаф, показала очень большое количество “папок для бумаг“, в которых хранятся рукописи мужа по разным вопросам науки, связанным с его работой в институте. Флоренский занимает большой собственный дом в пять-шесть больших комнат, имеет кабинет, в котором сосредоточена его громадная библиотека, находящаяся в шкафах размером вплоть до потолка (как в кабинете, так и в соседней комнате). Кроме этого у него имеется ряд коллекций по старинной монете, металлу и другим ископаемым...“

Красочное описание библиотеки, видимо, не осталось без внимания на Лубянке — вскоре ее увезут.

Был и третий обыск — 25 ноября — не обыск, а настоящий разбой, учиненный неутомимым Шупейко. Они явились в отсутствие хозяев, вырезали замок из входной двери, взломав комнату сына Флоренского, забрали часть его вещей, прихватили даже посуду на кухне, потом произвели опись вещей в двух опечатанных комнатах с целью их конфискации, запретив управдому показывать эту опись хозяйке.

В мае главный редактор “Технической энциклопедии“, известный революционер Людвиг Карлович Мартенс делает мужественную попытку помочь Флоренскому. Он направляет в ОГПУ, на имя Миронова, письмо: “Во

время процесса вредителей я обращался к Вам с просьбой обратить внимание на профессора П. А. Флоренского, арестованного органами ОГПУ еще в феврале с. г. Профессор Флоренский является одним из крупнейших советских ученых, судьба которого имеет очень большое значение для советской науки вообще и для целого ряда наших научных учреждений. Будучи уверен, что его арест является плодом недоразумения, еще раз обращаюсь к Вам с просьбой лично познакомиться с делом. С коммунистическим приветом“.

Обращение это было оставлено без внимания.

30 июня Радзивиловский утверждает обвинительное заключение — целый “труд“ на тридцати страницах. “ОГПУ Московской области раскрыта и ликвидирована контрреволюционная национал-фашистская организация, именовавшая себя “Партией Возрождения России“. Все правильно, заслуга действительная, надо только добавить, что и создана была эта партия тоже ОГПУ!

“Организацию возглавлял руководящий центр в составе профессоров Флоренского, Гидулянова и академиков Чаплыгина и Лузина. Она возникла фактически из уцелевших от разгрома остатков ликвидированной ОГПУ в 1930 г. монархической организации “Всенародный Союз борьбы за возрождение России“, возглавляемой академиком Платоновым и др. Была установлена связь и с белогвардейской эмиграцией и устроено конфиденциальное свидание с Гитлером...“ Вот ведь как разыгралась фантазия!

3

Мы приближаемся к роковому рубежу, к последним годам, месяцам, дням жизни Павла Флоренского.

В середине второго тома следственного дела 1933 г. вшито еще одно дело, попавшее сюда с Соловков, под своим, особым номером.

Это дело в деле начинается “Справкой на Флоренского П. А.“, без даты, но с подписью начальника Соловецкой тюрьмы ст. майора Аптера и его помощника капитана Раевского. Справка гласит: “В лагере ведет контррево-

люционную деятельность, восхвалял врага народа Троицкого“.

Далее следуют один за другим однотипные документы с пометкой “Совершенно секретно” — так называемые “агентурные донесения”, а проще — доносы лагерных стукачей, которые, как оказалось, плотно “держали” Флоренского на Соловках и докладывали начальству о каждом его шаге. Так вот, получается, что благодаря их усердию мы можем теперь узнать кое-что о последней поре жизни Флоренского. Каждая такая бумажка помечена еще крупными буквами “АСЭ” — “антисоветский элемент”. Сокращения з/к и с/с расшифровываются соответственно — заключенный и секретный сотрудник. Доносы именуются “рабочими сводками”, указано и подразделение, стерегущее Флоренского, — группа СПО, 3-я часть 8-го Соловецкого отделения ББК (Беломорско-Балтийского канала).

Вот несколько образцов этого жанра:

“С/с “Хапанели”

Прин.[ял] нач. 3 ч.[асти] Акимов
23 сентября 1935 г.

1935 г. 10 сентября, в комнате кузнечного корпуса, где живут профессор Флоренский П. А., Литвинов и Брянцев, велся разговор на следующую тему: Брянцев говорит, что он слышал по радио, где передавали, что в Австрии за антисоциалистические преступления дали: одному полтора года, другому — 10 месяцев и третьему — 9 месяцев каторжных работ. Далее он поясняет, что если бы у нас в СССР сделать такое преступление, то наверняка дали бы “вышку” или в лучшем случае — 10 лет через “вышку”.

Флоренский говорит, что “да, действительно, у нас в СССР ... карают даже ни за что”.

Далее разговор переходит на тему о том, как кто сидел на Лубянке и кого как допрашивали.

Флоренский говорит, что меня следователь допрашивал все о том, чтобы я назвал целый ряд фамилий, с которыми я якобы вел несуществующие в действительности контрреволюционные разговоры. Но после моего упорного отрицания мне следователь сказал, что-де мол,

нам известно, что вы не состоите ни в каких организациях и не ведете никакой антисоветской агитации, но на вас, в случае чего, могут ориентироваться враждебные Советской власти люди, что вы не устоите, если вам будет предложено выступить против Советской власти. Вот почему, говорит далее Флоренский, дают такие большие сроки заключения, то есть ведется политика профилактического характера, заранее предотвращают преступления, которые и могут даже быть. Следовательно мне и далее говорил (говорит Флоренский), что мы не можем так поступать, как поступало царское правительство, которое показывало на совершившиеся преступления, нет, мы предотвращать должны, а то как же так, ждать, пока кто либо совершит преступление, тогда его и наказывать, нет, так далеко не пойдет, надо в зародыше пресекать преступление, тогда будет прочнее дело.

После этого Литвинов говорит, что при такой политике весь СССР перебудет в лагерях...

Брянцев говорит о том, что настоящее внутрипартийное положение таково, что даже нет покоя и членам партии.

Флоренский и Брянцев говорили о Германии, о политике Гитлера, что политика Гитлера очень схожа с политикой СССР (Брянцев). Правда, она, эта политика, очень грубая, но довольно меткая (Флоренский)...

13 сентября с. г. в помещении кузнечного корпуса з/к Флоренский Павел Александрович разговаривал с з/к Литвиновым Романом Николаевичем на тему о лагерной жизни, и оба они рассказывали друг другу, за что высланы на Соловки.

В процессе разговора Литвинов сказал: “К концу второй пятилетки половина СССР перебудет в лагерях, так как хватают всех и как попало”.

Продолжая этот же разговор, з/к Флоренский высказывался: “Наша жизнь после лагерей будет вся измята, и если, после нашего освобождения, возникнет в стране какое-либо явление ненормального характера, то нас сейчас же опять в первую очередь посадят”.

Продолжая беседу, з/к Литвинов сказал: “Со мной во время предварительного следствия сидел один человек

(фамилию он не назвал), который получил три года за то, что стрелял в портрет Калинина в пьяном виде“.

На это з/к Флоренский ответил: “Неужели Калинин так высоко котируется?”

Фигуранты состоят под агентурным наблюдением“.

На донесении имеется резолюция: “Т. Акимову. На этих зз. обратить особое внимание. Они работают внии-лоболотории“. Так в оригинале!

Реагирование з/к на постановление правительства от 14 и 22 сентября 1935 г.

С/с “Хапанели“

26 сентября 1935 г.

25 сентября с. г. в помещении кузнечного корпуса з/к Флоренский Павел Александрович, беседа с з/к Брянцевым Николаем Яковлевичем и Литвиновым Романом Николаевичем на тему о введении персональных военных званий нач. составу РККА, высказывался: “В этом постановлении чувствуется тенденция на проявление сходства с буржуазными армиями, в частности с французской. В общем, все-таки не совсем понятно введение в нашей армии чинов. Ведь раньше у нас эти чины, которые вводятся, например, полковник и др., были просто ругательными словами. Выходит так, что против чего раньше боролись, теперь к этому возвращаемся снова“.

Приписка к донесению: “З/к Флоренский является учетником СПО, как АСЭ. Агнаблюдение за ним продолжается“.

Политнастроения

С/с “Евгеньев“

Пр. уп. СПО Кузьмичев

15 января 1936 г.

З/к Флоренский Павел Александрович 15 января, беседа с з/к Гендлиным по вопросу о возможностях досрочного освобождения из лагеря, говорил последнему: “Я лично от такого рода освобождения хорошего ничего не жду. Сидеть в лагере сейчас спокойнее, так как не нужно ждать, что тебя каждую ночь могут арестовать. А ведь на

воле только так и поступают, как только придет ночь, так и жди гостей, которые пригласят тебя на Лубянку“.

“Ист.[очник] “Евгеньев“

Пр. Монахов

26 декабря 1936 г.

З/к Флоренский П. А. (быв. профессор): “Я Ипатьева и ... не осуждаю, и не одобряю: каждый человек является хозяином своей судьбы. Человек все взвесил и решил, что остаться там для него правильной будет, и он остался. Вопрос об измене трудно к ним применить, так как они никому не изменяли, а просто решили жить лучше вне радиуса действий наших лагерей“.

Ист. “Товарищ“

Пр. Кузьмичев [дата не указана]

З/к Флоренский разговаривал с з/к Шаш у туннеля о последних известиях из-за границы. Между Флоренским и Шашем зашел спор о начале войны. Флоренский утверждал, что предположения стратега, известного на весь мир, а теперь и идеолога партии Троцкого, о том, что война начнется в 1937 г., — оправдается ... Здесь же Флоренский привел довод, что периодически война вспыхивает через 15–20 лет.

Приятельи шли к библиотеке, во весь голос разговаривая, жестикулируя. За ними шел я. По приходу в библиотеку разговор прекратился“.

И вот перед нами узкая полоска бумаги, согнутая пополам. На одной стороне: “190. Флоренский Павел Александрович...“ На другой: “Флоренского Павла Александровича — р а с с т р е л я т ь“. И жирная красная галочка. А на обороте листка “Выписка из протокола заседания Особой тройки УНКВД Ленинградской обл. №199 от 25 ноября 1937 г.“: “Верно“ — “за секретаря Тройки нач. 3 отд. 8 отдела УНКВД лейтенант ГБ Сорокин“.

Самый последний документ этого “дела в деле” — в желтом конверте:

АКТ

“Приговор Тройки УНКВД Ленинградской обл. в отношении осужденного в ВМН Флоренского Павла Александровича приведен в исполнение 8 декабря 1937 г., в чем составлен настоящий акт.

Комендант УНКВД Ленинградской обл. ст. лейтенант Поликарпов“.

Круглая печать.

свящ. Павел ФЛОРЕНСКИЙ

ЗАПИСКА О СТАРООБРЯДЧЕСТВЕ *

(приложение к лекциям)

1. Отделение старообрядцев от Греко-русской Православной Церкви было бедствием; самое упорство и ожесточенность борьбы со старообрядчеством свидетельствует о сознании той боли, какую церковное тело ощущало от этой операции. В старообрядчестве Греко-русская Церковь утратила одно из существенных направлений своей жизни (“разделение” по Апостолу), и вследствие борьбы со старообрядчеством, представители Православной Церкви вынуждены были замалчивать положения, необходимые в составе здорового церковного мышления, — замалчивают их отчасти потому, что их выдвигали старообрядцы.

2. Но и для старообрядчества отделение от общего русла церковной жизни было губительно. Не говоря уже об основном вопросе, сознававшемся старообрядчеством крайне болезненно (священство, таинство), отмечаю создавшуюся в старообрядчестве привычку к обороне, в результате чего была постепенно утрачена способность жизненно и творчески пользоваться обороняемыми благами. Предметом нескольковекового внимания была исключительно защита своих духовных ценностей, и потому импульсом жизни постепенно стало гонение.

Когда же гонение прекратилось и настало время воспользоваться этими ценностями, то обнаружилось в младшем поколении непонимание, даже непризнание их, неумение ими воспользоваться в жизни, так что вся борьба оказалась ошибочной.

* Печатается впервые

3. Такое положение, можно предвидеть, поведет к простому самоупразднению старообрядчества и растворению старообрядцев в общей серой среде позитивизма. Между тем, как явна невозможность для русской Церкви начать жить полнокровною жизнью, пока она не вспомнит некоторых из начал, отстаиваемых старообрядчеством, так же несомненна необходимость для старообрядчества продумать те начала, которые отстаивало оно право, но неправо оставило в памяти как мертвые вещи, а не руководящее побуждение к мысли и деятельности.

4. Воссоединение русской Церкви настоятельно требуется и ради исправления исторического греха в прошлом, и по здравому расчету на будущее. Однако это воссоединение возможно только в том случае, если самое разделение мы перестанем рассматривать само по себе, отвлеченно от всего течения церковной истории, и уловим логику событий, приуроченных к именам патриарха Никона и протопопа Аввакума.

Историческим предварением раскола было Смутное Время; но Смутное Время не было случайностью русской истории, а подготовлялось по крайней мере один век. Разложение онтологического миропонимания, называемое на Западе Возрождением, в несколько ослабленном виде, и с некоторым запозданием происходило также у нас. Этот процесс чрезвычайно нагляден, если проследить памятники церковного искусства с XV по XVII век: духовное вытесняется плотским, истина — домыслами, созерцание — рассудочностью, непосредственность святости — условностью.

Смутное Время в искусстве совершенно определенно предугадывается более чем за полвека вперед, и разрушение государства произошло, когда духовная жизнь утратила свою организующую силу. Когда политический и экономический кризис потерял свою остроту, Россия пришла к новой форме равновесия, но русская Церковь и сама душа народа оказались на пониженном уровне, подобно временно оправившемуся от раннего слабоумия. Более чуткие деятели не могли не сознавать, что разруши-

тельный процесс в церковном мирозерцании продолжается и должен повести к повторению Смутного Времени. Необходимо было бы уяснить себе коренную причину болезни — измену самым основам онтологического мирозерцания и ценою каких угодно жертв вывести церковный корабль из увлекающей его к гибели стремнины Ренессанса. Но на это героическое действие ни у кого не хватило ни сил, ни даже пронизательности, и поэтому даже наиболее страдавшие за грозную опасность деятели ограничились лишь частными поправками, несколько не затрагивающими самого недуга. Одни (сторонники Никона) видели спасение в мелких реформах, которыми и думали сгладить извне внешние шероховатости; но при наличии этих мелких реформ и умолчании возрожденских начал, закравшихся в церковное миропонимание, эти последние только закреплялись. Другие деятели (сторонники Аввакума) думали спасти положение, наглухо закрепив церковную жизнь недавнего прошлого, но тоже лишь закрепляли этим задолго до того происшедшее отступление от церковного миропонимания. И реформы, и реставрации в самом главном ошибались одинаково; вот почему, несмотря на различие их внешнего положения в дальнейшей истории, они все-таки шли параллельно друг другу и продолжали утрачивать то миропонимание, ради которого и которым живут внешние формы.

Хотя и оттянутое, Смутное Время повторилось и застало обе стороны одинаково неподготовленными для борьбы с собою и одинаково ничему не научившимися за три века. Пора хотя бы теперь проверить чистоту самых основ миропонимания.

5. Образ мысли цветущего времени русской Церкви, времени преп. Сергия, так существенно отличен от такового же и представителей Греко-русской Церкви, и старообрядцев, что внешние расхождения между ними, как бы они ни были важны сами по себе, должны занять во внимании не ближе, как третье место, на втором же должно быть воссоединение церковного тела на основе коренного признания общего источника и общего приме-

ра. Это воссоединение прежде всего должно касаться благодати и священства.

6. Не углубляясь в миссионерско-начетнические прения по вопросу о возникновении Белокриницкой иерархии, необходимо, однако, согласиться, что по всем сопровождавшим обстоятельствам и по последующему, такое возникновение исторически беспримерно, а по непосредственному чутью — странно. Может быть, и то, и другое не свидетельствует еще об отсутствии благодати в Белокриницком согласии, но, тем не менее, оно не дает и почвы для бесспорного признания австрийского священства. Не дерзнул бы объявить его действия безблагодатными, но не осмелился бы требовать от кого-нибудь признания их благодатности. Эта внутренняя неопределенность вытекает из существа дела, и никакими рассуждениями ее не устранить, потому что твердое суждение о благодати возможно либо там, где соблюдены канонические и литургические формы, либо — где дано особое откровение.

7. Указываемая внутренняя неопределенность свойственна не только стоящим вне австрийского согласия, как православным, так и старообрядцам, но и, отчасти, тоже принадлежащим к нему.

Следовательно, было бы непростительной ошибкой пренебречь этим сомнением ради единства, и, таким образом, православной Церкви лишиться уверенности в неповрежденности своего священства, а австр. согласию — устранения обстоятельства, которое не может не быть для церковной жизни губительным.

Совершенно необходимо, чтобы сомнение в благодатности австр. священства было преодолено, и притом преодолено до конца, а не обойдено с помощью рассуждений или распоряжений.

8. Казалось бы, простейший способ преодолеть это затруднение было бы — вновь посвятить посвященных в австр. согласии. Но способ этот, если бы даже могли быть побеждены все трудности, происходящие от людей, все-

таки был бы негодным по существу: чтобы требовать и допустить второе посвящение, нужно быть уверенным в недействительности первого, а этой — то уверенности и не имеется.

(ок. 1916-17?)

СВЯЩЕНСТВО ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО

Священство лежало в основе одной из ветвей рода П. А. Флоренского — то была мужская костромская ветвь.

В 1915–1916 гг. П. А. Флоренский провел много изысканий по уточнению своей родословной и писал: “Почитание родителей” должно выражаться конкретно прежде всего в стремлении узнать их. У меня лично пестрота невероятная, начиная от мещан и до графов Разумовских, бывших почти на престоле, от бедных дьячков и до знаменитого епископа, от забитых судьбою сирот и до владетельных царьков. Тут такая пестрота, что разобраться во всем этом надо немало времени. Однако костромские дьячки одни только всецело привлекают мое внимание, и сердцем я именно с ними“. (Из письма В. В. Розанову от 30 октября 1915 г.)

В костромской ветви была заложена судьба П. А. Флоренского в ее крайних пределах: исполнить то, что предназначено (судьба умопостигаемая) — повиноваться року (судьба поколений рода).

Чем более духовно возрастал П. А. Флоренский, тем яснее он видел с и л у рока над своим родом, почти невозможность избежать его, но тем с еще большей болью чувствовал необходимость преодолеть рок: земную судьбу рода.

“Рок навис над нашим родом. И если в нас видят что-то своеобразное, то правильнее всего, не есть ли это не более, как обреченность. На молитве порою я знаю, откуда этот рок и для чего он. [И решите что-нибудь.] А потом снова вовлекаешься в мирской водоворот. Роковое — то, что все желанное, все дорогое оказывается недостижимым, хотя считаешь его хорошим; и все считающееся хорошим, но о чем не думаешь, чего не ищешь — все это “само плывет в руки“. Если буду жить, то когда-нибудь я расскажу об атмосфере таинственных вмешательств чего-то в свою жизнь, о необыкновенных случаях, став-

ших у меня вследствие частоты своей обыкновенными. Но посмотрите на жизнь отца, деда. Дед мой, Андрей (вероятно, описка, так как деда П. А. Флоренского звали Иван, а его отца — Андрей. — П. В. Ф.), был сыном священника. Он, как мне рассказывала одна старица, подруга первой его жены и сестра — второй [зачеркнуто П. А. Ф—м], блестяще окончил семинарию и был послан в Академию, но тут задумал, по любви к науке, уйти в Военно-медицинскую академию. Сам митрополит Московский Филарет уговаривал его остаться и будто бы пророчил, что если примет монашество, то будет митрополитом. Но дед все же пошел по своему пути, на нищету и разрыв с отцом. Мне порою и является мысль, что в этом оставлении семейного священства ради науки — *πρόβου ψευδός* (принципиальная ошибка. — П. В. Ф.) всего рода и что, пока мы не вернемся к священству, Бог будет гнать и рассеивать все, самые лучшие, попытки. Дед был глубоко неудовлетворен жизнью. Два желания были у него: создать прочную, дружескую, “вековечную“ семью и иметь свой клочок земли, чтобы не жить в городе. Но любимая им жена, бабушка моя, умерла молодою, а вторая жена, мачеха отца, оказалась мачехою из сказок. Одним словом, семья не удалась и рассыпалась хуже, чем рассыпаются семьи без “идеальных“ основ. Сам же дед умер от холеры, леча холерных больных. — Отец мой мечтал всю жизнь о том же — об идеальной семье и о жизни вне города, на своем клочке земли. И все не удалось, а умер он опять при исполнении своих общественных обязанностей, — именно от этого исполнения. — Обо мне, “представителе рода“ (если Вы признаете права первородства), говорить нечего. Вы все знаете. Но почему не сказать, что жизнь вне города и дружба, в семье ли, иначе ли, — одним словом, отношения интимные до конца, составляют и мою мечту. Только теперь я уж узнал, что этому не быть, и мне хотелось бы только умереть *не* от своих обязанностей профессора, а от чего-либо иного, чтобы хоть тут преодолеть судьбу“. (Из письма В. В. Розанову от 28 мая 1910 г.)

23 апреля 1911 года П. А. Флоренский был рукоположен ректором МДА преосвященным Феодором, епископом Волоколамским, во диакона, а 24 апреля — во священ-

ника. О том, как благодатно воспринял П. А. Флоренский рукоположение в священный сан, свидетельствует его письмо В. В. Розанову от 11 мая 1911 г.:

“Внешне — я все тот же: и сержусь, и раздражаюсь, и недоволен. А в глубине души достигнутое, завершённое, окончательное слово свило гнездо свое и высиживает птенцов. Я вернулся к предкам, и теперь, за несколько дней этих, я так привык к своему положению (при полной, поразительной для всех неумелости в деле службы), к рясе, к алтарю, к престолу — ко всему, что ни есть в церкви, что мне диким и непонятым кажется, как же это было раньше; не верится, чтобы могло быть иначе. Вся психология перевернулась. Вы поймите, Василий Васильевич, что это значит — почувствовать на себе руку Епископа, непосредственно соединенного, *телесно*, физически с другим Епископом... с Апостолами, с Самим Христом. Ведь на себе чувствуешь *не иносказательно*, а буквально руку Христа Самого.

Впрочем, все это рассуждения. А факт тот, что посвящение, самый акт возложения руки ошеломил меня (дважды), ударил в пот, довел почти до потери сознания окружающей обстановки и дал что-то новое, для меня, — для других. Вкус изменился, как вообще, так и пищевой. Любил я красное вино — теперь видеть не могу, иначе как в церкви, самое слово “вино” во всех его видах мне противно. Наука, искусство, даже Вяч. Иванов мне опостытели, стали безвкусны, пресны, ненужны. Зато семья сделалась какой-то уплотненной, более близкой... простая жизнь стала близкой“.

По словам архиепископа Новгородского Сергия (Голубцова), отец Павел, когда служил, делал возгласы медленно, внятно, но без аффектации. В богослужении отец Павел придавал большое значение форме: темп, уставность голосоведения при чтении открывают больше смысла, чем намеренная выразительность. Когда П. А. Голубцов присутствовал при совершении отцом Павлом таинства крещения, его поразила действенность заклиательных молитв, произносимых отцом Павлом: он читал их не вообще, а обращаясь непосредственно к закли-

наемым духам злобы. Впечатление было такое, что он физически чувствовал и видел их.

“В то время, когда ... в церковных кругах возникали одна за другою, хотя и эфемерные, церковно-политические организации, отец Павел оставался им чужд, — по равнодушию ли своему вообще к земному устройению, или же потому, что голос вечности вообще звучал для него сильнее зовов временности. Обновленческое движение в среде русского духовенства, позднее выродившееся в живоцерковство, никогда не находило для себя отзвука в отце Павле, как ни страдал он от всей косности нашей церковной жизни. Его христианство не было также и “социальным“, хотя тогда уже вокруг него и возникали разные его течения. Но это было в нем менее всего простым охранительством, эта внешняя оболочка соединилась с пламенным горением огненного духа, хотя и с тихим светом из него излучавшимся. Потому он не был потрясен и тем изменением отношения Церкви и государства, которое наступило после революции, — писал протоиерей Сергей Булгаков. — Предо мной неотвязно стоит воспоминание, а вместе и предзнаменование грядущих событий и свершений. Это портрет наш, писанный нашим общим другом М. В. Нестеровым майским вечером 1917 г., в садике при доме о. Павла. Это был, по замыслу художника, не только портрет двух друзей, сделанный третьим другом, но и духовное видение эпохи. Оба лица выражали для художника одно и то же постижение, но по-разному, одно из них как видение ужаса, другое же как мира, радости, победного преодоления... То было художественное ясновидение двух образов русского апокалипсиса, по сю и по ту сторону земного бытия, первый образ в борьбе и смятении (а в душе моей оно относилось именно к судьбе моего друга), другой же к победному свершению, которое ныне созерцаем...” (Прот. Сергей Булгаков. “Священник Павел Флоренский“).

В 1920-е годы священник Павел Флоренский служил как неприходский священник в церквях Сергиева Посада (Пятницкой, больничной Красного Креста) и Москвы (во имя пророка Илии “Обыденного“, во имя святителя Николая, “что на курьих ножках“). В церковно-общественной

жизни того периода отец Павел не участвовал, сохраняя каноническую верность святейшему патриарху Тихону, а впоследствии его местоблюстителю митрополиту Сергию. Сохранились свидетельства о встречах отца Павла со святейшим патриархом Тихоном:

“Этот вечер с понедельника на вторник, — писал отец Павел 22 февраля 1924 г. (ст. ст.), — был кануном памяти еп. Антония. В среду утром я был в Донском и служил панихиду с Патриархом, который меня узнал и очень ласково и даже радостно поздоровался со мною“.

В ряде работ и набросков середины 20-х годов отец Павел подверг резкой критике обновленческие тенденции к обновлению Богослужения.

На вопрос П. А. Голубцова (архиепископа Сергия), как он оценивает обстановку в церкви в начальный период деятельности митрополита Сергия, священник Павел Флоренский ответил: “Лучше грешить с эпохой, чем отделяться от нее, считая себя лучше других“.

В записях отца Павла есть очень простые слова о значении в его жизни священного сана:

“23 апреля 1916 г. Ночь. Сегодня исполнилось ровно 5 лет моего посвящения в диаконы, а завтра, в Неделю жен-мироносиц, 24 апреля — 5 лет исполнится моего посвящения в священники.

Оглядываясь назад, я благодарю Господа своего, давшего мне Свою великую милость. Не стану говорить о великости дара самого по себе, да м. б. и самой ничтожной доли его я все еще не ощущаю. Но в отношении к моей жизни. Что делал бы я, как жил бы без сана? Как метался бы и скорбел... Как плохо было бы Анне со мною и детям. И теперь не хорошо, но так мы все погибли бы. Правда, было много страданий, много неприятностей, связанных с саном, но что они все в сравнении с даром благодати! И как там ни говори кто, а саном — я обязан епископу Феодору. Ему я воистину благодарен за дар, который получил от него не формально, а существенно“.



о. Павел Флоренский. 1932г. В лесу под Загорском.

П. А. ФЛОРЕНСКИЙ И “НОВОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ”

Нам хотелось бы начать размышления о сущности взглядов Флоренского с категорически звучащего тезиса: Флоренский — один из выразителей “нового религиозного сознания”. Осмысливая русскую философию начала XX в., следует, на наш взгляд, отправляться от православной церковности как от некоего духовного уровня, считать церковность, если угодно, чем-то вроде мировоззренческого эталона. Изучать религиозных философов в одном лишь культурном контексте начала века или же, что случается еще чаще, изолированно, в качестве замкнутых в себе идейных миров, представляется нам занятием неплодотворным. Творчество философа нельзя понять и оценить, не найдя ему места в соответствующей умственной традиции: так, ни один из западных мыслителей XIX–XX вв. не может исследоваться безотносительно к трудам Канта. Подобного “отца” у русской философии нет; зато общей “матерью” наших мыслителей была православная Церковь. Независимо от того, какие взгляды сознательно исповедовал русский человек, его первичные интуиции, его непосредственное переживание бытия были укоренены в церковности. Церковь — то духовное лоно, из которого вышли все представители русской философии и с которым они сохранили глубинную связь, в видимости и целиком порвав с историческим православием. Это очевидно, если мы берем в рассмотрение хомяковско-соловьевскую линию отечественной философии, сочинения софиологов и такого мистика, как Вяч. Иванов. Но то же самое можно утверждать и про тех, кто прошел через кантианский искус, чья мысль навсегда осталась отмеченной печатью критицизма и “строгой науки”. Интуицию Тела Христова под разными наименованиями несложно обнаружить в мировоззрении не только мистиков С. Л. Франка и Н. О. Лосского, но и у совершенно не-

причастного к мистицизму, сторонника архитектурности философского мышления, М. М. Бахтина. В своей итоговой книге “Самопознание” Бердяев пишет, что в эмиграции его всерьез считали православным мыслителем; и при всей своей воистину сокрушительной критике современной Церкви Бердяев отнюдь не категорически оспаривал представления о себе как о человеке православном.

Короче говоря, церковность заложена в русских мыслителях, так сказать, генетически, — неважно, что путь большинства их — от марксизма (или позитивизма, как в случае с Флоренским) к идеализму. Быт, воспитание и образование на рубеже XIX–XX вв. еще были пропитаны духом православия. И именно православность стала тем фундаментом, на котором возводились сложные умственные постройки, древняя церковность оказалась той общей первоматерией, из которой формовались выразительные и совершенно не похожие друг на друга лики философских систем. Большинство отечественных мыслителей в своем становлении прошли через Церковь, в какой-то момент своей судьбы совершенно искренне, всем своим существом хотели остаться в ней, как в земле обетованной, навсегда. Потому все они имели опыт церковности, знали Церковь изнутри. Те или иные аспекты церковного опыта вошли в их системы в качестве положительных ценностей; другие не привились к их личности. Как правило, отход от Церкви происходил в силу того, что древнее православие оказывалось не в состоянии вместить интеллектуальной глубины и сложности души человека новейшей эпохи. Слишком многое из того, что представлялось праведным, было невозможно воцерковить; лучшие порывы оказывались отринутыми Церковью — разрыв с нею ради служения Богу, ради сохранения ценнейшего в себе становился неотвратимым. Путь философов, с которыми мы привыкли связывать термин “новое религиозное сознание” — путь Бердяева, Розанова, Мережковского, — был именно таким. Но и в тех, кто в видимости не порвал с историческим православием, совершилась глубокая трансформация исходных древнецерковных интуиций. Потому, немного расширив грани-

цы термина, к “новому религиозному сознанию” вполне правомерно отнести и Флоренского с Булгаковым, несмотря на их священнический сан и волю к исповеданию православия. *При постижении взглядов русских мыслителей, при вживании в их интуиции важно распознать в них исходную церковность и пути ее трансформации.* Так могла бы быть написана история русской философии, наиболее глубоко, на наш взгляд, учитывающая духовные истоки русской мысли. Заметим, что лучший из имеющихся на сегодняшний день историко-философских курсов — “Пути русского богословия” Г. Флоровского — построен именно по такому принципу. Главных трудностей такого рода исследований нам видятся две. Во-первых, это необходимость наличия у исследователя собственного православного — причем прошедшего через искушения, выстраданного — церковного опыта; для христиан неправославных исповеданий подобное исследование непременно должно сопровождаться конфессиональной критикой. Во-вторых, трудностью является проблематичность самого понятия церковности — понятия, скорее, жизненного и внутреннего, нежели догматического. При совершенном разброде во взглядах на церковность, при самых разных оценках, сопряженных с этой категорией, рассуждения о церковности русских философов неизбежно примут характер мнений. Потому и наши нижеследующие рассуждения в связи с Флоренским не претендуют на большее, чем на статус мнения. Они, однако, отвечают сильной внутренней потребности и полемически направлены против той тенденции в современных исследованиях, целью которой является представить Флоренского в качестве православного писателя.

К проблеме Флоренского как выразителя нового религиозного сознания можно было бы подойти с различных сторон. Можно было бы связать ряд его важнейших идей непосредственно со взглядами Мережковского и Розанова: скажем, концепция Третьего Завета, развитая в “Столпе”, острый интерес к проблемам пола и эроса, гностический оттенок мысли, как и многое другое, возводит Флоренского к его предшественникам, старшим

современникам, к духу религиозно-философских собраний и публикациям журнала “Новый Путь”. Можно было бы также проследить за оценкой творчества Флоренского со стороны деятелей русской Церкви, сознательно держащих себя в границах святоотеческого православия и избегающих модернистских уклонов. Наиболее весомо среди этих критик звучит не прямое обвинение в ереси (архимандрит Никанор), но тонко и глубоко обоснованное утверждение Флоровского — “Не из православных глубин богословствует Флоренский”. Наверное, в-третьих, можно было бы взяться оспорить сам пафос “магического православия” (С. Хоружий) Флоренского и противопоставить ему чисто *молитвенную* струю в православии, молитвенный строй православной души... Но нам сейчас хотелось бы не столько решить, сколько поставить иную задачу — задачу исследования того *человеческого идеала*, который встает за трудами Флоренского. Можно ли сказать, что таким идеалом оказывается *православный святой*? Каково отношение Флоренского к святым древности и какой мыслится ему современная святость? На каких людей устремлено его пристальное внимание, чьи черты он хочет сохранить для вечности? Ответы на эти и подобные вопросы смогут многое прояснить нам в духовном строе мыслителя. Наши последующие рассуждения несколько не претендуют на полноту и имеют лишь самый предварительный характер.

Антропология не является особо акцентированной и разработанной областью взглядов Флоренского. Почти не делая оговорок, можно сказать, что учения о *человеческой личности* у Флоренского нет.¹ Это связано с отсутствием в богословии автора “Столпа” и “Философии культа” *Христа*, что было отмечено еще в 30-е годы Г. Флоровским. Общие представления Флоренского никоим образом не персоналистичны, — так что его концепция человека и, в частности, образ идеальной личности следует искать по преимуществу в характеристиках конкретных лиц.

Какой же тип человека интересует Флоренского? В центр воззрений мыслителя им сознательно была поставлена Церковь как святая тварь, тварь в Боге; в этом

смысле мышление Флоренского эллипсоцентрично. *Идеологически* Флоренский — православный, причем предельно строгий и жесткий; эта православная суровость, в частности, проявилась в его отношении к Блоку и Толстому, оказавшимся в его глазах, так сказать, антигероями. И поэтому естественно, что мысль Флоренского в поисках человеческого совершенства обратилась к служителям Церкви. Флоренскому принадлежит ряд характеристик духовных лиц, — однако, в православную идеологию эти “портреты” явно не укладываются. *Флоренского занимает не столько церковный антропологический канон, явленный в конкретных людях, сколько его нарушения.* Именно в нарушении канона ему видится духовная свобода, и следовательно, истина. Нет, Флоренский никоим образом не ратовал за отмену канона, в частности, и канона антропологического. Для него истина была в каноне; он ощущал в нем таинственную, неприметную для поверхностного взгляда духовную глубину. Но почитание духа канона может вступить в противоречие с его буквой. Каноническая “буква” в глазах Флоренского не является последней ценностью, и есть люди, имеющие высшее право на ее отмену: “праведнику закон не лежит”. Флоренский искал истину по ту сторону церковных форм; в Церкви ему была дорога ее “безусловно святая сердцевина, — несомненно, он верил в это, присутствующая внутри всех “скорлуп”, — дорогá жизнь, бьющаяся под корой всех выдохшихся символов”, как писал он в 1905 г. Андрею Белому. Но таким же путем вглубь исторической религии, путем к надконфессиональной, вечной истине был путь всех, в частности и русских, выразителей “нового религиозного сознания”. Проработать содержание конкретной конфессии с тем, чтобы, дойдя до ее последней, ноуменальной сути, выйти за ее пределы — здесь существо исканий и Мережковского, и Бердяева, и Андрея Белого, — как и, заметим, существо различных теософских и антропософских течений, неслучайно чувствующих свою связь с “олимпийскими” воззрениями Гете. На деле для русского это означало ту или иную степень разрыва с православием — можно не добавлять слова “историческим”, поскольку под

православием и понимается одно из исторических явлений христианства.

Целью своей жизни Флоренский ставил реконструкцию “общечеловеческого мировоззрения”. По завершенным фрагментам труда “У водоразделов мысли”, в частности, по филологическому разделу, можно судить о том, каким виделось Флоренскому мировоззрение, которое он считал истинным, адекватно соответствующим объективному строю бытия. И меньше всего это мировоззрение напоминает святоотеческое православие. Реализм в средневековом смысле, в основе которого — оккультное, магически-заклинательное, но не религиозно-молитвенное ведение запредельного мира — так, в самом общем виде, можно было бы назвать это, по мнению Флоренского, единое во все времена, первичное, непосредственное, “народное” переживание бытия. В “Столпе” нет Христа, но есть Церковь; в “Водоразделах” же церковность растворена в совершенно иноприродном материале. В проспекте главного, по замыслу, труда Флоренского христианство упоминается лишь однажды, видимо, на равных правах с другими мировоззренческими системами: “Механическое миропонимание. Каббала. Оккультизм. Христианство” (см. *Studia Slavica Hung.*, 32/1–4, 1986, с. 119). Если о “Водоразделах” можно судить по опубликованным фрагментам, то перед нами налицо комплекс языческо-магических интуиций, — тот самый, который был упразднен, исторически преодолен христианством. Упреки в позитивизме, предъявляемые Флоренским современной ему Церкви, абсолютно несправедливы: по сравнению с древним магизмом само христианство, если угодно, позитивно. Если в центре христианства — Бог-Искупитель, то внимание Флоренского, все силы его мощной, воистину гениальной интуиции направлены на тварный мир. И недружелюбно настроенный к Флоренскому Бердяев достаточно метко определял подобные взгляды как “космическое прельщение”.

Эти общие соображения в связи со взглядами Флоренского оправдываются, если проследить за тем, что он писал по поводу идеальных в его глазах личностей. Первым в ряду православных подвижников, отмеченных

особым вниманием Флоренского, должен быть назван преподобный Сергий; но и остальных — старца Гефсиманского скита Исидора, архимандрита Серапиона Машкина, отца Алексея Мечева — Флоренский наделяет чертами святости. О совершенно особой роли преподобного Сергия в жизни Флоренского нам уже приходилось писать. Присутствие Флоренского в Лавре и постоянное духовное общение с ее основателем сформировало систему интуиций Флоренского: в “Столпе” можно распознать духовный тип Сергия (Троица, София, Свет, дружба суть не только аспекты содержания “Столпа”, но и моменты Епифаниева жития святого, характерные черты его лика). В некоем глубоком смысле Флоренского можно считать учеником Преподобного — но влияния Сергия на антропологию мыслителя как-то не заметно. Флоренский называл Преподобного Ангелом-хранителем Руси; в облике Сергия он ценит неотмирность и небесную завершенность, не обращая внимания на особенности его земного пути. Святость Сергия Флоренский определяет в ключе “нового религиозного сознания”. Представление о святом Сергии как о русском Ангеле-Хранителе для нас не имеет православных аналогов и кажется неким гностическим положением. Когда Церковь в своих песнопениях называет преподобных “земными ангелами и небесными человеками”, совершенно ясно, что налицо поэтический образ. Слова же Флоренского об “ангеличности” Сергия звучат совсем иначе, философски сознательно и реалистично. О том, что ангелы-хранители приставлены не только к людям, но покровительствуют и географическим реалиям, Флоренский пишет в “Смысле идеализма”. А если вспомнить, что друг и ученик Флоренского, отец Сергей Булгаков, в своих разработках очень часто идущий прямо-таки по пятам учителя, книгой “Друг Жениха” вполне серьезно обосновывал, что Иоанн Креститель — “Ангел Пустыни” известной иконы — был настоящим *ангелом*, принявшим человеческий облик, то идея Сергия-Ангела получает отчетливый и совершенно неправославный смысл. Воплощение ангелов в святых людей резко оспаривалось отцами Церкви — скажем, автором “Благовестника”, блаженным Феофи-

лактом Болгарским, в толковании Евангелия отрицается ангельская природа Иоанна.

Святость изнутри, как некое экзистенциальное состояние, понимается Флоренским в качестве особого знания: в этом он следует гностической линии в христианстве, восходящей к Клименту Александрийскому. Такая интерпретация святости естественна в XIX–XX вв., эпоху гносеологическую по преимуществу: наиболее авторитетный тип православного подвижника — *старец* с его ведением сокровенного существа и судьбы всякого приходящего к нему человека. Современник свидетельствует, что в старцев верили не одни православные: оккультисты разных толков видели в них христианских “посвященных”, носителей высшего духовного знания (Н. Бердяев, “Самопознание”). Старцу Исидору, насельнику расположенного близ Лавры Гефсиманского скита, Флоренский посвящает большой очерк в журнале “Христианин”. Словесный портрет стилизован под “сказание” о старце — это отвечает направленности благочестивого журнала для народа. Отец Исидор — классический прозорливый старец с “символическим” поведением и “тонкой иронией над миром”; иногда он слегка юродствует и совершает чудаковатые поступки. Флоренский явно хотел создать образ в традиции патериков, избегая — во имя стилизации — естественной для него интонации. Патериковый принцип, в отличие от житийного, ценит не столько канон святости, сколько его свободное нарушение, — но нарушение в Христовом духе, нарушение, например, ради любви к ближнему. У Флоренского мы не найдем житийных построений в связи с его современниками, а тем более, знакомыми ему лицами: как это делается в патериках, он представляет облик человека через бытовые подробности его жизни. И если образ жития иконописно завершен, то патериковый — более земной — образ растрепан, необработан, является, в сущности, сырым материалом для агиографа. Итак, хотя Флоренский отмечает по преимуществу отклонения от канона отца Исидора, вполне можно говорить о традиционном, хотя и стилизованном, патериковом образе очерка “Соль земли”. Строгий православный взгляд,

пожалуй, мог бы распознать, что старец показан Флоренским в ключе его софиологической концепции. “Незримые нити, — пишет Флоренский, — соединяли его (о. Исидора) с сокровенным сердцем твари“, т. е. с Софией; с православной точки зрения, естественнее соотнесение святого с Христом. Софийность старца обоснована у Флоренского особым почитанием отцом Исидором Богоматери, выразившимся, в частности, в теологумене: благодать Церкви, по словам гефсиманского отшельника, связана со страданиями Божией Матери. Свобода не только в аскезе, но и в догматике, присущая старцу, под пером Флоренского остается в границах церковности. “Вольномыслие“ старца — представления, вроде того, что Христос родил Церковь из бока, и что произошло это, когда Его на кресте пронзили копьем, — похоже на простонародное богословствование в кружке протопопа Аввакума. Образ отца Исидора отмечен печатью православной древней простоты; кажется, это самый традиционный образ из созданных Флоренским.

Но совсем не таков образ человека, сыгравшего в духовной судьбе Флоренского, быть может, центральную роль — образ таинственный, противоречивый, и с той стороны, которая на сегодняшний день известна, весьма соблазнительный. Загадочна не одна его личность; более загадочно то, почему архимандрит Серапион Машкин привлек столь пристальное внимание Флоренского: ведь мыслитель не только восстановил его биографию, но и потратил немало, надо думать, труда на построение генеалогического древа рода Машкиных. Кем был Машкин для Флоренского? Во-первых, думается, духовно близкий Флоренскому *тип христианского философа*, идущего от внутреннего опыта и задавшегося целью построить цельную систему мирозидения. Во-вторых, отец Серапион в какой-то мере воплощал идеал Флоренского — *яркий мистик*, он был человеком церковным и свидетельствовал тем самым в глазах Флоренского о духовной силе Церкви. Наконец, надо полагать, с духовностью, представленной в лице отца Серапиона, Флоренский связывал будущее православия. В известном письме Киселеву Флоренский предсказывает, что духовный

центр России после закрытия Лавры перемещается в Оптину Пустынь. И, вероятно, облик Оптиной соотнесен для Флоренского не только с великими оптинскими старцами, но и с архимандритом Серапионом, с 1900 по 1905 г. — последние пять лет своей жизни — жившим в знаменитом Козельском монастыре.

То, что до сих пор не опубликован главный и по сути единственный фундаментальный труд архимандрита Серапиона — “Опыт системы христианской философии“, в важнейших моментах пересекающийся со “Столпом“ Флоренского, не дает возможности достаточно адекватно оценить его личность и характер его идей. Более того: можно принять фигуру монаха-философа за литературную мистификацию, предпринятую Флоренским, и усомниться в самом существовании его всеобъемлющего мировоззренческого построения.² Не разделяя представлений Р. Гальцевой о Флоренском как о мыслителе авангардного типа, мы не можем согласиться с тем, что он мог выступить в роли мистификатора. Владельцы архива Флоренского свидетельствуют о существовании в нем рукописи сочинения архимандрита Серапиона; потому факты, сообщенные Флоренским в связи с Машкиным, видятся вполне правдоподобными. Для воспроизведения образа отца Серапиона приходится довольствоваться этими фактами, затем очень немногими сведениями от других лиц, а также его мелкими сочинениями.

И прежде всего, арх. Серапион — в миру Владимир Михайлович Машкин — был человеком, вполне принадлежавшим своему времени, — чего нельзя сказать про старца Исидора, крестьянина по происхождению, генетически укорененного в древней традиции. Владимир Машкин получил хотя и сумбурное, но вполне современное образование, и его философская мысль работала в ключе интересов XIX в.: с семнадцатилетнего возраста он предпринимал ряд попыток построить новую теорию познания. Затем, что еще более важно, он был натурой негармоничной, мятущейся и сложной, и при этом обладал предельной искренностью. Для него был невозможен некий тонкий самообман, путь вторичного упрощения, на который нередко становятся те, кто приходит к Церкви,

уже столкнувшись с роковыми вопросами новейшей эпохи. Будущий отец Серапион мог лишь работать над воцерковлением своих устремлений — ему абсолютно чужды были попытки отсечения запросов ума во имя абстрактной аскетической схемы. Главной страстью Машкина была страсть к знанию; в молодости он, пытаясь утолить ее, метался между естественными науками и новейшей философией. Как и Флоренского, его влекла к себе Истина, — и он в конце концов решился, оставив все остальное, искать ее на “древнефилософском” — как он пишет — пути. Приняв монашество, называемое отцами Церкви практической философией, он поставил своей целью живое богообщение. Из опыта аскезы и родилась пока еще неведомая миру “Система христианской философии”.

В том облике, который возникает из сведений о жизни отца Серапиона, приводимых Флоренским, чувствуется какой-то метафизический надлом: в его личности нет и следа гармонии, судьба словно изначально дала трещину. Жизнь о. Серапиона — сплошные скитания, и они, видимо, отражают метания его души. Неумная жажда жизни искала себе исхода в запоях и кутежах; видимо, с высоким развитием эмоциональной и интеллектуальной стороны души сосуществовала слабость воли, нравственного, сдерживающего начала. Практически всю жизнь отец Серапион был вынужден лечиться у психиатров, не только в России, но и в Европе. Приступы бешенства и попытки к самоубийству происходили и на Афоне; запой и срывы — Флоренский этого не скрывает — сопровождали и монашескую жизнь. Кажется, целительно и умиротворяюще действовала на отца Серапиона мать. Флоренский показывает, как она следует по пятам за сыном на его страдальческом пути. Душевную болезнь отец Серапион считал метафизическим повреждением и вмешательством темных духовных сил. На земле он познал ад, и избавлял его от ада один Христос. Отсюда — бесконечная любовь отца Серапиона к Христу. От природы Владимир Машкин обладал ярким мистическим даром: он жил в близости духовного мира, и его человеческих сил не хватало, чтобы эта близость стала гармо-

ничной. Он знал как высокое добро, так и крайнее зло. Еще в младенчестве однажды он ощутил присутствие Бога, и солнечный свет стал для него в тот момент явлением Света нетварного. Уравновесить полюса своего духа, исцелить болезнь, происходящую от избытка внутренних сил, Владимир Михайлович пытался, прибегая к церковной благодати. Жизненный путь его не выглядит законченным: смерть от сердечного приступа настигла отца Серапиона в тревожный для него период душевных метаний, самых рискованных умственных построений.

Отец Серапион — человек новейшей, катастрофической эпохи, эпохи развязывания сил зла; знание им “глубин сатанинских” — это прозрение в глубину современности. Праведник по своей основной направленности, ищущий спасения у Христа, — понятно, почему именно такая личность привлекла внимание Флоренского. Ни душевная болезнь, ни нравственные срывы, разумеется, не исключают праведности и даже святости; но в идеологии и духовности отца Серапиона налицо моменты, резко контрастирующие со строем православной души. Непонятно, во-первых, насколько они суть фундаментальные свойства отца Серапиона, и во-вторых, каково отношение к ним Флоренского. Новое религиозное сознание, православный модернизм — это самые общие и слабые эпитеты, приходящие в связи с ними на ум. Обратимся к мелким сочинениям отца Серапиона, опубликованным Флоренским; отметим, что писались они примерно за месяц до кончины их автора в 1905 г.

Отец Серапион — служитель Церкви и ищет в ней спасения. Но посмотрим, что он пишет о русской Церкви. Церковь русская — лживая и еретическая: “я ... не считаю нашу церковь в истине. Она в ереси, именно цезаро-папистической”, поскольку Божие она воздаст кесарю. Духовенство ее — “Иуда, продавший церковь Христову сперва Петру, а после перепродававший ее всем преемникам Петра до Николая II включительно”. Грех цезарепализма усматривали в русской Церкви Мережковский и Бердяев. “Общая воинская повинность есть грех”, — пишет арх. Серапион. — Господь не пошел бы в наше время бить японцев и разделил бы участь духоборов; духовенство же

приводит к присяге на Евангелии. — И здесь мы слышим голос ни кого другого, как Льва Толстого. Где же, если не в Церкви, истина? По словам отца Серапиона, она восстановлена старокатоликами; “и я, — заявляет он, — горю душою скорей примкнуть к ним и масонам”.

Отец Серапион — монах, верящий, что через монашеский образ жизни он придет к Богу. Но вот его слова о монашестве: “Монахом быть, это — связать себя по рукам и ногам нелепыми правилами, придуманными нарочно для того, чтобы связывать ими наиболее опасных дурному правительству людей — религиозных идеалистов. Все эти стеснения, делающие из монаха “отрезанный ломоть” (надо полагать, монашеские обеты? — Н. Б.) — ложь, гнусная ложь. Человек свежий, деятельный и честный задохнется в монастыре“. Монастыри — это “один соблазн, который давным-давно пора уничтожить, стереть с лица земли, как профанацию святости, делающую из святого имени Христа посмешище“.³ Что это? Риторический ли пафос, разрядка для темперамента — или же сожаление о предпринятом отречении от мира? Письмо к Флоренскому наводит на мысль, что церковность была, возможно, для отца Серапиона — как и для ряда религиозных мыслителей того времени — лишь этапом духовного пути; что, проживи он дольше, он присоединился бы к старокатоликам или масонам; и, во всяком случае, говорить о традиционной православности Машкина более чем неуместно.

Другой документ, приводимый Флоренским, действует прямо-таки ошарашивающе. Это — очень странная статья в газету, оставшаяся ненапечатанной; ее заголовок — “Мимолетные рассуждения о иезуитизме, шпионстве, шаблонной морали и масонстве“. Написана она тоже в начале 1905 г. Вот ее содержание. Отец Серапион спрашивает: в чем разница между иезуитами и масонами? Ответ его таков: цель иезуитов — всемирное торжество Рима и папизма; масонов — воплощение на земле царства справедливости. Планы иезуитов суть зло, масоны же стремятся к добру, — так должен оценить мораль масонов и иезуитов “честный человек“. И масоны, и иезуиты прибегают к шпионству; однако, говорит отец Серапион,

считать всякое шпионство злом означает следовать “шаблонной морали“. Далее идет небольшой теоретический пассаж, вывод которого о самодеказательности справедливости, причем существующей в качестве живого субъекта, заставляет вспомнить чисто философскую сторону “Столпа“. Эта часть сочинения архимандрита выглядит в нем как инородное тело, поскольку очень скоро автор переходит к истине масонов. Долг честного человека — деятельно содействовать ей, — но такая деятельность может быть только подпольной. “Адепты справедливости, — пишет отец Серапион, — должны сплотиться и составить “кружок“. Другого исхода нет. Сила же кружка в доносах и шпионстве и даже убийствах, убийствах тайных (не надо явных, не надо рисковать собою: ни к чему), но неумолимых и неизбежных, как судьба, как мифический рок, или как сицилийская “Мафия“. Как! и убийства? — воскликнет иной шаблонный моралист, не успевший достаточно критически оценить эту мораль. Да, отвечаю я — и убийства. Да чему, собственно, вы ужасаетесь? Вспомните *Исход*, как пророк Моисей выводил народ Божий ... убийств немало, притом и коронованных особ среди других“.⁴

Здесь все совершенно непонятно, от недоумения опускаются руки. Программа Шигалева и Петра Верховенского завладела умом оптинского подвижника, христианского философа? Так что за личность этот философ, какова его мистика, его духовные устремления? Почему Флоренский называет его “самым верным рабом Божиим“? Шигалевщине не пристало название “духовной свободы“, — а ведь архимандрит Серапион идет бесконечно дальше Шигалева! По его мнению, члены тайных кружков, т. е. “общин масонов и социал-демократов“, даже если и не победят, то обретут несравненно высшее — “станут, один в другом, едино в Господе, и с Ним во Отце станут сами “богами“, и, наконец, — страшно вымолвить — Богом“. Страшно и нам углубляться в это учение — программу ли революции с царубийством, богословское ли ее оправдание. Особенно поражает то, что в союзники своим “кровожадным“⁵ теориям архимандрит берет самого Христа. Оказывается, что “Господь Иисус“ при попыт-

как схватить Его “не прибегал к убийству (хотя мог бы), но только потому, что Он, пользуясь божественной силой, проходил среди врагов Своих и скрывался от них до времени”. Конечно, удивляет не сам факт исповедания подобных взглядов со стороны духовного лица: русская история богата подобными случаями. В недоумение вводит другое — совершенно экстравагантное сосуществование в мировоззрении архимандрита православного начала с верой в дарвинизм, с политическим радикализмом, почитанием масонства. И какая бы глубина нового гностицизма за этим ни стояла, в ее доброкачественности заставляют усомниться и социалистическая идея о земном царстве справедливости, и нравственная вседозволенность, и провозглашаемое право некоторых “сторонников справедливости” на пролитие крови. Идеализация Флоренским архимандрита Серапиона — загадочный момент в его мировоззренческих исканиях, несомненно говорящий лишь об одном — о его совершенной неудовлетворенности церковным древнерусским типом праведности.

Подобно другим русским религиозным философам начала XX в., Флоренский чувствовал, что святость исторически конкретна. Перед человеком стоит задача обжить свойственный *его* эпохе исторический антропологический тип. Новейшему времени надлежит освятить, возвести к Богу усложненную, углубившуюся и противоречивую душу. И странно было бы в XX веке ориентироваться, как на идеал, на образ средневекового подвижника. Мистическая и бытийственная цель христианина состоит в том, чтобы в своем сердце “дать жизнь” Христу. Христос — не ограниченный индивидуум, но всечеловек, в котором всякому нужно найти себя. И “подражание” Христу может состоять исключительно в очищении сердца на тех или других путях духовной жизни, в высвобождении своего собственного “образа Божия”, своей вечной идеи из-под спуда греха, плоти, душевной эмпирики. Попытаться внести святость чужой эпохи в свою жизнь — дело неблагодарное и духовно опасное, поскольку чревато внутренней ложью и деформацией души. Таково, например, “вторичное упрощение” современной утонченной личности, обращающееся на деле сознатель-

ным самооглуплением и фарисейством. Какова же современная святость, каков духовно совершенный человек XX века? Кажется, этот вопрос присутствовал в сознании Флоренского, чему свидетельство — ряд портретов христианских праведников. Наиболее традиционным, стилизованным под патериковый, является образ *отца Исидора*. Совершенно естественно, что он в принципе не мог удовлетворить глубинных вопрошаний и исканий рафинированной и совсем не простой души мыслителя из Сергиева Посада. Рядом с иконописным Исидором возникает крайне экстравагантный, загадочный и соблазнительный лик *архимандрита Серапиона*. Хотя осмысление его духовности принадлежит будущему, опубликованные фрагменты его писаний свидетельствуют о том, что его мятущаяся душа в древнем православии найти покоя не могла. И, наконец, к попыткам Флоренского понять современную святость надо отнести его умозрения в связи с кончиной *о. Алексея Мечева*.

Речь идет о следующем: в 1923 г. скончался известный в Москве священник тихоновского направления, руководитель и “старец” многих духовных чад, отец Алексей Мечев. Среди его бумаг был найден странный документ — похвала добродетелям усопшего, “надгробное слово” ему. Отец Алексей, разумеется, назывался в этой речи в третьем грамматическом лице — но бумага была написана почерком, сходным с почерком старца, и имела подпись А. Уничтожить соблазн, рассеять щекотливую ситуацию — старец-аскет пишет себе похвалу! — такую цель поставил перед собой Флоренский. Возникла статья “О надгробном слове о. Алексея Мечева”, интересная со многих сторон, и, в первую очередь, дающая важный материал для изучения отношения Флоренского к традиционной православной духовности.

Содержание статьи вкратце таково. Отец Алексей, утверждает Флоренский, перед смертью поступил вопреки православному духовно-этическому канону. Если святые древности умирали со словами самоосуждения на устах, уповая — в сознании своей крайней греховности — на одну милость Божию, то отец Алексей, переходя в вечность, превозносит себя. Но за этим поступком не надо

видеть гордыни. По мысли Флоренского, к концу жизни старец-подвижник достиг совершенства, которое есть не что иное, как обретение экзистенциальной позиции в Боге. Отрешившись от своего конечного, индивидуального “я”, отец Алексей смог увидеть себя со стороны, из вечности, из области божественной объективности; при этом свое наличное духовное состояние старец пережил как чужое, как “его”, — отсюда третье грамматическое лицо “надгробного слова”. Итак, за самовосхвалением стоит святое бесстрашие, — не низменная гордыня, но высочайшее совершенство. Но, говорит далее Флоренский, отец Алексей не мог не представлять себе общественной реакции на свое “надгробное слово”. И здесь сказались его полнейшая духовная свобода: своим поступком старец хотел шокировать окружающих ради того, чтобы избежать посмертного прославления. Иными словами, “показав нос” из гроба, он поступил как юридивый. По Флоренскому, подвиг юродства увенчал и, в судьбе отца Алексея, как бы снял собою подвиг священника и аскета.

Сразу надо сказать, что эти построения Флоренского, как всегда, рационалистически весьма стройные и при первом знакомстве с ними завораживающе подчиняющие себе, не выдержали проверки жизненной фактичностью. Поскольку выяснилось, что “надгробного слова” самому себе отец Алексей не писал, концепция Флоренского оказалась несостоятельной. Флоренскому не удалось постичь истинного духовного облика старца, — однако, не это нам сейчас важно. Для наших целей нам надо понять две вещи: во-первых, в данной истории увидеть отношение Флоренского к православному антропологическому канону, а во-вторых, распознать, о каком новом типе святости он говорит. Флоренский здесь фактически разрушает православный канон, традиционное представление о святости преподобного, — постараемся это обосновать.

Хорошо известно, что духовный путь Церкви — это покаяние. Из покаяния рождается и экстаз отшельника, и бытовая скромность мирянина. Покаяние — категория онтологии и этики — не что иное, как само существо церковности. Но вот что пишет о покаянии Флоренский. Те, кто ругает себя, сказано у него, делают это, “не имея

возможности хвалиться сколько-нибудь правдоподобно. Большинство спешат к преувеличенному самоуничижению, но с непременным требованием, чтобы все поступали так же, и в тайной надежде ... выдать себя соответственным намеком за вымазанного согласно духовной моде белого. ... Неправедники сообразили, что и покаянные слезы Марии Египетской могут быть сделаны фасоном духовной моды. ... К самому искреннему раскаянию людей недуховных примешивается отравка похвалы себе за свое раскаяние”.

Последняя мысль нередко встречается в писаниях подвижников древности. Но цель Флоренского отнюдь не в том, чтобы указать на опасности и подводные камни покаянного пути — идея покаяния им разлагается изнутри. Те доводы против покаяния, которые мы видим в только что приведенной выдержке, суть выражение второго плана души: здесь заявляют о себе лазейки, подаются голос инстинкты. Флоренский выступает глашатаем “подполья”, свидетельствует о сложной душе человека. Для этой “сложной” — т. е. с задними мыслями — души уже невозможно не только непосредственное переживание своей греховности, но даже и несовершенное покаяние — скорректированное признанием своей нечистоты. Рефлексия покаяния — покаяние в неспособности к покаянию — вырождается в дурно-бесконечную цепь рационалистических актов сознания, убивающих не только сердечное чувство; но и саму идею. Современный человек принципиально не способен к покаянию, — к этому, в сущности, сводится смысл рассуждений Флоренского. Покаяние — удел избранных: “Бывали праведники, — пишет он, — которые особенно остро ощущали зло и грех, разлитые в мире, и в своем сознании не отделяли себя от этой порчи; в глубокой скорби они несли в себе чувство ответственности за общую греховность, как за свою личную, властно принуждаемые к этому своеобразным строением своей личности”. И только для них покаяние — духовный путь; но кто дерзнет причислить себя к их сонму? Решившийся на это погрешит еще больше; итак, покаяние, по Флоренскому, приумножает грех, но не освобождает от него. Логика Флоренского

здесь оказывается близкой логике апостола Павла, когда тот развенчивает “бессильные”, “ослабленные плотью” (Рим. VIII, 3) пути ветхозаветного закона. Под пером Флоренского христианская кончина старца — да и любого человека — с предсмертным покаянием, предшествующим последнему приобщению Тайнам, оказывается откровенным, чуть ли не циничным спектаклем, где стороны заранее знают свои роли и подают реплики: умирающий — покаянную, свидетели — хвалебную. За разоблачением покаяния стоит одно — убежденность Флоренского в отсутствии в душе современного человека тех древних, православных интуиций и побуждений, которые выражали себя в определенном строе поведения.

Но, быть может, Флоренский отдает предпочтение продвижению юродства перед покаянными трудами, одному православному пути спасения перед другим? Ничего подобного: как им развенчивается покаяние, так же и юродство. Подобно покаянию, юродство тоже может быть лицемерным — если принимает явные, всеми распознанные формы. Поступок о. Алексея есть, по Флоренскому, подлинное юродство именно потому, что по нему нельзя определить его намерений (тем не менее, Флоренский, видя себя в числе духовных избранников, решает на это — духовного, по Апостолу, понимает один духовный): “О настоящем юродстве приходится лишь догадываться”. Но Флоренский неглубоко проник в психологию юродства. Фактически своей концепцией он отвергает средневековое юродство, о котором не то что догадывались — юродство открыто заявляло о себе и требовало особого отношения. Как и о покаянии, о юродстве Флоренский рассуждает с позиции “подпольного человека”, наиболее ему понятной. Чувствуется непродуманность, поспешность этих построений.

Итак, покаяние и юродство в их древних формах, по Флоренскому, не оказываются спасительными для современного человека. Каков же изнутри образ святого в представлении мыслителя? Флоренский претендует на постижение последней тайны христианской святости. Выше уже упоминалась его главная идея: отец Алексей обрел взгляд на себя со стороны, из экзистенциальной

точки опоры в Боге; потому, дескать, он так свободно себя и хвалит — как бы не себя. Это убедительно и красиво — но только в рационалистическом отношении. Совершенно непонятно, какой за этим стоит реальный опыт. В какую мистическую традицию помещает Флоренский отца Алексея? Если обратиться к традиции восточных отцов, то, прежде всего, Бог для подвижника отнюдь не вне него, Он — вовсе не объективное Лицо. Молящийся подвижник направляет свой умный взор в сердечное место и ищет встречи с Богом в святая святых собственной души. Бог ближе человеку, чем само его “я” — эта часто встречающаяся у отцов фраза относится не к редким явлениям экстаза. Когда же имеет место экстаз, бытийственный выход из себя и, действительно, видение себя “со стороны”, то с уверенностью можно утверждать, что у отцов не найдется ни одного свидетельства в духе предположения Флоренского. Пребывая в Боге, подвижники видели свои грехи — *и только*. Вынесение из мистического опыта какого бы то ни было сознания собственных достоинств в православной традиции всегда беспощадно связывалось с бесовской прелестью. Экстатическое отрешение от себя вовсе не означает занятия позиции, подобной той, с которой мы смотрим извне на другого человека и можем “объективно” судить о его добродетелях и грехах. Субъект-объектные отношения на духовную жизнь не переносимы, будучи принадлежащими чисто материальному плану. “Я” для подвижника в экстазе не становится ни “ты”, ни “он” — но остается “я”, — причем, напротив, эта “ячесть” углубляется, сильнее выявляет свою особую природу. Покаяние у достигших святости не прекращается, но безмерно усиливается; весь монашеский опыт, запечатленный в исповедальных экзистенциальных сочинениях, житиях, в богословии, свидетельствует именно об этом. Домыслы Флоренского и подводимая под них аскетическая — по видимости — платформа не имеют ничего общего со святоотеческой православной традицией. Флоренский софистически хочет оправдать то, что в рамках православия оправдать нельзя. В случае с о. Алексеем, как уже говорилось, это имеет курьезный характер.

Что же получается в конце концов? Флоренский все же усматривает идеал поведения в самоуничтожении: отец Алексей, согласно его концепции, пишет похвалу себе ради посмертной хулы. Но путь к самоуничтожению представлен таким сложным, что, осуществившись он на деле (чего не произошло), все эти громоздящиеся двусмысленности и оглядки начисто уничтожили бы саму аскетическую цель. Итак, чтобы достичь уничтожения, надо возвеличить себя; по Флоренскому, христианский этический идеал в современную эпоху пришел к самоотрицанию. Душевное подполье оказалось непобедимым, и, в сущности, Флоренский признал бессилие Церкви перед той реальностью, которую он обычно называет *волей*, следуя терминологии Шопенгауэра.⁶ Вдвойне странно, что эти идеи принадлежат священнику. Флоренский словно забывает, что покаяние составляет существо таинства исповеди (что как не таинства — конек его церковности!); словно у него нет опыта ни кающегося, ни исповедующего — опыта, из которого выносишь с несомненностью: вмешательство благодати уничтожает действие “подполья”... Работа Флоренского об отце Алексее встает в один ряд с самыми беспощадными критиками Церкви со стороны мыслителей русского “религиозного возрождения”: не что иное как мысль о безжизненности церковной аскетики — стержень данного размышления.

Подведем итоги всему вышесказанному. В связи с очень привлекательной для исканий современного человека фигурой Флоренского встает вопрос о последних основаниях его воззрений. И говорить о его ориентации на духовные ценности Церкви явно недостаточно: надо указать на оттенки его церковности. Церковность Флоренского была подвергнута осмыслению в ряде авторитетных трудов, — в первую очередь, в работах Бердяева и Флоровского. Для нас, как и для этих мыслителей, нет сомнения в том, что “православие” Флоренского отнюдь не святоотеческого свойства: духовно Флоренский принадлежит своему времени, а не “русскому средневековью”, чего ему хотелось бы (см. “Автореферат”). Это и естественно, — и если говорить о наших оценках данного

момента, то интеллектуальная и писательская честность философа не может вызвать ничего иного, как только одобрение. Потому, для верного понимания как феномена Флоренского, так и всей русской философии, этот вывод надлежит всячески подчеркивать и осмыслять, а не замазывать, служа тем самым недобрую службу мыслителю и искажая истину. В данном разрезе, соотнося с Церковью, нам уже приходилось писать о произведениях и жизни Флоренского (см. “Об одной человеческой жизни — судьба о. Павла Флоренского”). Здесь же нам хотелось поставить ту же проблему, рассматривая созданную Флоренским серию духовных портретов и набросков лиц, которые олицетворяли собою его идеал. Что же мы в результате имеем? Гностическую оценку личности преподобного Сергия; стилизованное под патерик, где-то нарочито наивное изображение старца Исидора — попытку довольствоваться простотой иконы; затем, уж никак не иконописный, вовсе не гармоничный, мятущийся образ архим. Серапиона — гностического философа и бунтаря против наличных форм православия; и наконец, гипотетическую фигуру (по ошибке соединенную Флоренским с реальным лицом) очень сложно мыслящего и чувствующего человека, признающего Христа за Идеал, но идущего за Ним не прямым, бесхитростным православным путем, а окольными и путаными тропинками. Подлинно православная простота кажется Флоренскому слишком скучной, будничной, “позитивной”; его больше привлекают экстравагантные отклонения от православного типа. Вместе с Бердяевым, Розановым и Мережковским, Флоренский олицетворяет собой глубокий и сущностный кризис православия в XX веке.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. На наш взгляд, представления о лике и личине в “Иконостасе”, о лице в связи с портретом в “Смысле идеализма” принадлежат все же, скорее, агиологии, нежели антропологии как учению о личности, первым и неотъемлемым атрибутом которой является свобода воли. Всего огромного круга проблем, связанных со свободой, у Флоренского нет. Особенно отчетливо это проявляется в его “антроподицее”, в лек-

циях по философии культа, в которых господствует идея магического детерминизма, и нет и намек на свободу Бога и человека.

2. См. Р. Гальцева. Мысль как воля и представление. — В кн.: *Образ человека XX века*. М., 1988, с. 87.
3. Письмо к П. Флоренскому от 3 фев. 1905 г. — Сб. "Вопросы религии", вып. I, М., 1906, с. 176–179.
4. Архимандрит Серапион. Мимолетные рассуждения... — *Образ человека XX века*, с. 192.
5. См.: Морозов М. Перед лицом смерти. — Сб. "Литературный распад". СПб, 1908, с. 241.
6. В аскетике имя этой реальности — "пучина греха" (см. правило перед св. причащением).

А. Н. ПАРШИН

НАУКА И РЕЛИГИЯ ВО ВЗГЛЯДАХ П. А. ФЛОРЕНСКОГО

(выступление на вечере в ЦДЛ 17 фев. 1989 г.)

Павла Александровича Флоренского часто называют русским Леонардо да Винчи. И, действительно, видя всю огромную широту его интересов, занятия в самых разных областях науки, можно, конечно, с этим только согласиться. И все же есть в этом глубокая неправота. Дело в том, что занятия о. Павла Флоренского отдельными науками не были занятиями человека, охваченного просто неумемной жадностью познания. Эти занятия скреплялись в единое целое некоторой задачей, — задачей, которую он поставил себе еще в юности. Учась в Московском Университете, он писал своим родителям: "Сейчас ближайшая задача — не моя, конечно, а времени — создать религиозную науку и научную Религию". Он ставил целью своей жизни "произвести синтез церковности и светской культуры... воспринять все положительное учение Церкви и научно-философское мировоззрение вместе с искусством".

Идя по этому пути Флоренский пришел к самой безжалостной критике современного научного метода. Ему принадлежат слова о "похоти познания", ничем не ограниченного в своей экспансии. В работе "Итоги" 1922 г. Флоренский предсказывал возрожденческой науке, вершиной и символом которой и был Леонардо, такое же губительное будущее, как первобытным магическим представлениям, но "более суровое, более беспощадное, поскольку и сама она была беспощадна к человеку". И если по отношению к магическим представлениям он не исключал возможности, что "где-нибудь и когда-нибудь они восстановятся", то достигнутое наукой о. Павел характеризовал так: "Но это не соборность, не синтез, не творческое объединение, а разложение, механическая смесь, — словом, не жизнь, а смерть. И смерть — не от

злой воли того или другого деятеля культуры, а необходимое последствие самого хода ее“.

В своих попытках создания целостного мировоззрения, объединяющего науку и религию, о. Павел опирался на русскую философскую традицию, у истоков которой стоял И. В. Киреевский. Именно Киреевский, пройдя выучку школы немецкой классической философии, обратился к православному учению Отцов Церкви и пришел к выводу, что “простое развитие его, соответственное современному состоянию науки и сообразное требованиям и вопросам современного разума, составило бы само собой новую науку мышления“. На сегодняшний взгляд, эта точка зрения выглядит быть может слишком простодушной, но это именно то простодушие, которого нам так не хватает. К этой же линии развития безусловно относится и Владимир Соловьев с его “Критикой отвлеченных начал“, и взгляды на науку в “Сне смешного человека“ Достоевского.

Вот эта линия в истории взаимоотношений науки и религии является сейчас для нас особенно актуальной и важной в связи с тем, какое огромное разрушительное воздействие оказывает все здание современной науки вместе со всеми ее применениями на жизнь человека и окружающий его мир. Но если мы обратимся к истории русской общественной мысли, то все это направление находилось как бы на ее задворках, оно должно было ютиться где-то сбоку в глазах большей части образованных людей — тех, что составили русскую интеллигенцию второй половины XIX в. Та обстановка, в которой творили русские религиозные философы, начиная с середины прошлого века и кончая началом нынешнего века, эта обстановка твердого и мужественного стояния перед лицом того, что без всяких преувеличений совершенно справедливо может быть названо либеральным террором.

И это не просто слова, если мы посмотрим на судьбы почти всех русских религиозных философов, то мы увидим, что каждый из них должен был начинать как бы с нуля, почти каждый из них прошел в молодости через искушение атеизмом и нигилизмом.

Возвращаясь к современности и думая о том, что могут дать нам взгляды о. Павла Флоренского на научное познание теперь, обратимся к той критике в адрес науки, которую мы так часто слышим в наши дни, а именно представлению, что современная наука *противоречит* этическим нормам человечества. На этот счет имеются два мнения: первое, что сама по себе наука является вполне безразличной по отношению к этике, она не является ни злой, ни доброй, злым может быть лишь ее использование в руках недобрых людей. И вторая точка зрения — что безнравственное, и можно сказать даже сильнее, греховное, содержится в самом научном методе. Следует кратко сформулировать, в чем же он состоит, каковы его основные принципы. Вот они. Результаты теоретических наук должны быть оформлены, изложены по правилам *логики*, а по отношению к природе они должны проверяться на *опыте*. Я хочу подчеркнуть, что эти принципы ничего не говорят нам о том, как добывается научная истина. Этот вопрос остается до сих пор абсолютно непонятым. Однако, одно обстоятельство несомненно имеет место: истина должна быть *красивой*.

Не останавливаясь подробно на аргументах в пользу приведенных выше точек зрения, о соотношении науки и этики, укажем лишь на простые языковые наблюдения, которые могут дать пищу именно для второй из них. Вспомните такие выражения, как “логичен до идиотизма“, или “дьявольски красиво“, а также бывшее в ходу несколько столетий такое самоназвание ученых, как “естествоиспытатель“. Подобного рода соображения были бы не чужды и Флоренскому. Анализ глубинной семантики слова как исходная точка для всестороннего изучения какого-либо вопроса — характерная черта его философского метода.

Говоря о выходе из создавшегося положения, можно видеть тоже две возможности — либо наука войдет в качестве составной части в единое целостное мировоззрение, устраняющее то противоречие, о котором мы говорили, либо, как ни жутко это говорить, ей суждено погибнуть. Приведенные выше высказывания Флоренского, сделанные им в зрелом возрасте, все же, мне кажется, не дают

оснований думать, что он склонялся ко второй точке зрения. Скорее можно думать, что мировоззрение, которое он искал всю жизнь, должно подвергнуть кардинальному изменению основные принципы научного познания.

Я хочу отметить здесь две черты этого будущего мировоззрения, найденные и обоснованные в трудах отца Павла. Первая — это роль *космологических* представлений в жизни общества. Если мы посмотрим на христианское общество в средние века, то наряду с нравственными императивами в этом обществе имелись представления об устройстве мира. *Целостность* средневекового мировоззрения состояла в том, что эти две его составные части находились в органической и неразрывной связи. Начиная с эпохи Реформации в христианском сознании западного мира произошел фундаментальный сдвиг. Стало необязательным следовать библейской космологии, ей на смену пришла противоречащая ей научная картина мира. Это обстоятельство, которое кажется теперь несущественным, на самом деле знаменовало собой начало падения западного христианства. Протестантство превратило службу, культ, по словам о. Павла, из тайнодействия в сплошную проповедь—лекцию. А ведь в христианском мировоззрении служба и храм, в котором она происходит, глубочайшим и самым интимным образом связаны с устройством всего космоса. Отбросьте эту связь, откажитесь от нее, и действительно останется одна лекция.

В своей работе “Мнимости в геометрии” Флоренский, анализируя современную космологию, которая, после теории относительности, слегка, я подчеркиваю, слегка, как бы повернулась к средневековому представлению о мире, говорил, что та система мира, которая изложена, например, в “Божественной комедии”, не есть пройденный нами этап, она находится не позади нас, а впереди.

И вторая черта будущего целостного мировоззрения, о которой говорил П. А. Флоренский, это *личностный* характер подлинного, неизвращенного познания — “познание не есть захват хищным гносеологическим субъектом мертвого объекта, а есть живое нравственное общение личностей”. И вот это представление об истинном позна-

нии Флоренский находит в мировоззрении крестьянской России, в ее системе ценностей, обычаях, правах, в ее космосе и быте. Удивительно, но из всех философов русского религиозного возрождения именно Флоренский обратил на это внимание. В 1909 г. в книге “История религий”, в создании которой участвовали, в частности, о. Александр Ельчанинов и Владимир Францевич Эрн, школьные товарищи Флоренского, он писал, в главе, посвященной православию, каким образом в сознании русского крестьянина сплотились вместе далекое языческое прошлое и более поздняя православная вера. Вот его слова:

“Травы, птицы, деревья, насекомые, всякие животные, земля, — каждая стихия вызывает к себе у крестьянина непонятное сочувствие. Послушайте, как крестьянин разговаривает со скотиною, с деревом, с вещью, со всею природою: он ласкает, просит, умоляет, ругает, проклинает, беседует с нею, возмущается ею и порой ненавидит. Он живет с природой в тесном союзе, борется с нею и смиряется перед нею. Вся природа и все вещи — нечто живое и личное“.

Мы не найдем параллелей этому в русской философии XX века, но лишь в литературе. Близкое мироощущение мы найдем в “Поэзии заговоров и заклинаний” Блока и позднее в “Ключах Марии” Есенина. С тех пор прошло более семидесяти лет, уничтожена крестьянская Россия, пресечена русская философская традиция, и вдруг как чудо, в середине семидесятых годов, в русской литературе, именно в литературе, появилось произведение, на страницах которого глубоко и проникновенно было воссоздано то, что так ясно чувствовал о. Павел. Я имею в виду повесть “Прощание с Матерой”, сцену прощания старухи Дарьи, единственной из всей деревни, со своей избой, прощания как бы с живым человеком. Вот этого “как бы” не было для о. Павла, его, смею думать, нет для автора “Матеры”, а перестанет ли оно существовать для нас — от этого, пожалуй, зависит наше будущее. ■

О ГРАНИЦАХ ИСКУССТВА У ВЯЧ. ИВАНОВА И О. ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО *

Пытаясь “изнутри” заглянуть в открывающуюся грандиозную картину русского религиозного возрождения XX века, трудно пройти мимо истории отношений Флоренского и Вяч. Иванова. В самом деле, каким мог быть диалог между поэтом, для своих современников признанным главой и теоретиком русского религиозно-филологического символизма,¹ и мыслителем, который в 1920 г. писал:

Всю свою жизнь я думал в сущности об одном: об отношении явления к ноумену, об обнаружении ноумена в феноменах, о его выявлении, о его воплощении. Это — вопрос о символе. И всю свою жизнь я думал только об одной проблеме, о проблеме

СИМВОЛА

[...] И я всегда был символистом.

(Флоренский, 1988, с. 117-118)

В истории отношений Флоренского и Вяч. Иванова можно насчитать два, а то и три десятилетия: от 1904 г., когда происходит знакомство,² до 1924 г., когда перед своим окончательным отъездом из Советской России Иванов специально ездил в Троице-Сергиеву лавру к о. Павлу: “помню, ... что он [Иванов] вернулся очень удовлетворенный значительностью состоявшейся беседы, особенно просветленный и сосредоточенный”, — вспоминал В. А. Мануйлов (Мануйлов, 1990, с. 358). После отъезда Иванова в Италию прямые контакты оборвались. Все же в конце 20-х годов имя Флоренского изредка долетало в Рим. Так, близкий друг Иванова Сергей Троцкий, по воспоминаниям Мануйлова, “своеобразный и тонкий мы-

* Вариант доклада, прочитанного на конференции “Оптина пустынь: мона-стырь и культура” 19-23 апреля 1990 г. в Бергамском университете (Италия).

слитель идеалистического толка” (Мануйлов, 1990, с. 352), сообщал Иванову в письме от 1 января 1923 г.: “Поглощен философскими раздумьями, замыслами писаний. Переслал Флоренскому две статьи и жду ответа с понятным трепетом”. 14-го октября того же года Троцкий писал в Рим: “передавал Флоренскому кое-что, и он похвалил”.³

В 1935 г. из Соловецкого лагеря Флоренский пишет своей дочери письмо, характеризуя Вяч. Иванова — мыслителя и поэта (см. Приложение I); Иванов же в Риме рассказывает своему другу и биографу Ольге Шор о том, как Флоренский в 1915 г. сам предложил составить комментарии для философской поэмы “Человек”.⁴

“Сладостны мне, лестны и любезны эти знаки связующей нас, я уповаю, *филии*”, — писал Иванов Флоренскому 7 октября 1915 г.⁵ За разъяснением слова “филии” здесь лучше всего обратиться к вышедшему годом раньше письму “Столпу и утверждению Истины”, где в письме “Дружба” находится филологическая интерпретация четырех греческих глаголов любви: оттенок, выражаемый глаголом *φιλεῖν* “есть внутренняя склонность к лицу, выросшая из задушевной общности и близости, и поэтому *φιλεῖν* относится к каждому виду любви лиц, стоящих в каких-либо внутренне-близких отношениях. < ... > *φιλεῖν* есть склонность, соединенная с самим любимым лицом и вызванная близкою совместною жизнью и единством во многих вещах”. (Флоренский, 1914, с. 396, 399).

После этой фразы может создаться впечатление, что уцелевшие к настоящему времени свидетельства многолетней истории “филии” — “внутренне близких отношений, основанных на единстве во многих вещах” Иванова и Флоренского — свидетельствуют лишь о верхней части всплывшего айсберга. Такова надпись на издании работы о. Павла 1915 г. “Смысл идеализма”: “Вячеславу Ивановичу Иванову, с извинениями за то, что вторгся в Вашу область” (экземпляр у московских букинистов, виденный С. С. Хоружим в начале 1970-х годов — С. Хоружий, устное сообщение 12. 6. 89). Такова неожиданная блистательная вертикаль импровизации в беседе Иванова с его бакинским студентом: оказывается, что искусство реали-

стического символизма может быть основано — как на исходном принципе — на богословском принципе единосущия, утверждаемого в “Столпе” Флоренского (см. Приложение II).

На сегодняшний день больше всего свидетельств этой “склонности”, обусловленной “единством во многих вещах”, приходится на период середины 1910-х годов, т. е. на годы выхода “Столпа” и ивановских работ по эстетике, кодифицирующих писание и предание русского символизма. Между прочим, одним из таких свидетельств является текст самого “Столпа”: Иванов здесь, кажется, едва ли не наиболее часто цитируемый поэт — на основании чего можно сделать вывод относительно пристрастий в поэзии самого отца Павла. В XXIV главе “Бирюзовое окружение Софии и символика голубого и синего цвета” Флоренский пишет о вдохновенной Софией поэзии: он приводит здесь стихотворение Иванова “Твоя ль голубая завеса” — в нем он усматривает “удивительное по реалистичности” видение образа Софии; вслед за ивановским стихотворением Флоренский помещает свое собственное, по его словам, “подобное по содержанию”, но выполненное в ином цветовом ключе. (Флоренский, 1914, с. 570–71). Флоренский таким образом вступает с Ивановым в поэтическое и, в каком-то смысле, “мистическо-визионерское” состязание — это, насколько мне известно, единственное состязание такого рода в то время.

В свою очередь Иванов в Москве 1914 г. не прошел мимо споров вокруг “Столпа” — появление этого сочинения о. Павла стало событием как для него, так и для членов его семьи.

1.

Многие в Москве заговорили о “Столпе” уже в первые недели нового 1914 г. 3 января С. Н. Булгаков писал А. С. Глинке (Волгжскому): “О выходе книги его <Флоренского> Вы, конечно, знаете; она есть несомненно событие” (ЦГАЛИ, ф. 142, ед. хр. 198, оп. 1 л. 209). Е. Н. Трубецкой стороной прослышал, что диссертацию свою — один из вариантов “Столпа” — Флоренский защищает уже 7 января и торопится отправить ему письмо — чтобы о. Павел

получил его в день защиты (Трубецкой и Флоренский, 1989, с. 103). “Большим событием этого времени было появление в печати монументального труда Флоренского — “Столп и утверждение Истины”. О нем много говорилось во всей культурной Москве”, — вспоминала дочь Вячеслава Иванова, Лидия (Иванова, 1990, с. 60).

Уже в январском номере толстого московского литературного журнала “Русская мысль” выходит посвященная разбору “Столпа” статья Н. Бердяева “Стилизованное православие”. В этой статье — яркой, острой и несправедливой — в первых ее фразах говорилось, что книга отца Павла “единственная в своем роде, волнующая, прельщающая. Русская богословская литература не знала еще доньше книги столь утонченно-изысканной”, в заключении же подводился вывод: книга эта “никому не нужна”⁶ — философ глубоко ухватил одну из главных идей сочинения Флоренского. Бердяев писал: “Самое ценное в книге свящ. Флоренского — это его учение об антиномичности. Религиозная жизнь по существу антиномична... Антиномичность трансцендентного и имманентного разумно неразрешима и непреодолима; она изживается в религиозном опыте и там снимается” (Бердяев, 1989, с. 543, 565, 556). Бердяеву, следует думать, была близка антиномическая диалектика Флоренского, диалектику гегелевскую и соловьевскую отрицающая. По мысли отца Павла, противоречия не терпит рассудок — низшая способность ума, разум как раз противоречием и живет (см. Гайденко, 1988, с. 169). Известна формулировка Флоренского в начале “Столпа”: “единым словом $\mu\omicron\upsilon\omicron\sigma\tau\omicron\varsigma$ [единосущие] — был выражен не только христологический догмат, но и духовная оценка рассудочных законов мышления. <... > Тут впервые было объявлено *urbi et orbi* новое начало деятельности разума”. (Флоренский, 1914, с. 54).

Е. Н. Трубецкой уже в письме от 7 января 1914 г. (он явно не мог еще знать статьи Бердяева) занял позицию диаметрально противоположную. Самым спорным или даже неприемлемым для себя в “Столпе” он нашел именно концепцию антиномичности. Он исходил из Августинова положения о единстве и всецелости как

подлинной норме разума (ср. “Тезисы“ Трубецкого в *Трубецкой и Флоренский*, 1989, с. 111). В письме Флоренскому от 7 января 1914 г. Трубецкой восклицал:

... почему же преобразено должно быть только сердце человеческое, а не ум: так почему бросать ум во “тьму внешнюю”? А Вы это делаете Вашим пониманием “антиномизма”, обрекающим ум на “нецельность, расщепленность и раздвоенность”, — мало того, — раскальваете надвое и самую “истину”, то есть, иными словами, сами того не замечая, объявляете истину греховной”. (*Там же*, с. 103).

Трубецкой решил выступить с докладом о “Столпе” на заседании московского Религиозно-философского общества и спрашивал Флоренского, каким лучше сделать заседание — публичным или непубличным? Флоренский высказался, видимо, за открытое заседание, и за несколько недель до него были разосланы программы и тезисы Трубецкого (они воспроизведены в *Трубецкой и Флоренский*, 1989). В ряду прочих их получил Вяч. Иванов (экземпляр тезисов с его пометкой — в архиве поэта в ГБЛ, 109. 4. 51, л. 5) и художник Михаил Нестеров (последний 14 февраля писал В. В. Розанову: “посылаю также программу Религиозно-философского об-ва на 26 февраля, где будет прочтен доклад кн. Евг. Трубецкого о книге Флоренского. Не приедете ли послушать? Остановитесь у нас... — *Нестеров*, 1988, с. 257).

К заседанию 26 февраля в доме Вяч. Иванова на Зубовском бульваре, 25 спешно заканчивали восьмистраничную “сумму” о Павла; иногда читали вслух, собравшись вместе. Дочь Иванова Лидия, которой тогда еще не исполнилось 18 лет, вспоминала в начале 80-х годов: “На меня книга Флоренского произвела огромное впечатление — даже повлияла на мою внутреннюю жизнь. Мне было очень трудно понимать ее, но все же я одолела весь том”. (*Иванова*, 1990, с. 61). Вера Шварсалон, жена поэта, в своем дневнике от 28 февраля оставила подробную запись:

“Большой пропуск. Извинение в том, что хотелось дочитать Фл[оренского] прежде [десятой лекции] заседания о нем в Р[елигиозно] Ф[илософском] О[бществе]. С небольшими пропусками дочитала (главным образом читали вслух в течение 2 вечеров, и В[ячеслав] читал). Заседание < ... > было открытое. В зале польской би-блиотеки собралась масса народа. Когда мы приехали, то уже на

некот. расстоянии к переулку шли кучками — а улица вся была запружена. Толкотня страшная, нельзя было оставить вещей. Много [студентов], молодежи, много священников, даже патеры. Стоящих было чуть не столько же, сколько сидящих. Пропускали кучками и без билетов. Духота была страшная. Заседание очень интересное. Хотя мне лично и показался реферат милого Трубецкого малозначительным, а вообще было какое-то симпатичное настроение.

(строчкой ниже на полях):

и, [неразб.] антиномий, в остальном [Трубецкой] Флорен[ского] высоко хвалил.

Из возражателей значительны только Булгаков и Вячеслав, защищавшие Флоренского. Остальные, даже Степун, были неудачны. Комичен Вышеславцев, рекомендовавший себя как рационалист и называвший [Трубецкого] гордым христианином (“я люблю гордое / ... / христианство, / ... / это гордость Прометей, это даже сверх-Прометей — ... Бог - Отец / ... /; между детьми и отцом разница не так велика, ребенок тоже станет отцом — я чувствую между мной и Отцом что-то общее и т. д. и т. д.) с [неразб.] все это в виду полемики против “смирненного” христианства Флоренского.

(*Дневник В. К. Шварсалон — Римский архив В. Иванова*).

Помимо живописных подробностей заседания Религиозно-философского общества, запись Веры Шварсалон любопытна сообщением, что Вяч. Иванов в одном лагере с С. Булгаковым выступил в защиту антиномизма Флоренского от критики Трубецкого (насколько можно судить по “Тезисам” Трубецкого и его статье, опубликованной в том же году в “Русской мысли”, ничто другое не вызывало у него серьезных возражений). К сожалению, мы ничего не знаем о выступлениях Иванова и Булгакова. В архиве Иванова сохранился листочек с заметками, которые он делал по ходу выступления Трубецкого; по большей части это записи положений Трубецкого (интересно, однако, как Иванов — надо думать, в некоторой полемике с Трубецким — формулирует позицию о Павла: “признать знамя дуалистической прерывности — зовет Флоренский] и разрушить гордыню “монизма мышления”. — Полный текст заметок Иванова см. в Приложении III).

В февральском заседании Религиозно-философского общества участвовал также Николай Фиолетов, в дискуссии взявший сторону Трубецкого.⁷ Художник Нестеров не почувствовал в докладе и последовавшей полемике ничего, что могло бы быть достойным книги Флоренского

(см. письмо Нестерова к В. В. Розанову от 23 марта 1914 г. — *Нестеров*, 1988, с. 258), но его мнение остается, надо думать, особым.

В мае 1914 г. состоялось другое публичное обсуждение сочинения отца Павла — но в иной обстановке и аудитории. Это была защита магистерской диссертации о Павла “О духовной истине”, которая являлась одной из редакций “Столпа и утверждения Истины” (см. *Андроник*, 1988, с. 297). На магистерском диспуте 19 мая присутствовали ректор Академии епископ Феодор Поздеевский и профессор М. Д. Муретов. Официальными оппонентами были профессор С. С. Глаголев и и. д. доцента по кафедре систематической философии и логики Ф. К. Андреев. Бросалось в глаза отсутствие на диспуте профессоров А. П. Алмазова, С. И. Соболевского, А. А. Спасского, М. М. Тареева, М. М. Богословского, что было, следует думать, знаком сознательного бойкота со стороны традиционной науки.

На диспут в Сергиев Посад Вяч. Иванов отправился вместе со своим давним и близким другом философом Владимиром Эрном (последние месяцы жизни Эрн жил на московской квартире Иванова на Зубовском бульваре). 21 мая уже из московского дома Иванова Эрн, в письме жене, Евгении Давыдовне, подробно описал события 19 мая в Духовной академии. В нескольких строчках письма при желании можно найти намек на конфронтацию Флоренского с академической наукой:

... Третьего дня я собрался ехать в Посад. Вяч[еслав] захотел вместе со мной. Мы отправились вместе и вышло очень хорошо. Хотя Павлуша ругался, что мы приехали на его позор, но все же внутренне был доволен. Вместо позора вышло “прославление”. Оппоненты вместо критики рассыпались в похвалах. Один из них (Глаголев), старый профессор, так и сказал прямо: когда 10-летний брамин встречается со 100-летним кшатрием, то первый является учителем, а второй учеником. Павлуша — брамин, а он, Глаголев, даже не кшатрий, а [неразб.] Ректор сказал, что с книгой Павлуши Совет Академии перевивает затруднение. С одной стороны ему следовало бы дать не магистрату, а доктору (но это по их законам нельзя), с другой стороны давать ему степень несколько зазорно: своей книгой он совершенно *отрокидывает академическую науку*. Павлуша в возражениях своих был ужасно хорош: тих, сдержан, добр и говорил так, как будто это был не торжественный диспут, а простой интимный разговор. Между прочим: специально на диспут приехал из Москвы Антоний (Донской)⁹

и, не переночевав, уехал. Я был радостно потрясен, увидев его старческую величественную и прекрасную фигуру. После диспута был традиционно обязательный ужин (стоивший Павлуше около 200 р.). Здесь говорилось много хвалебных речей. Сказал маленькое слово и Вячеслав. Анна Михайловна⁹ в иные моменты сияла от счастья...

(Копия в Римском архиве В. Иванова).

Почти сразу после магистерского диспута Флоренский из Сергиева Посада поехал в Москву, где остановился на несколько дней на квартире Иванова на Зубовском бульваре. 29 мая Владимир Эрн писал жене: “Три дня не писал тебе и сейчас пишу лишь открытку. Причина — невероятная “густота” последних дней. [...] Все эти дни гостит у нас о. Павел. Мое спасение, что днем они с Вячеславом спят, а ночью я с ними сижу лишь до 1—до 2—х, они же сидят каждый день до 7—до 8!!”

(Копия в Римском архиве В. Иванова).

2.

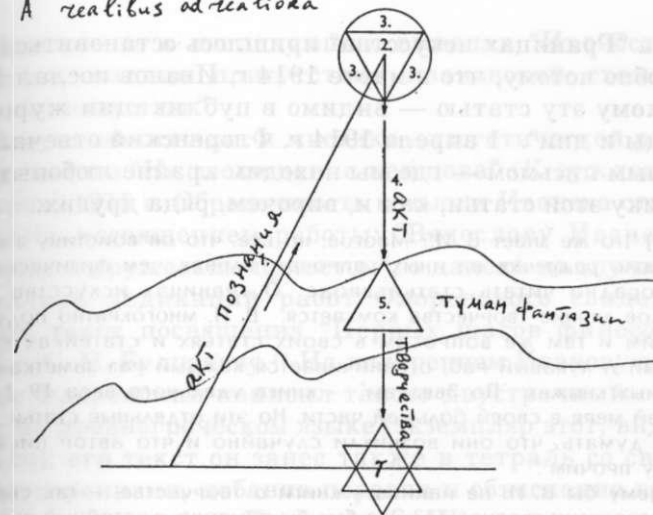
Внешние приметы “филии” — “единства во многих вещах” Флоренского и Вяч. Иванова, приведенные сейчас, как можно думать, не единственны. Было бы интересно задаться вопросом о более глубоком, внутреннем аспекте отношений двух протагонистов русского религиозного возрождения. Одну из тем, красной нитью проходящих сквозь мысль Флоренского и Иванова, можно назвать — в первой упрощенной и неточной формулировке — представление о творчестве как о переходе из одного мира в другой и повторном возвращении в земной мир. Флоренский здесь во многом предстает как критический продолжатель В. Иванова. Это касается, во-первых, работ, связанных с дионисийством (о важности дионисизма в его орфической рецепции только что поставил вопрос С. С. Хоружий, 1989, с. 12–17; крайне интересный вопрос об орфизме Иванова и Флоренского требует особого исследования).¹⁰ Во-вторых, это работы Иванова по теории искусства символизма, рассматривающие также и религиозное творчество. Среди них важное место имела работа “О границах искусства”. Иванов прочел ее в виде доклада в 1913 г. в Московском религиозно-философском

обществе,¹¹ а в январе 1914 г. — в Тенишевском зале в Петербурге, среди слушателей его был, между прочим, А. Блок (Блок, 1965, с. 203). Опубликованная в 7-ом выпуске “Трудов и дней”, статья эта замыкает раздел книги, “Борозды и Межи”, озаглавленный “Искусство и Символизм” (четыре статьи этого раздела, вместе с пятью другими, входили в проектируемую в 1920–30-е годы немецкую книгу Иванова “Kunst und Symbol” — “Искусство и Символ”. См. ее план в Римском архиве В. Иванова; здесь же находится незавершенный вариант этой статьи на итальянском языке).

Одна из главных идей этой работы — размышление о мистической эпифании, то есть богоявлении, к которому восходит духовный человек. Эпифания, по Иванову, может быть “ясным видением или лицезрением высших реальностей только в исключительных случаях и лежит еще вне пределов художественно-творческого процесса в собственном смысле”. С другой стороны, “общую формулой духовной жизни, понятой как рост личности, можно признать слова Гете: к бытию высочайшему стремиться непрестанно.” “Деятельность художника есть некое дерзновение, и вместе некая жертва, ибо он, поскольку художник, должен нисходить, тогда как общий закон духовной жизни, хотящей быть жизнью воистине и в постоянно возрастающей силе, есть восхождение к бытию высочайшему”. (Иванов, II, с. 631, 633, 635).

Художник, преодолевая полосу миражей фантазии и затем суровую пустыню, восходит *a realibus ad realiora* — от реального к реальному, быть может приближаясь к *Ens Realissimum*, Высшей Реальности. После этого, нисходя, он проходит момент сна — где зеркально (то есть, надо думать, в зеркальном пространстве или времени) отражена “мелькнувшая ему эпифания”. Наконец, низойдя на землю, он художественно воплощает виденное. Ниже помещена одна из схем, которой иллюстрировал свою мысль Иванов (она уточнена по схеме начала 1930-х годов из архива О. Резневич-Синьорелли в Риме):

A realibus ad realiora



Необходимо обратить внимание на собственно язык “Границ искусства”: нам говорится об *экстазе* или подъеме духа в область сверхчувственного сознания, восторге, могуче *восхитившем* поэта, который потом как бы выпускает его из своих *орлиных* когтей и отдает родному долу; перед нами как бы условно-терминологический код символистов 1910-х годов. Одно из ключевых слов этого кода — *восхищение*: петрарковская строка “*Levommi il mio pensier*” совершенно неслучайно переводится со славянизмом “восхитила” в значении “вознести на небо”: “Восхитила мой ум за грань вселенной” (Иванов, II, с. 232; для Иванова сонет Петрарки имел, кажется, софианский смысл — ср. Иванов, IV, с. 380). Немаловажен также образ орла как олицетворение поэта, коему может быть открыта Высшая Реальность — в тексте “Границ искусства” этот образ появляется в разных видах; глубинный смысл образа поэта-орла раскрыт в стихотворении 1911 г. о мистической розе (конечный смысл этого символа ориентирован на пламенеющую розу — гл. XXX–XXXIII “Рая” Данте),¹³ где говорится:

Лебя Франциск узнал и Дант-орел унес
В прозрачно-огненные сферы

(Иванов, II, с. 449)

На “Границах искусства” пришлось остановиться так подробно потому, что в марте 1914 г. Иванов послал Флоренскому эту статью — видимо в публикации журнала “Труды и дни”. 1 апреля 1914 г. Флоренский отвечал подробно письмом — где мы находим крайне любопытную критику этой статьи, как и, впрочем, ряда других:

[...] Что же знает В. И.? Много; но все, что он воистину знает — это около *рождения*, на иных, впрочем, планах, чем физический. И как досадно читать статьи вроде “О границах искусства”, где глубокое знание творчества комкается. В. И. многократно подходит к одним и тем же вопросам в своих статьях и статейках и, как ленивый и лукавый раб, ограничивается каждый раз заметками из записных книжек. “По Звездам” — книга удельного веса 19,5 — по крайней мере в своей большей части. Но эти отдельные статьи дают право думать, что они возникли случайно и что автор писал их “между прочим”.

Почему бы В. И. не написать книги о творчестве, — так сказать, феноменологии творчества? Это был бы памятник достойный его. Мне не думается, чтобы надо было привести эту книгу к внешнему единству, т. е. делать ее “диссертацией”. Но она должна разобрать основные вопросы по заранее обдуманному плану. Кроме В. И. такой книги никто написать не может: это наиболее надежное доказательство, что написать ее он *должен*.

Критика обернулась, как мы видим, прославлением. Есть, однако, основания думать, что через ивановские “Границы искусства” идут по крайней мере две линии к работам Флоренского. Первая — менее явная — к размышлениям в “Иконостасе” 1922 г. о соприкосновении в сне человека (где время бежит зеркально, то есть *навстречу* настоящему) мира невидимого, физического и духовного: прийдя к заключению, что “сновидение есть знаменование перехода от одной сферы в другую и символ”, Флоренский пишет:

То, что сказано о сне, должно быть повторено с небольшими изменениями о всяком переходе из сферы в сферу. Так, в художественном творчестве душа восторгается из дольного мира и восходит в мир горний. Там без образов она питается созерцанием сущности горнего мира, осязает вечные ноумены и, напитавшись, обремененная ведением, нисходит вновь в мир дольний. И тут, на этом пути вниз / ... / ее духовное стяжание облекается в символические образы — те самые, которые, будучи закреплены, дают художественное произведение.

(Флоренский, 1985, с. 193, 203, 204).

Здесь — и в последующих выводах “Иконостаса”, кажется, налицо присутствие ивановской схемы из “Границ искусства”.

Вторая линия идет к мистико-экзегетической работе Флоренского “Не восхищение непщева” (К суждению о мистике) 1915 г. Обращенность к мысли Иванова отмечена здесь посвящением работы: “Вячеславу Ивановичу Иванову с дружеским приветом”; о далеко не случайном характере дедикации работ Флоренского свидетельствует текст посвящения “Первых шагов философии” 1917 г. С. Н. Булгакову.¹⁴ На подаренном Иванову экземпляре Флоренский написал также двустрочный гекзаметр на древнегреческом языке (экземпляр этот, видимо, утерян); его текст он занес также в тетрадь со своими стихотворениями, добавив перевод и объяснение греческих выражений (см. Приложение IV).

Содержание работы Флоренского указано ее названием — это опыт толкования строки 6-8 второй главы Послания апостола Павла к Филиппийцам, которые в русском переводе читаются так: “Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением (*по-церковнославянски: не восхищения непщева*) быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став, как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной”.

Центральным для понимания этих стихов является слово “восхищение” — по-гречески *ἀρπαγμός*. Флоренский усматривает в нем мистический смысл, предлагая задуматься над текстом 2 Кор. 12: 2–4: “Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к *видениям* и *откровениям* Господним. Знаю человека, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает) *восхищен* был до *третьего* неба ...” (Курсив Флоренского). Речь идет, таким образом, о переходе в духовный мир в видениях и откровениях — тема, крайне близкая и русскому религиозно-философскому символизму XX века. Для прояснения уровня смыслов слова *ἀρπαγμός* — “восхищение” — по Флоренскому, *terminus technicus* мистической философии, отец Павел предпринимает подробное филологическое исследование

древнегреческого мифа, и приходит к выводу, что в нем *переход* человека в миры иные представляется как *восхищение* или *похищение* его трансцендентными существами“ (курсив Флоренского), причем сама восхищающая сила облачалась иногда символическою одеждою, представая орлом, Зевсом—орлом или гарпиями (Флоренский, 1915, с. 26—27). Именно здесь начинается наиболее оригинальная часть исследования Флоренского: гарпии, первоначально в древнем мире — экстазо—творческие существа, “ангелы экстаза“, которые уносят, восхищают душу в иной мир, — откуда восхищенная душа иногда возвращается обратно, иногда — нет — оказываются связаны с древним корнем слова *ἀρπάζω*—“восхищение“ апостола. Гарпии, по Флоренскому, оказываются в каком—то смысле женскими коррелятами орла, Орфей же — “гарпия мужского рода, само—восхищающаяся в *иной* мир“ (Флоренский, 1915, с. 45).

Представляется, что в работе, посвященной В. Иванову, Флоренский ставит примерно такие же вопросы о мистическом видении, как и те, которыми задавался в своих работах теоретик религиозно—философского символизма, и исследуемый Флоренским вопрос о приближении древней языческой мистики к мистике христианской в каком—то отношении соотносится с аналогичными идеями, проходящими сквозь весь поэтический мир и научную мысль Иванова.

Прочитав “К суждению о мистике“ Флоренского, Иванов ответил о. Павлу подробным письмом от 7 октября 1915 г. Найдя философское, мистическое и историческое истолкование апостольского текста “блистательным“, Иванов, однако, не согласился с идеей Флоренского о том, что гарпии в древнем мире первоначально были божествами экстаза, посвятив несколько страниц письма критической филологической полемике против аргументов о. Павла. Но это уже другой эпизод в отношениях Флоренского и Иванова.

В своем реферате Ев. Н. Трубецкой выступил в защиту разума против антиномизма о. П. Флоренского, черты которого ясно проскальзывали в необычайно интересной книге последнего “Стоп и утверждение Истины“. Разум, с точки зрения отца Павла, всегда антиноmicен, он раскалывается между двумя взаимоисключающими положениями, причем в каждом из

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ср. F. Stegun. *Mystische Weltanschauung*. München, 1964, S. 204.
2. В письме к В. Брюсову от 3/16 января 1905 г. из Шатлена Иванов спрашивал: “слыхал ли ты о милом Эрне, например от Белого и Флоренского?“ (Иванов, II, с. 690)
3. Письма С. В. Троцкого к В. И. Иванову в Римском архиве В. Иванова. О С. В. Троцком см. подробную заметку К. Ю. Лаппо—Данилевского в комментариях к “Беседам М. С. Альтмана с поэтом В. И. Ивановым“, которые печатаются в альманахе “Convivium/Беседа“, М., изд. “Книга“, 1991.
4. Рассказ Иванова приведен Ольгой Шор в комментариях к Брюссельскому Собранию сочинений Иванова: “В 1915 г. В. И. закончил то, что он тогда называл “лирической трилогией“, озаглавленной “Человек“. Издательство Сабашниковых сразу предложило трилогию напечатать. В. И. уже правил корректуры, когда однажды Павел Флоренский, услышав трилогию в чтении В. И., вдруг сказал: “Вещь прекрасная; но ее мало кто поймет. Хотите, я напишу примечания?“ В. И., конечно, пришел в восторг от такого предложения, и попросил Сабашникова немного отложить публикацию. Флоренский начал писать примечания, но медленно. — Война, революция; издание задержалось и не осуществилось.“ (Иванов, III, с. 737). Достоверность подробностей рассказа Ольги Шор в самое последнее время подтверждена обнаруженными в московском архиве семьи Флоренских двумя листочками с набросками комментариев о. Павла к “Человеку“.
5. Переписка В. И. Иванова и о. Павла Флоренского печатается полностью в альманахе “Convivium/Беседа“ в публикации о. Андроника (Трубачева), С. З. Трубачева, П. В. Флоренского и А. Б. Шишкина.
6. Любопытно отметить, что эти слова — “книга Флоренского никому не нужна“ — Бердяев исключил при подготовке своей статьи для публикации в проектированной в 1944 г. книге “Типы религиозной мысли в России“, однако в предисловии счел необходимым зайти:

“на них [статья] отразилась духовная борьба, которая велась внутри наших религиозно—философских течений. Я думаю, что в основном эта книга представляет опыт объективных характеристик. Но я оставил в ней нетронутой актуальную напряженность и направленность на борьбу за свое понимание духовных благ и ценностей. Поэтому я решительно критикую тип мысли Флоренского и Булгакова, которых я ценю, но в религиозной философии которых не вижу <...> наиболее истинного обоснования вечного в православии“. (Бердяев, 1989, с. 7).

7. Ср. выступления Трубецкого и Н. Н. Фиолетова в изложении Н. Ю. Фиолетовой:

“В своем реферате Ев. Н. Трубецкой выступил в защиту разума против антиномизма о. П. Флоренского, черты которого ясно проскальзывали в необычайно интересной книге последнего “Стоп и утверждение Истины“. Разум, с точки зрения отца Павла, всегда антиноmicен, он раскалывается между двумя взаимоисключающими положениями, причем в каждом из

них просвечивают отблески истины. Человек беспомощно стоит перед дилеммой, не зная, за что ухватиться, и тогда из глубины открывающейся перед его интеллектом бездны сомнения протягивает ему руку помощи вера, соборный, религиозный опыт Церкви, которая является для него единственной твердой опорой – “Столпом и утверждением Истины”. Е. Н. Трубецкой, возражая отцу Павлу, подчеркивал в вере, подобно молнии освещающей бездонную глубину бездны, в которую с ужасом глядит человек, не противоречие разуму, а свет высшего разума, в высшем синтезе преодолевающего антиномии рассудочного познания. Антиномичен не разум, а рассудок с его скованностью логическими законами тождества, противоречия, исключенного третьего. Разум, возвышаясь над этими законами, диалектичен: утверждая относительную правду всякого “да” и всякого “нет”, он достигает вершины ведения, где эти относительности погашаются в синтезе, сочетающем в высшем единстве “да” и “нет”. Акт окончательного, последнего утверждения этой высшей, сверхлогической, но не противоразумной истины принадлежит вере.

В споре между о. Павлом и Е. Н. Трубецким Николай Николаевич встал на сторону последнего. Вера для него всегда была не тертуллиановское “credo ut absurdum” – “верю, хотя это нелепо”, в котором он усматривал крик души отчаявшегося человека, а ансельмовское “credo ut intelligam” – “верю, чтобы уразуметь”, причем под уразумением он понимал не познание конечного мира посредством рассудка, а постижение разумом того Абсолютного Начала, которое лежит в основе всякого конечного и относительного бытия”.

(Н. Ю. Фиолетова. *История одной жизни. Минувшее*, № 9, 1990, с. 25–26).

8. Епископ Антоний Флоренсов (1847–1918) с 1904 г. был духовником Флоренского. Ср. из записей А. В. Мартыновой:

“19-го мая 1914 г. была защита диссертации (магистерской) о Павла Флоренского. Владыка был на ней. Рассказывал о диспуте увлекательно и назидательно. Очень хвалил вступительную речь о Павла: “Казалось, что орел летает высоко-высоко, и страшно становилось, как бы этот орел не улетел от нас”. Тонем оппонента Глаголева не был доволен, находил, что неуместно балагурил, ничего по существу не возразил / ... / Он [Флоренский] закончил свою речь словами: “Книгу мою у меня могут отнять, но того процесса переживания, который у меня был, никто у меня не отнимет”. А я ему скажу: “Ей, берегитесь, отниму! Вас будут бить и бить поделом: проверьте себя”.

(Цит. по *Андроник*, 1981, с. 70).

К епископу Антонию в Донской монастырь приезжали, между прочим, Мережковские, А. Белый и А. Блок. Ср. в письме А. Белого А. Блоку первой половины ноября 1903 г.: “Когда они [Мережковские] были в Москве, мы все вместе ездили к епископу Антонию (который мне очень близок) и Антоний познал Мережковских в глубочайшей их сущности. Отнесся легко и просто, ясно, но с чуть заметным оттенком добродушного юмора”. (Александр Блок – Андрей Белый. *Переписка*, М., 1940, с. 65; см. также А. Белый. *Воспоминания об А. А. Блоке*. В кн. *А. Блок в воспоминаниях современников*. Т. 1, М., 1980, с. 228).

9. Анна Михайловна Гиацинтова (1889–1973), жена Флоренского.

10. Из работ Вяч. Иванова, связанных с этой темой, следует указать прежде всего на статью “Дионис орфический”, опубликованную в конце 1913 г. в “Русской мысли” (она вошла в переработанном виде в книгу “Дионис и Прадионисийство”, 1923). В предварительном порядке приведем отзыв Флоренского 1910 г. на сочинение студента Московской духовной академии Наумова “Культе Диониса в Греции” (Флоренский начинает с цитаты из работы Наумова):

“дионисовская проблема” [...] так или иначе, несомненно затрагивает и круг занятий церковно-исторических, вместе с патристическими. – хотя бы ввиду необходимости разобрать ходячие ныне утверждения о генетической зависимости христианских литургических действий и христианских идей от культа и концепций “религии страдающего бога” ».

Вот почему кажется странною. – а порою ощущается даже болезненно – малочисленность и случайность исследований о Дионисе. [...] у нас [...] в русской литературе о Дионисе нет прямо-таки ни одного исследования, если не считать глубоких и проникновенных отдельными местами, но предварительных и спешных по общему исполнению этюдов Вяч. Иван. Иванова, печатавшихся в “Новом Пути” и в “Вопросах Жизни”. Потребность в монографии о Дионисе, которая была бы, вместе с тем, собранием основных текстов, так и остается неудовлетворенною. –

(*Богословский вестник*, 1910, т. 1, № 1, с. 257).

Необходимо иметь в виду, что тема сочинения Наумова была подказана, скорее всего, самим Флоренским (см. *Андроник*, 1986, с. 235).

11. О каком-то из этих выступлений вспоминал С. И. Фудель:

“Помню, кажется, что в 1916 г. Вяч. Иванов, которому Флоренский посвятил “Не восхищение непцева”, читал в Московском религиозно-философском обществе доклад “О границах искусства”. Доклад был какой-то особенно важный, “эпохальный”, и Андрей Белый, выступая в прениях, подсакивал и взлетал в воздух и взмахивал рукой в ритм словам своего крайнего возмущения. Так вот, я думаю, что надо бы иметь другой доклад “О границах познания” и что именно о Павле мог бы его написать”. (Фудель, 1972, с. 87–88).

При неточностях Фуделя (доклад в Религиозно-философском обществе был прочтен в 1913 г., — см. *Иванов*, II, с. 820; *Scherrer*, 1973, с. 441; А. Белый, который уехал за границу в марте 1912 г., в 1913 мог задержаться в Москве лишь на несколько дней — *Лавров*, 1988, с. 786–787 — речь может идти, скорее всего, о выступлении Белого по другим докладам Иванова в Московском обществе; о полемике Белого с Ивановым по поводу искусства религиозного символизма ср., прежде всего, *Белый*, 1911, с. 315–317 и далее; *Нива*, 1984), сообщение его представляет для нас крайний интерес: Флоренский, по мысли Фуделя, должен был бы написать другой доклад, после “эпохального” ивановского, в каком-то смысле “новую ступень” после работ Иванова о религиозном творчестве и символизме.

12. Сон и видение в поэтическом мире В. Иванова — филологическая проблема, кажется, еще не поставленная. Особый интерес представ-

...ляют ивановские дневники (см. *Иванов*, II) — из них мы узнаем, в частности, что поэт увидел во сне то же видение, которое Данте описал в третьей главе “Новой жизни” (где комментаторы Данте усматривают отголосок символики Преображения Господня); именно через смысл этого сонного видения следует интерпретировать название лирической книги Иванова 1911 г. “*Cor Ardens*”. В другом сне (см. дневниковую запись от 21. 6. 1907 — *Иванов*, II, с. 773) поэт видит розенкрейцеровскую формулу — ср. J. Cl. Frère. *Vie et mystères des Rose-Croix*, s. l., 1973, p. 20.

13. О символике розы ср. *Топоров*, 1982, с. 386.

14. Вот это посвящение:

Дорогой и Глубокоуважаемый Друг!

Ровно семь лет тому назад я начал печатать эту книгу. Тогда были уже готовы рукописный текст ее и клише рисунков. Но многочисленные интересы и сложные обязанности упорно отводили мое время и мои силы к иным работам, так что до сих пор напечатаны из курса только три лекции, и я не знаю, когда мне удастся сосредоточиться на печатании дальнейших. Однако, эти семь лет не прошли бесполезно для книги: многое было пересмотрено, — и занятые позиции не были оставлены. Еще более окрепла за это время первоначальная мысль — посвятить эту книгу Вам. Семь лет испытания нашей дружбы углубили мое уважение и мою любовь к Вашему духовному облику. Вот почему мне было бы тяжело сейчас, из-за невозможности в скором времени напечатать всю книгу, лишиться ее посвящения, с которым срослась она в моей душе. Примите же мое более чем скромное приношение — не как труд достойный Вашего имени, а лишь как свидетельство прочности моих чувств к Вам.

Автор

Сергеев Посад, 4. 5. 1917

ПРИЛОЖЕНИЕ I

*Из письма Флоренского дочери, О. П. Флоренской,
1–3 августа 1935 г.:*

“... Ты спрашивала меня о поэме Белого “Свидания”: я не читал ее и даже не видел, так что сказать ничего не могу. Теперь о Вяч. Иванове. Под гениальностью, в отличие от талантливости, я разумею способность видеть мир по-новому и воплощать свои совершенно новые аспекты мира. Талантливость же есть способность работать по открытым гением аспектам и применять их. В жизни я встретил три человека, за которыми признал гениальность: Розанов, Белый, Вяч. Иванов. Гениальность есть особое качество, она может быть большой и малой, равно как и талантливость. Не берусь судить, насколько велика

гениальность этих людей, но знаю, что у них было это особое качество, но Андрей Белый был совсем не талантлив, Розанов — мало талантлив, а В. Иванов обладал, при гениальности меньшей, большей талантливостью. Он сумел проникнуть изнутри в эллинизм и сделать его своим достоянием. Его познания очень значительны и потому он — поэт для немногих и всегда будет таковым: чтобы понимать его — надо много знать, ибо его поэзия есть вместе с тем и философия. — Нет места писать больше.“ [...]

(Архив семьи Флоренских в Москве. За сообщение этого текста приношу благодарность П. В. Флоренскому)

ПРИЛОЖЕНИЕ II

*М. С. Альтман. Беседы с поэтом В. И. Ивановым.
Запись от 12 января 1921 г.*

“... Говорили о реализме и романтизме. [...] Мое мнение, что ложно-классицизм в романтизме имел (и имеет) не свою противоположность, а свое продолжение. Остывшее блюдо ложно-классицизма было вновь подогрето “пылкостью” романтизма, но сущность оставалась та же. Романтики те же ложно-классики, отсюда и тяготение их к классицизму (“баллады” Жуковского, перевод Гомера). Манилов — вот образ романтика (конечно, пародия) и движимый тем же тяготением к классическому называет он детей своих — Периклес и Фемистоклюс. Шиллер переводит греческие баллады, Манилов — дает античные имена детям, но это два проявления одной сущности.

— Ну, а я романтик? — спросил В. меня. — Вы по форме классик, по содержанию — романтик. — Значит, Манилов? — Я замялся.

— Нет, продолжал он, периодами я только был романтик. Когда же писал *Кормчие Звезды*, и теперь, я не романтик. Зиновьева-Аннибал называла романтиков “вождедеющими и импотентными”. А вот [...] один из глубочайших наших современников, гениальный Фло-

ренский, исходя совершенно из других принципов и разрешая совершенно другие вопросы, не проливает ли свет и на наш вопрос? В "Столпе и утверждении Истины" Флоренский рассказывает, как на [Вселенском Никейском] соборе был великий спор о том, есть ли Христос $\delta\mu\omicron\upsilon\omicron\sigma\iota\omicron\varsigma$ или $\delta\mu\omicron\upsilon\omicron\sigma\iota\omicron\varsigma$ то есть спор шел о букве йот (j /.../ — вот предмет расхождения) — есть ли Христос едино- или подобо-сущий. И Церковь утвердила Единосущие: Я и Отец — одно. Вопрос о Едино и Подобо-сущии не только, однако, теологический, — и Флоренский им отмыкает замки логики и любви. И вот, — продолжает В., — не нужно ли и "романтическую" проблему отмыкать этим ключом? Бог — *Ens Realissimum** — единосущный, первый же романтик — Змея, утверждающая подобосущие, только подобие, а не едино. Вы будете как боги — не богами. И соблазненный Адам первый романтик (его тоска о "потерянном рае", его "любовь и вражда" к Еве — все это плоды, упавшие с дерева познания романтического, а не реалистического воплощения). Христос — единосущный, иначе он был бы романтиком (и евреи были бы правы и им бы (евреи не романтики) делало честь, что они романтического Христа не приемлют), но он — как Отец — *Ens Realissimum*. Христос — реалист.

Я спросил — "Так ли это однако? Не есть ли Сын действительно романтик в память об Отце (романтическое прошлое) и в тяготении к Отцу (романтическая даль), Сын — неполнота, "вождедеющий и импотентный". Да минет меня чаша сия. Но да будет воля Твоя. А Адам Кадмон не романтик ли — и до падения: ведь и создан по подобию Божьему?"

— Нет, возразил В., он создан по подобию и по образу, тут больше, чем подобие.

— А вот черт, — продолжал я — это пародия на Бога, он-то действительно романтик. В нем все атрибуты романтизма и не от него ли все его "качества"?

(В частичную публикацию в "Ученых записках Тартуского университета", вып. 209, 1968 г., эта запись не

* реальнейшая сущность (латин),

вошла. Цит. по машинописи в Римском архиве Вяч. Иванова. — Исходный пункт этой импровизации — 4-я глава "Столпа", где Флоренский рассказывает о принятии на Никейском соборе догмата о единосущии Отца и Сына и Духа Св.; для Флоренского принятие этого догмата означает "и духовную оценку всех рассудочных законов мышления", в нем — зерно всего "христианского миропонимания" (Флоренский, 1914, с. 54). Указав на исторический смысл христологического догмата, Вяч. Иванов применяет догмат к своему частному случаю: определению "реалистического" и "романтического" искусства (в своей системе значений): в основе первого, по Иванову, лежит стремление к единосущию, в основе второго — к единоподобию. Импровизация Иванова, таким образом, своего рода притча о слове-имени-символе, а ось ее — один из первопринципов о. Павла. Ср. также: А. Шишкин. Реализм Вяч. Иванова и о. Павла Флоренского. — Материалы первой конференции, посвященной о. Павлу Флоренскому, Бергамо, 1988 (в печати).

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Заметки В. И. Иванова по ходу выступления
Е. Трубецкого. — ГБЛ 109. 4. 51.

Верит ли Ф.[лоренский] в преобразование ума человека. С одной стор[оны]— антиномия грех. С другой: Антиномична сама истина (истина об Истине). Антиномичность — печать истинного.
"Самое стремление к разумн[ой] вере — начало дьявольской гордости".

Антиномичность — греховна

Это правда!

Казалось бы (!) антиномия отделяет нас от Бога

Ф.[лоренский]

обратно! сама истина — антиномична!

"Сын Божий не был и да и нет, но был Да"

Пример: "Христос и воскрес и нет". Плохой пример.

антиномия — противоречие (грех)

антиномия — *coincidentia oppositorum* (— догмат)

синтет[ическое] объединение противоположенных
признать знамя дуалистической прерывности — зовет
Ф.[лоренский]

и разрушить гордыню “монизма мышления”.
Истины нет у меня, но идея истины жжет меня
Radians in me vehementer

Я есмь пища сильных
но Ты сам превратишься в Меня (Августин)

Evigilavi in te.

Лазурь через трещины рассудка
— Литургика как источник
— по-видимому исследования Ф-го.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Вячеславу Ивановичу Иванову
на поднесенном ему экземпляре
книжки “Не восхищение непщева”
1915. IX. 25

ΤΕΤΤΙΓΙ ΤΩ ΜΕΛΙΝΔΗ
ΤΕΤΙΞ ΑΚΑΝΘΙΣ ΗΑΙΡΕΙΝ
’ΑΚΑΝΘΑ ΑΝ ΜΟΥ ΤΕ ΦΛΕΓΗΣ
ΛΙΓΥ ΣΕΦΑΤΑΖΩ

т. е. Кузнечику сладкоголосому кузнечик аканфо-
вый — радоваться.
Сожги мои терния — звонко тебя воспою.

τέττιξ ἰκανθίος — это поговорка о береговых певцах и
поэтах; особый вид кузнечиков, водившийся в терниях
(аканфах) был береговой.

“Сжечь тернии”, т. е. грехи, — выражение из молитвы
ко св. причащению Симеона Нов. Богослова. В этом
гекзаметре [пентаметре] не соблюдены просодические
правила, о коих я просто позабыл, почему мне было очень
стыдно пред Вяч. Ивановым.

(Автограф о. Павла Флоренского.
Архив семьи Флоренских в Москве. За сообщение этого
текста приношу благодарность В. А. Никитину).

БИБЛИОГРАФИЯ

АНДРОНИК, 1981 — Епископ Антоний (Флоренсов) — духовник священ-
ника Павла Флоренского — *Журнал Московской Патриар-*
хии, 1981, № 10.

АНДРОНИК, 1986 — Священник Павел Флоренский — профессор Мос-
ковской Духовной Академии. — *Богословские Труды, Юбилей-*
ный сб. Московской Духовной Академии (вне нумерации),
Москва.

АНДРОНИК, 1988 — Священник Павел Флоренский — проф. Москов.
Духовной Академии и редактор “Богословского вестника”, —
Богословские Труды. 28.

А. БЕЛЫЙ, 1911 — Арабески. Москва.

Н. БЕРДЯЕВ, 1989 — Типы религиозной мысли в России. (*Собр. соч.*,
т. III), Париж.

А. БЛОК, 1965 — Записные книжки, Москва.

П. ГАЙДЕНКО, 1988 — Антиномическая диалектика П. А. Флоренского
против закона тождества. В кн.: *Критика немарксистских*
концепций диалектики XX века. Москва.

В. ИВАНОВ, I-IV — Собрание сочинений. Брюссель, 1971–1987.

Л. ИВАНОВА, 1990 — Воспоминания. Книга об отце. Париж.

В. МАНУЙЛОВ, 1990 — О Вячеславе Иванове. В кн.: Л. Иванова.
Воспоминания.

А. ЛАВРОВ, 1988 — Андрей Белый. Хронологическая канва жизни и
творчества. В кн.: А. Белый. Проблемы творчества. Москва.

М. НЕСТЕРОВ, 1988 — Письма. Ленинград.

Ж. НИВА, 1984 — Prospero et Ariel. Esquisse des rapports d'Andrej Belyj
et Vjac. Ivanov — *Cahiers du Monde russe et soviétique*, vol. XXV (1).

В. ТОПОРОВ, 1982 — Роза. В кн.: Мифы народов мира. Энциклопедия.
Т. 2, Москва.

- Е. ТРУБЕЦКОЙ и
П. ФЛОРЕНСКИЙ – Переписка. *Вопросы философии*, 1989, № 12.
- ФЛОРЕНСКИЙ, 1914 – Столп и утверждение Истины. Москва.
- ФЛОРЕНСКИЙ, 1915 – “Не восхищение непщева” (Филипп. 2, 6–8) (К суждению о мистике). Сергиев Посад.
- ФЛОРЕНСКИЙ, 1985 – Собр. соч., т. I, Париж.
- ФЛОРЕНСКИЙ, 1988 – Воспоминания. — *Литературная учеба*. № 6.
- С. ФУДЕЛЬ, 1972 – Об о. Павле Флоренском. Париж. (напечатано под псевдонимом Ф. И. Уделов).
- С. ХОРУЖИЙ, 1989 – Космос–Человек–Смертность. Флоренский и орфики. — В кн.: П. А. Флоренский: философия, наука, техника. Ленинград.
- J. SCHERRER, 1973 – Die petersburger religiös-philosophischen Vereinigungen. Berlin.

И. Н. ГОЛЕНИЩЕВ–КУТУЗОВ

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ И ЕГО ЮГОСЛАВЯНСКИЕ ДРУЗЬЯ

Известный ученый Илья Николаевич Голенищев-Кутузов (1904-1969) почти половину жизни провел в Югославии, где кончил школу и университет. Публикуемая ниже статья была написана им в 1935 г. в Белграде по случаю 35-летия со дня смерти В. С. Соловьева и напечатана на сербско-хорватском языке в журнале “Сербски книжевни гласник”.

Когда в 1894 г. умер в Загребе Рачки, Владимир Сергеевич Соловьев написал некролог, в котором почтил память великого югославянского ученого и патриота. Гениальный русский философ не ограничился перечислением научных заслуг первого президента Югославянской академии, он сумел воссоздать живой образ человека — справедливого, отважного, честного, последовательного в своих убеждениях.

“Со смертью Рачки, — писал Соловьев, — осиротели юго-славянские Афины... Я, по крайней мере, не могу представить себе Загреба без вездесущей, всюду мелькающей фигуры этого малорослого, но крепкого человека в короткой сутане и высоких сапогах, быстрыми и ровными шагами переносающегося из собора в академию, из академии в типографию, а оттуда в свой рабочий кабинет, из кабинета за город в виноградники (Рачки сверх всего прочего был образцовым хозяином вообще и виноделом в особенности).

Когда в Загребе было большое землетрясение, наполовину разрушившее его готический собор, Рачки в этом самом соборе служил обедню. Все в ужасе бежали; он остался один и, схватясь за край престола, ничего не видя от пыли, поднятой обвалившимся потолком, dokonчил службу и вышел весь белый от пыли, но целый и невредимый. Как в эту трагическую минуту, так и во всю свою жизнь он был прежде всего человеком долга и непоколебимой верности“.¹

Владимир Соловьев, резко выступавший против русских “славянофилов” старой московской школы, является зачинателем новой русско-югославянской взаимности. Соловьев не мог принять и не разделял сентиментальные воззрения на славянство Хомякова и Киреевского, исходивших исключительно из национализма и православия. Он был настоящим европейцем и европейским мыслителем. В то время, как славянофилы осуждали “гнилой Запад” и презирали его, хотя сами с детства питались западной культурой, Владимир Соловьев принял ее в свою душу и сердце. Он критически переосмыслил философское наследие Западной Европы и античного мира. Он заново продумал и подверг пересмотру философские построения Канта, Гегеля, Шопенгауэра, Огюста Конта, сумел выявить слабые стороны субъективного идеализма, эмпиризма и вульгаризованного материализма² и создать свою (истинно русскую!) философию духа, в которой гармонически соединены религия и разум. Современные русские религиозные мыслители Флоренский, Трубецкой, Бердяев и Булгаков — его ученики и последователи.

Новое отношение к славянству, самой историей предназначенному быть посредником, связующим звеном между Востоком и Западом, заставило Соловьева порвать с традициями славянофилов и пойти своим путем. В речи “Славянский вопрос” (1884 г.) Соловьев говорил: “Славянофилы так решительно *выделяли* Россию из общего строя европейской культуры, так горячо настаивали на *особом* призвании России, поскольку были уверены в неминуемом “гниении” Запада и его неизбежном разложении”. И с иронией спрашивал: “Если европейскому миру предстоит разложение и гибель, то где ручательство, что мы не погибнем вместе с ним?”³ А в статье “Славянофильство и его вырождение” Соловьев, обличая “псевдопатриотический обскурантизм младших славянофилов”, указал на подлинный источник их мысли — произведения Жозефа де Местра — и с горечью заметил: “И вот эта-то крупница от духовной трапезы Запада оказалась достаточной, чтобы питать наше национально-политическое сознание в течение полувека”.⁴ Вместо

того, чтобы вести “безуспешную и бесплодную” борьбу с Западом в области религиозной, он призывал передовых русских людей (в том числе и славянофилов) лучше вступить в практическую борьбу с застарелым злом русской действительности “во имя западного начала человеческих прав”. Такая возможность открылась, по убеждению Соловьева, политической победой Запада над Россией в Крымской войне.⁵

Проблемы христианской культуры во всех ее аспектах, в ее прошлом, настоящем и будущем, были подвергнуты им тщательному рассмотрению. Одна из основных идей Соловьева, с особой силой и вдохновением развитая в его написанном по-французски труде “Россия и вселенская церковь” (Париж, 1889), заключалась в осознании единства человечества, признаваемого вершиной мироздания, теократическим “центром вселенной, свободным проводником божественного действия во все существующее”.⁶ Развитие этой идеи виделось ему как восхождение от идеалов узко племенных к южнославянским, от южнославянских ко всеславянским и паневропейским и, наконец, к общечеловеческим. Панславизм, таким образом, представлялся Соловьеву важным этапом в духовном развитии человечества.

В замечательных деятелях культуры и просвещения славянского юга хорватах-католиках Франьо Рачком (1828–1894) и Иосипе Юрае Штрессмайере (1815–1905), русский философ нашел единомышленников и друзей, разделявших его стремления и идеи. Их духовная встреча состоялась задолго до личного знакомства.

Уже в июле 1884 г. в переписке Рачкого и Штрессмайера (публикацией которой мы обязаны Ф. Шишичу)⁷ появляется имя Владимира Соловьева в связи с его статьями в журнале “Русь”. 12 июля Рачки пишет Штрессмайеру, что “полезно было бы объединиться с этим русским ученым”. Со своей стороны, его корреспондент просит Рачкого раздобыть ему труды Соловьева. “Хорошо было бы, — замечает джаковский епископ, — перевести на наш язык и опубликовать то, что он пишет”. Во время своей поездки в Россию Рачки имел намерение отыскать в Петрограде Соловьева и познакомиться с ним. В минуты

душевной печали Рачки часто думал о Соловьеве. Так, в декабре 1883 г. он писал Штроссмайеру:

“Сегодня я ничего не ожидаю от Рима для славянства. Рим покровительствует народам, обладающим властью. Поэтому мне кажется, что сейчас любой наш шаг в сторону Рима оказался бы безрезультатным, просто жаль попусту тратить время и силы. В то, что пишет Соловьев относительно объединения восточной и западной церкви, следует вдуматься и подходить к рассмотрению вопроса об объединении двух церквей с высшей точки зрения, а не с позиции монсеньера. Пока же ничего не остается другого, как напрячь все силы, чтоб укрепить Славянство и покончить с племенными разногласиями“.

Вот почему Рачки с особой симпатией следил за духовной жизнью современной ему России, самым выдающимся представителем которой он считал Соловьева. Они познакомились в Петрограде. После возвращения на родину Рачки получил известие, что удостоен звания почетного профессора Московского университета. Эту честь он заслужил не только как выдающийся ученый, но и как человек, глубоко понимающий исторические пути России. Он был очень рад, что сумел повидать Россию и писал о своих впечатлениях Штроссмайеру. Особенно поразила его необъятность российских просторов и соответствующая им широта натуры русских людей.

В 1885 г. Соловьев получил от епископа Боснии и Срема, апостолического викария Сербии, записку и приглашение приехать в Хорватию. Он ответил пылким посланием на русском языке:

“Великой радостью было мне получить Вашу дорогую записку и любезное приглашение. Если Богу будет угодно, в конце настоящей зимы хочу приехать в Загреб и Дьяково узнать Вас лично, поклониться и принять благословение от знаменитого служителя церкви и радетеля славянства, и услышать Ваши мысли и советы в общем нам великом деле — соединения церквей. От этого соединения зависят судьбы России, славянства и всего мира... Сердце мое горит от радости, что имею такого руководителя, как Вы“.⁸

29 июня 1886 г. он сообщал, уже из Вены, (снова по-русски), что через несколько дней отправляется в Загреб, а оттуда в Дьяково “для свидания с Вами, что составляет главную цель моего путешествия“.

В Загребе, куда он приехал в июле, Соловьев остановился у Рачки. Штроссмайера тогда в Джакове не было. Они встретились позднее, когда епископ возвратился из поездки в Вену. В Джакове Соловьев и Штроссмайер подолгу беседовали, но... никогда вместе не обедали. “Ведь он, бедняга, вегетарианец“, — писал Рачкому джаковский епископ.

Соловьев произвел на Штроссмайера большое впечатление. “Он, действительно, выдающаяся личность, дружбой с которой можно гордиться. Я часто с ним встречаюсь, и по всем важным вопросам у нас полное единомыслие“, — сказал Штроссмайер своему загребскому другу. А Соловьев во французском письме, отправленном уже из дома, признавался своему гостеприимному хозяину, что оставил часть своей души в Дьяковаре.

В сентябре 1886 г. Соловьев вместе с письмом направил Штроссмайеру записку относительно соединения церквей. В ней он делится своими соображениями об отсутствии каких-либо существенных доктринальных различий между установлениями римской католической и православной церквей. Он доказывает, что это соединение было бы в равной мере выгодно обеим, поскольку поможет создать новую цивилизацию, подлинно христианскую, в которой все ее составные части сохранят не только свои обычаи, но также самостоятельность. В Штроссмайере Соловьев видит “подлинного посредника между св. Престолом ... и славянской расой, которая, по всей вероятности, призвана реализовать эти предназначения“.

Было уговорено, что в апреле 1888 г. Соловьев встретится в Риме с Штроссмайером. Но приезд его задержался, и епископ просил кардинала — секретаря Рамполли допустить В. С. Соловьева на аудиенцию к св. отцу, чтобы Лев XIII “благословил деятельность этого настолько же ученого, насколько и благочестивого человека, который много хлопочет по делу о соединении церквей“. Сам

Штроссмайер со своей стороны также предпринял в этом плане ряд мер. По свидетельству его секретаря и доверенного Мильо Цепелича, епископ послал записку Соловьева (отпечатанную в Джакове в количестве десяти экземпляров) со своими соображениями нунцию в Вене Серафиму Ванутелли, папе Льву XIII и кардиналу — секретарю Ватикана Рамполли.

Будучи человеком глубоко религиозным и преданным высшим идеалам, Штроссмайер в то же время был очень деятельным и энергичным человеком. Но в своем стремлении реализовать на практике теократические идеи Соловьева, имеющие целью объединение Запада и Востока (на первых этапах — культурное и религиозное) владыка претерпел множество разочарований. Так, в 1889 г. он признался Рачкому: “Соловьев мне писал: Мы, как Вы верно заметили, вполне поладили. Я все говорю: для этого в Петрограде еще не созрели, а в Риме и того меньше. В Риме, пусть Бог меня простит за эти слова, постоянно “in expectativa dominii temporalis”, поэтому в строго религиозных вопросах они не совсем свободны. Но мы, учитывая это, сделаем все возможное, а в остальном положимся на Бога”.

Через два года Соловьев снова приехал в Загреб, где намеревался за свой счет издать второй том труда “История и будущность теократии” и другие работы, поскольку духовная цензура в России запретила печатание всех его сочинений. Рачки от всего сердца помогал ему в этом и добился для него кое-каких льгот. Однако из печати вышел только первый том (Загреб, 1887).

В Джакове, в большом епископском доме, Соловьев наслаждался не только обществом близких ему по духу людей из окружения Штроссмайера, но и мягкой далматинской зимой. Друзья заметили с тревогой, что он сильно кашлял и что силы его слабели.

Из переписки Владимира Соловьева и Рачкого с Штроссмайером видно, что связь двух югославянских титанов с русским философом с годами становилась все крепче и глубже. После первого посещения Соловьевым Джакова Штроссмайер стал называть его “наш брат Соловьев”.

Еще в 1881 г. Рачкому был предложен сан могилевского митрополита — главы всех католиков Российской империи с резиденцией в Петрограде. Рачки поблагодарил за большую честь, но не смог оставить свое детище — Югославянскую академию — в тяжелые дни австрийской реакции. Личность замечательного ученого, имевшего мужество всю свою жизнь бороться с руководством римской католической церкви, верным сыном и служителем которой он оставался, за права славянского народа на национальное самосознание и свой язык (включавшие в себя право оставаться верными традициям Кирилла и Мефодия в сфере религиозной), произвела на Соловьева глубочайшее впечатление. Ему было известно, что еще в 1859 г. на аудиенции у Пия IX Рачки с жаром говорил папе о славянской литургии. Вместе с Штроссмайером они подготовили для римского первосвященника памятную записку “относительно славян вообще и южных в особенности” о том, как должен римский престол о них заботиться и что надлежит ему сделать для отправления славянской литургии обоих обрядов и для воспитания народного духовенства. Рачки настаивал, чтобы в день, когда будет праздноваться тысячелетие памяти св. Мефодия, Рим дал разрешение служить славянскую литургию повсеместно среди славян-католиков. “Если же этого разрешения не последует, — писал он Штроссмайеру, — и будет служить латинская месса, то этот торжественный день будет отмечен в духе антимерфодиевском. Славянам-католикам св. Кирилл и Мефодий дороги тем, что они умели сочетать единство церкви с потребностями славянского народа. Если в Риме этого не признают, то значит там не понимают значения этих великих славянских просветителей”.

В последнем произведении Соловьева “Краткая повесть об Антихристе” (в “Трех разговорах”), где праведники всех трех христианских вероисповеданий объединяются для совместного отпора торжествующему царству зла, папе Петру II приданы многие характерные черты каноника и аббата загребского капитула. В том, что Соловьев думал о своем друге Рачком, создавая образ отважно вступающего в борьбу с Антихристом папы Петра, непре-

ложно свидетельствует одна важная деталь: до своего избрания главой католической церкви кардинал Симон Барионини был митрополитом Могилевским (именно этот сан был предложен Рачкому в 1881 году).

Напомним, что Европа XXI столетия представлялась в “Трех разговорах” как союз более или менее демократических государств — европейские соединенные штаты. Несмотря на значительные успехи “внешней культуры” и научных исследований (особенно в области физиологии и психологии) “предметы внутреннего сознания — вопросы о жизни и смерти, об окончательной судьбе мира и человека” оставались по-прежнему без разрешения. Предсказана Соловьевым и японская экспансия в Азии, и роль в будущем мире японцев с их необыкновенными “энергией, подвижностью и предприимчивостью”.

Таким образом, память о Рачком не оставляла Соловьева до последних дней его жизни. Но вернемся на несколько лет назад. Связи Рачкого с Россией стали еще теснее после его большой поездки, в ходе которой он посетил Москву, Петроград, Киев, Вильно, Одессу. В архиве Югославянской академии хранится его переписка с Соловьевым, русскими учеными-славистами Ламанским, Срезневским, Орестом Миллером, графом Уваровым. В загребском журнале “Виенац” Рачки систематически публиковал статьи о русских писателях (Достоевском, Писемском, Аксакове, Каткове).

Вероятно, особый интерес Рачкого к Достоевскому возник под влиянием Соловьева, близкого друга писателя. Летом 1878 г., когда они вместе ездили в Оптину пустынь к старцу Амвросию, Достоевский рассказал Соловьеву о главной мысли и плане задуманного им нового романа “Братья Карамазовы”. Соловьев внимательно следил за духовной эволюцией Достоевского и посвятил анализу его творчества и мировоззрения три речи. Идеи Достоевского о единстве рода человеческого (“Преступление и наказание”) и ответственности каждого человека в отдельности за грехи и несовершенства человечества, о призвании русского народа осуществить в братском союзе со всеми народами земли истинное всечеловечество, или вселенское христианство, уходят корнями к системе идей

Владимира Соловьева. Близкое к соловьевскому понимание “свободного мыслителя и могучего художника”, жаждавшего осуществления на земле царства правды, содержалось в статье загребского ученого о Достоевском. Как видим, Рачки находился в сфере тех же религиозно-философских интересов, что Владимир Соловьев и его окружение.

Во время своего пребывания в Загребе и Джакове Владимир Соловьев познакомился с семьей профессора Косте Войновича, отца поэта и драматурга Иво Войновича. Косте Войнович был другом епископа Штроссмайера и Рачкого. За год до своей смерти Иво Войнович рассказал в Дубровнике автору этой статьи о посещении Соловьевым его дома. Образ философа-мистика и поэта с правильными чертами лица, длинными волосами и патриархальной бородой, похожего на библейского пророка, произвел глубочайшее впечатление на юного Иво. Однажды в семье Войновичей Соловьев рассказал, как однажды в поместье, где-то в глубине России, ему явился призрак его знакомой, умершей в этот момент в Петрограде. Видение было столь живо, что он даже слышал шорох ее платья (“et j'entendis le frou-frou de ses robes”). Войнович говорил по-французски; возможно, и с Соловьевым его загробные друзья говорили по-французски.

Вообще личность Владимира Соловьева рано стала легендарной. О нем говорили, вспоминал Войнович, что он ведет долгие беседы и споры на теологические темы с дьяволом с террасы сельского дворянского дома — наподобие Ивана Карамазова.

Не исключено, что некоторые соловьевские идеи, в частности идея о единстве всего человечества (естественно, в восприятии Войновича) оказали влияние на концепцию его драмы “Imperatrix”.

Накануне второй (не состоявшейся) встречи с Владимиром Соловьевым в Риме в 1888 г. владыку Штроссмайера охватили сомнения. Он не советовал Соловьеву ехать в Рим, чтобы предстать перед папой: ничего хорошего от этого свидания он не ожидал, хотя он сам, Соловьев и

Рачки долго его готовили. Стало известно, что на Ватиканском соборе Штроссмайер решительно выступал против принятия догмата о непогрешимости папы. В России эта его позиция была воспринята с одобрением. Еще большую симпатию вызвало его поздравление, направленное в Киев в 1888 г. по поводу торжеств, посвященных 900-летию крещения св. Владимира и Руси.

22 июля 1888 г. Рачки напомнил владыке Штроссмайеру, чтобы тот телеграфировал в Киев, и советовал послать телеграмму на французском языке. В том же письме он обращал его внимание на новую брошюру Владимира Соловьева ("L'idée russe" — Париж, 1888), вышедшую в свет после чтения ее в парижском салоне княгини Витгенштейн (урожденной Багратион). Соловьев писал в ней, что "единственная истинная цель, единственная истинная миссия всякого народа" состоит в том, чтобы "участвовать в жизни вселенской Церкви, в развитии великой христианской цивилизации". Русская идея, исторический долг России виделся Соловьеву в том, чтобы "не действовать *против* других наций, но *с ними и для них*". Любопытно, что в своем письме Рачки защищает Россию от ... Соловьева! "Соловьев обвиняет Россию в грехах, которые свойственны другим народам в значительно большей степени. Все его упреки с успехом можно адресовать Германии. Россия же скорее — овца среди волков. К тому же прекроткая". На что Штроссмайер ответил, что телеграфировать надо не по-французски, а на нашем языке — "они там наш язык хорошо понимают". Что же касается Владимира Соловьева, Штроссмайер опасался, что он разочаруется в римской курии, ведь "Рим совершенно не то, чем он должен и мог бы быть".

Известно, какие последствия имела телеграмма Штроссмайера: правда, он предвидел недовольство австрийских властей и католических авторитетов. "Они будут злиться, — писал он Рачкому, — и в Загребе, и в Пеште, и в Вене, а может быть найдутся недалекие и недаленовидные в самом Риме, но напрасно. Вера Соловьева — святая вера". Беловарская встреча Штроссмайера с императором Австро-Венгрии в сентябре того же года, когда Франц-Иосиф обрушился на епископа с

резкими и бессмысленными упреками — одна из наиболее значительных страниц в биографии великого югославянского патриота и просветителя. С полным правом он сравнивал себя (в письме к загребскому другу) с апостолом, которому римский вельможа некогда сказал: "Insanis Paule" — Insanis — это мудрость Бога.

Второй приезд Владимира Соловьева в Хорватию состоялся вскоре после всех этих событий (28 ноября). Тогда он был погружен в раздумья о путях всемирно-исторического процесса и его метафизическом смысле.

Он задумал написать дарю письмо-манифест с изложением своих идей. Он мечтал о создании всемирной христианской монархии, в которой духовное руководство осуществлялось бы римским первосвященником, а во главе светской власти стоял российский император. Эта средневековая теократическая концепция, восходящая к утопии монархии Данте, в религиозной философии Соловьева приобрела новое обличье. Особая роль отводилась в его построениях католической Польше и южным славянам-католикам, которые, по замыслу Соловьева, призваны были способствовать объединению православного славянства с Западом. Зимой 1888 г. в Загребе и Джакове Соловьев подолгу беседовал об этом с Штроссмайером и Рачким. Панславизм Соловьева и его югославянских друзей носил ярко выраженный религиозно-мистический характер.

Следует подчеркнуть, что идеи славянского объединения исходили не из московского "славянофильского" источника. Они много старше. Их колыбель — Далмация. Около трех веков тому назад Мавро Орбини, аббат монастыря св. Иакова в Дубровнике, написал книгу о Славянском царстве, простирающемся от Адриатики до Северного океана и Китайской стены. Эта книга входила в папский индекс и была запрещена за прославление православного сербского князя Лазаря и героев Косовской битвы. Идеи Орбини наследовали в XVIII столетии другой аббат св. Иакова, дубровницкий поэт Игнат Джорджич, и его друг Джура Матияшевич, каноник римской церкви св. Иеронима.

В 1711 г. Матияшевич писал своему другу в Дубровник (письма его находятся в архиве Малой братии в Дубровнике, где мы с ними и ознакомились) о красоте, богатстве и распространенности славянского языка (иллирийский, то есть хорватский, русский, польский, чешский представлялись ему ветвями одного могучего ствола). Он выражал надежду, что после побед Петра он получит всеобщее признание наряду с языками других великих наций. Ни у Орбини, ни у Матияшевича не было случая познакомиться с Россией. Но другой югославянский “славянофил” Юрий Крижанич, тоже католический священник, ездил в Россию, где его панславистские идеи сразу нашли понимание. Не исключено, что они оказали влияние на славянскую политику Петра, который стремился заключить союз с Дубровником и адриатическими славянами.

Интересно отметить, что Франьо Рачки, который в молодости был каноником церкви св. Иеронима в Риме, — словно получил в наследство с этим саном панславистские идеи своего предшественника Матияшевича.

После смерти Владимира Соловьева, тридцатипятилетие со дня которой мы сейчас отмечаем, слава его перешагнула границы его родины. В последние годы появилось много исследований и диссертаций, посвященных жизни и философии великого русского мыслителя, на французском, немецком, итальянском и английском языках. Особенно большой интерес к философии Соловьева проявляют немцы и итальянцы. В то время как католически настроенные ученые, от монсеньера д'Эрбиньи (Herbigny) до поляка Владимира Шилкарского, профессора университета в Ковно, видели в Соловьеве борца за объединение западной и восточной церкви, немецкие и швейцарские антропософы (доктор Рудольф Штейнер, поэт и драматург Альберт Штефен) приветствовали учение русского философа как проявление свободной мистики. Со своей стороны, православные русские философы — Бердяев, Булгаков, Трубецкой — отрицают утверждение, будто Соловьев принял католичество, и находят в его идеях наиболее полное выражение

русского и православного духа. Вопрос о принятии Соловьевым католичества, несмотря на то, что, по мнению Е. Трубецкого, ему было свойственно “преувеличение римского католицизма и умаление значения православия”,⁹ снимается собственными свидетельствами Владимира Сергеевича. Так, в письме архимандриту Антонию Вадковскому от 8 апреля 1886 г. Соловьев писал: “... могу Вас обнадежить, что в латинство никогда не перейду“. А вернувшись из-за границы, где он имел возможность ближе и нагляднее познакомиться “как с хорошими, так и с дурными сторонами западной церкви“, он почувствовал себя “более православным, нежели, как из нее уехал“.¹⁰

В истории русско-югославянских отношений имена Иосипа Юрая Штроссмайера, Франьо Рачкого и Владимира Соловьева связаны навсегда. С этих титанов мысли и дела следует начинать новую историю идеи славянства, основа которой — глубокое взаимное уважение, взаимопонимание, любовь и стремление к вечному и непреходящему в человеческом обществе, хотя формы этого общества ни Соловьев, ни его югославянские друзья предвидеть не могли.

1935
(перевод с сербско-хорватского И. Лемеш
и И. Голенишевой-Кутузовой)

БИБЛИОГРАФИЯ

1. В. С. Соловьев. *Сочинения*, т. 8, СПб, 1903, с. 434.
2. Об этом огромном труде, проделанном им в совсем молодые годы, свидетельствуют обе его диссертации, магистерская и докторская: “Кризис западной философии: против позитивизма“ (1874) и “Критика отвлеченных начал“ (1880).
3. “Известия СПб славянского благотворит. о-ва“, 1884, № 6, с. 5–6.
4. *Вестник Европы*, 1889, кн. 12, с. 792.
5. *Вестник Европы*, 1889, кн. 6, с. 745.

6. В. С. Соловьев, *Сочинения*, изд. 2-е, т. 4, СПб, 1912, с. 573.
7. Š is ić F. *Korespondencija Racki — Strossmajer*, t. 1-4, Zagreb, 1928-1931.
8. В. Соловьев. *Письма*, т. I, 1908, с. 180-190.
9. Е. Трубецкой. Мировоззрение Вл. С. Соловьева. В кн.: Соловьев В. *Сочинения*, т. I, М., 1913, с. XI.
10. В. С. Соловьев. *Письма*, т. 3, СПб, 1911, с. 187, 189.

Валерий ЛЕПАХИН

РУССКАЯ ИКОНА В ВОСПРИЯТИИ ТЕОФИЛЯ ГОТЬЕ (Опыт рецензии с опозданием на 125 лет)

... Люди больше не понимают своей собственной национальной красоты, забывают свой исконный характер, отрицают свою древность, свое истинное исконное облачение. Преследуя пошлый идеал якобы правильного, они готовы разрушать чудные здания национального значения.

Les artistes, peu nombreux d'ailleurs, qu'a produits la Russie, ne sauraient constituer une école: ils sont allés faire leurs études en Italie, et leurs tableaux n'ont rien de particulièrement national... Est-ce à dire que jamais la Russie n'aura sa place parmi les écoles de peinture? Nous croyons qu'elle y arrivera lorsqu'elle se dégagera de l'imitation étrangère, et que ses peintres, au lieu d'aller copier des modèles d'Italie, voudront regarder autour d'eux...

*Théophile Gautier,
"Voyage en Russie", 1864-1866*

Теофиль Готье посетил Россию дважды: в конце 50-х и начале 60-х годов XIX в. Его заметки об этом путешествии до сих пор читаются с большим интересом, но, пожалуй, самое оригинальное и самобытное в его книге — это восприятие им русского церковного искусства: иконописи, фресок, зодчества, пения. Писатель приехал в Россию в определенной мере подготовленным к непосредственному знакомству с русской иконописью: он уже побывал в Греции, написал книгу о Константинополе, там он видел знаменитые мозаики, стенные росписи, иконы; Афон писатель считает для иконописца тем же, чем является для живописца Рим; в согласии с православной традицией, Готье без оговорок называет родоначальником иконописного искусства и автором первых богородичных икон св. апостола Луку; ему известно предание об эдесском царе Авгаре и чудесное происхождение образа Нерукотворного Спаса; он читал знаменитое пособие для иконописцев Дионисия из Фурны, цитирует его и предисловие к нему Дидрона. Эти страницы книги Готье не вошли в русский перевод, о чем можно лишь пожалеть, т. к. его цитаты из Дионисия и Дидрона

помогают понять то своеобразное “предпонимание”, выражаясь по Гадамеру, те готовые стереотипы видения и толкования иконописного искусства, с которыми он приехал в Россию.*

Православный храм порастил французского писателя прежде всего сверкающим иконостасом. Через пятьдесят с небольшим лет подобное впечатление вынес из русского храма французский посол в России Морис Палеолог, что он отметил в своих мемуарах, а спустя еще более полувека один из главных представителей “нового романа” Клод Симон в своем интервью назвал иконостас главным впечатлением, оставшимся у него от посещения русских церквей. Теофиль Готье отмечает иконостасы даже в часовнях: сияние их видно сквозь раскрытые двери еще с улицы (142). Внутри церковь представляется ему “золотой пещерой” (228) или “золотой печью” (395). Это впечатление создается именно иконостасом, который горит “глыбой серебра и золота” (384). “Леса свечей, созвездия люстр, — пишет он, — разжигали золото иконостасов, внезапные молнии металлических отблесков смешивались с лучами света, создавая ослепительное свечение” (395). Талант романтика, романтические пристрастия и стереотипы, повышенное внимание к экзотической стороне описываемого, а при ее слабой выраженности, — своеобразная “экзотизация” предмета или явления, — все это в полной мере проявилось у писателя уже в описании иконостасов, интерьеров церквей и их освещения, а позже и икон. В большинстве высказываний писателя чувствуется невидимое присутствие некоего идеала или образца, служащего точкой отсчета в его оценках русского зодчества, и, если такой точкой считать для Готье католический храм, не имеющий алтарной преграды, или тем более протестантский, с его аскетической внутренней белизной и простотой, то высказывания Готье перестают казаться

* Теофиль Готье. Путешествие в Россию. М., 1987 (стр. 199, 250, 283). Это прекрасно иллюстрированное старыми акварелями и гравюрами издание и послужило толчком к написанию этих заметок. См. также: Théophile Gautier. *Voyage en Russie*. Paris, 1901, p. 305–306, 307, 308. Далее в скобках указывается страница источника. Цитаты по французскому изданию помечены цифрой 2.

сильно преувеличенными. (Отдаленное представление о внутреннем освещении русского храма, считает писатель, может дать собор св. Марка в Венеции).

Иконостас поражает писателя не только своим сиянием, но и размерами, архитектоникой: “Иконостас — это великолепное сооружение, храм в храме с фасадом из золота, малахита и лазурита, с воротами из массивного серебра, а ведь это только внешняя часть алтаря!” — с восхищением пишет Готье об Исаакиевском соборе Петербурга (192–193). (В качестве аналога, способного дать некоторое представление о размерах иконостаса, Готье называет “гигантские” алтари испанских соборов). Заметно, что писатель видит только наружный, чисто внешний облик алтарной преграды, он обращает внимание на материал, на конструкцию, но от него совершенно ускользает назначение, религиозный смысл, идея иконостаса, его молитвенный, а не композиционный строй. Священник Павел Флоренский писал: “Иконостас есть видение. Иконостас есть явление святых и ангелов — ангелофания, явление небесных свидетелей... Иконостас есть сами святые”. (Собр. соч. т. I. Статьи по искусству. Париж, 1985, с. 219–220). Вышность иконостаса отодвинула на задний план, даже совсем затмила для Готье главное в иконостасе — быть не только и не просто изображением святых, а местом их реально-мистического присутствия, быть мощным активным призывом к молитве для каждого входящего в храм. Следует, правда, оговориться, что большая часть иконостасов, которые видел Готье, была действительно настолько пышно и богато украшена резьбой, подчас очень затейливой, золотом, серебром, что все это затушевывало и даже подавляло иконопись, тем более если это были “живописные иконы” XVIII–XIX вв. Богатейшие иконостасы XIX в. находились в резком контрасте по отношению к молитвенной аскетической простоте иконостаса, например, Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, находясь перед которым невозможно не почувствовать его тайный мистический смысл и призыв. Хотя Готье был и в этом соборе и описал его иконостас, но и здесь он видит прежде всего драгоценные камни, золото, серебро. Изображения святых, похожие в

глазах писателя—романтика на привидения, живут какой—то своей странной и суровой жизнью, таинственной и непонятной (272—273).

Сходно с этим и восприятие Теофилом Готье иконы. Первое чисто зрительное впечатление от иконы у него — световое. Он видит вначале не собственно икону, а ее серебряный или золотой оклад, отражающий свет горящих перед ней лампад и свечей. Будь то часовня св. Николая Чудотворца на Благовещенском (ныне лейтенанта Шмидта) мосту, будь то собор, церковь или “комфортабельная русская квартира”, или даже постоялый двор, — “сияющие оклады” своими золотыми отблесками прежде всего привлекают внимание писателя (64, 101, 228, 271, 273, 395).

Вслед за тем или вместе с тем храмовые иконы поражают Готье роскошью своих окладов, что относится преимущественно к особо почитаемым святыням, таким, как образ Владимирской Богоматери в Успенском соборе Кремля. Писатель подробно перечисляет названия драгоценных камней, украшающих оклад, ризу, венец и цату, называет цены во франках бриллиантов и позолоченного серебра, поражается, что икона Богоматери украшена богаче, чем любая царица или императрица, и называет эту роскошь “безумием” (250). Вместе с тем он не может не заметить и не отметить, что эта роскошь не самоцель, что такие оклады “производят религиозный эффект и выглядят великолепно... В сумраке, в неровном свете лампад они окружаются сверхъестественным ореолом” (250). Готье видит в этом богатстве и этой пышности варварское начало, противопоставляя его западной изысканности, но никогда не отрицает, а даже многократно подчеркивает “сильное воздействие” заключенных в богатые оклады икон.

Сколько бы мы ни искали в очерках писателя еще каких—либо причин “религиозного эффекта”, как он выразился, мы не найдем других, кроме названных выше. А как же собственно иконопись? Где же прекрасные *лики* святых, поражающие русского человека своей духоносностью и святостью, призывающие к покаянию и молитве. Как это ни поразительно, но именно *ликов* Готье

не увидел. Когда он хочет дать представление французскому читателю об окладе, он говорит, что это штампованный лист металла “с прорезями на месте лиц и рук” (101), его внимание словно приковано к самим этим вырезам в окладе. Но что же видно в этих вырезах! И писатель объясняет, что святые жены и мужи “продевают”, “просовывают” сквозь эти прорези свои “темно—коричневые головы и руки”, “коричневые лица” (249, 279); прорези оставляют на виду темные части живописи (267). (... la Madone byzantine avec son enfant, montrant leur face et leurs mains brunes à travers les découpures des plaques d'argent ou de vermeil; ... ces images à l'air d'idôles qui vous regardent à travers les découpures de vermeil des iconostases; ... à travers les découpures de l'orfèvrerie, les mères de Dieu, les saints et les saintes passent leurs têtes brunes et leurs mains aux tons de bistre; ... l'iconostase, dans les découpures de ses estampages d'or, laisse voir les têtes brunes des saints grecs — 2, 128, 261, 276, 300). Несколько раз писатель отмечает “пристальные”, “суровые”, “огромные” глаза святых на иконах и фресках (228, 249, 283); Богородица смотрит на него “очами темными и неподвижными, как вечность” (2, 160), но собственно лика, всего лика он и в этом случае не видит. То, что для православного стоит на первом месте, что не может заглушить или подавить никакая роскошь, никакой блеск, т. е. ангельский вид святых, которые, по словам о. Павла Флоренского, “являясь восхищенному умному взору ... свидетельствуют о Божием тайнодействии ... *своими лицами*” (курсив Флоренского — *В. Л.*), то проходит почти незамеченным у Теофила Готье. Вся духовная литература в защиту икон и иконопочитания — жития, проповеди, популярная литература на благочестивые темы свидетельствуют, что для православного восприятия главное в иконе. — Лик. Небесным ликам святых на иконах посвящено столько глубоких богословских построений и откровений, столько искусствоведческих страниц, пропето столько поэтических гимнов! Именно лики святых создают молитвенное настроение, именно к ним прибегают с молитвой. Верующее сознание умеет не останавливаться вниманием на окладе, каким бы богатым и

сверкающим он ни был, но проходит мимо него и сквозь него и припадает с мольбой и благоговением к Лику. Лик Спасителя, Богоматери или святого — главный, хотя и не единственный, источник религиозного эффекта (говоря словами писателя) иконы. Конечно, большей частью Готье видел новые иконы невысокого художественного достоинства, но среди описываемых икон были и шедевры древнерусской и византийской иконописи. Тем не менее, иконописных ликов в заметках писателя нет.

К иконографии Готье обращается, когда пишет о фресках храма Василия Блаженного и Успенского собора Кремля. Монументальные росписи этих храмов воспринимаются им как сплошной ковер из фигур, на котором золотой, зеленый, красный, синий цвета соединены, гармонизированы “с редким вкусом” (256), т. е. несмотря на работу чистым локальным цветом, художникам удалось избежать пестроты, свойственной, например, росписям посуды, детских игрушек или народным вышивкам.

Вначале у писателя создается впечатление статичности, неподвижности, “застывшей архаики” изображенных фигур, но постепенно взгляд его начинает различать движение, динамику в расположении священных изображений. Он чувствует, что святые в храме “окружают” зрителя “молчаливой толпой”, они “восходят и нисходят” по стенам, как по холмам, “склоняются” на сводах, двигаются цепочкой (249 и др.). Готье признает, что в этих внешне статичных фигурах теплится своеобразная таинственная жизнь — святые “живут на стенах своей жизнью” (228), они “пристально смотрят”, благословляют, грозят (249). То, что в отдельно взятых фигурах показалось ему омертвевшим схематизмом, вдруг, в своем подчинении архитектурным формам, раскрылось как удивительная, по-своему гармоничная жизнь и — динамика. Оказалось, что динамика выразима и в древнерусских храмовых росписях и иконостасах наглядно выражена через статику. Это одно из важнейших личных открытий писателя.

В отдельной главе своего “Путешествия” Готье как профессиональный художественный критик пытается осмыслить и обобщить свои наблюдения относительно

специфики иконописи. Прежде всего он отмечает ее верность византийской традиции, утверждая, что старые мастера-иконописцы из Салоник византийской эпохи остались бы довольны работами иконников Троице-Сергиевой Лавры (282). Для Готье искусство иконописания — “неизменное” (281), которое “не страшась, веками повторяется” (271), в котором нет совершенствования (281). Он констатирует, что для иконописи эпоха Возрождения не наступала (281), и итальянские мастера никак не повлияли на нее (281). Он обращает внимание на архаичный стиль рисунка в иконах (142), напряженность и условность поз святых, изображенных на них (281, 197); он отмечает отсутствие всякого стремления к внешним эффектам и, главное, — к иллюзионизму, т. е. отсутствие даже попыток хоть как-то “оживить” фигуры и лица в плане их приближения к жизни, к натуре (197). По его мнению, на долю фантазии художника в иконе и фреске ничего не остается, поскольку искусство это каноническое и “формула его точна, как догма” (281).

Готье сочувственно и с полным доверием цитирует упоминавшуюся статью Дидрона, утверждавшего, что иконописец в Греции — “раб богослова”, что на долю изографа остается лишь исполнение, так как “изобретение”, “составление”, “композиция” (*invention*) и “идея” (*idée*) иконы принадлежит св. Отцам, богословам, Православной Церкви в целом (2, 308). Последние слова Дидрона являются лишь свободным изложением одного из постановлений VII Вселенского Собора, вероятно, известного ему по какому-нибудь греческому источнику. Интересно отметить, что те же слова цитирует в “Иконостасе” о. Павел Флоренский (стр. 224 в парижском издании), но уже, конечно, в положительном контексте (кстати, он приводит греческое слово оригинала *διὰ τὰ ξίς*, что у Дидрона передано как “*invention*” и “*idée*”). Для о. Павла признание св. Отцов творцами икон означает не рабство иконописца, а единственно возможный для него путь и способ сделать икону тем, чем она должна быть: видимым онтологическим свидетельством мира невидимого, Царства Небесного, доступного и открытого в этом мире лишь святым.

В “Путешествии” разбросано множество критических замечаний в адрес икон. Они рождаются у писателя, когда он смотрит на иконопись как бы со стороны, как человек, воспитанный на других представлениях о прекрасном, как художник, оценивающий икону с позиций европейской эстетики своего времени.

Именно тогда Готье не различает византийскую и русскую иконопись, хотя был в Греции, а, значит, видел и те и другие иконы воочию.

Именно тогда у него возникают несколько наивные замечания о том, что старые византийские изографы остались бы довольны своими последователями середины XIX в., в чем следует сильно усомниться; или замечания о том, что даже эксперты могли бы признать новые русские иконы за греческие XI–XII вв. (142, 228, 236, 267).

Именно тогда писатель подчеркивает, что эпоха Возрождения для русского искусства и для иконописи вообще не наступала, упуская из виду, что подражание итальянским мастерам (все же имевшее место) означало бы конец собственно иконописи, как искусства принципиально отличного от живописи, что и случилось в Италии эпохи Возрождения.

Именно тогда писатель замечает только неподвижность, архаику и статику как в лицах, так и в отдельных фигурах и в композиции целых сцен.

Именно тогда он относит к недостаткам иконописи отсутствие в ней стремления к иллюзионизму или, говоря языком русского XVII в., — “живоподобию”.

Именно тогда он выражает сочувствие иконописцам, воображение которых в иконописи не находит для себя пищи.

Но когда Готье смотрит на икону не глазами европейского эстета, а скорее “варвара-романтика”, как он сам себя иногда называет, когда рефлектирующее эстетическое восприятие дополняется непосредственным чувством, тогда его оценки иконописи становятся двойственными: почти каждое критическое замечание неизбежно начинает требовать после себя “но”.

Да, конечно, жаль, что иконопись ничего не заимствовала у итальянских мастеров, но иконы, написанные с использованием живописных приемов (масло, “правдивые

тона”, менее условный цвет, рельефность — 284), из-за своей эклектичности нравятся писателю меньше, и он подчеркивает, что старая традиционная манера ему больше по вкусу (284).

Конечно, лица и фигуры неподвижны, но, пожалуй, это только на первый взгляд. Чувство статичности обманчиво. Все дело в том, что статика в иконописи — форма выражения динамики, статичность в плане физическом подчеркивает динамику в плане духовном, усиливает ее напряженность.

Бесспорно, иконописец “скован” каноном, он не находит применения своей фантазии, но ведь собственно искусство и занимает его меньше, чем религиозное чувство, явно различимое: икону пишут, “как служат службу в церкви” (283). И, может, благодаря этому (и вопреки фантазии!?) иконописцы “расцвелили православные церкви столь бесконечным множеством образов” (282).

Без сомнения, мадонна Рафаэля прекраснее, пишет Готье, но и икона производит *свое* впечатление (228, 271).

Писатель чувствует эту двойственность своих оценок и постепенно формулирует свой подход к иконе: “с точки зрения искусства” и с точки зрения ее функции (282 и др.). Иногда он говорит “с точки зрения искусства и науки”, имея в виду скорее всего анатомию, линейную перспективу, светотеневую моделировку и т. п. (2, 160). Готье подчеркивает, что иконопись — искусство “идеальное” (284), “священное” (281), что оно заботится прежде всего об “ортодоксальности” (271), что оно “с самого начала нашло единственно необходимую ему форму” (282) и поэтому не нуждается в заимствованиях. Он отмечает, что иконопись проистекает из другого источника, чем искусство “латинских народов”, вследствие этого можно и даже нужно прилагать разные критерии к западному и византийско-русскому искусству. Лейтмотивом большинства высказываний французского писателя становится бинарное “у нас” и “у них”. Пишет ли Готье об архитектуре, фресках, иконах или музыке, почти каждый раз в затруднительном случае, как к палочке-выручалочке, он прибегает к разделению “чисто эстетического” и функционального подходов.

Когда писатель говорит об архитектуре, преимущества классического стиля для него стоят вне всякого сомнения (даже если речь идет о православном храме), потому что “классические формы вне моды и времени”, они не могут “устареть”, они “могут лишь восхищать” (207). Но вслед за тем Готье пишет о “византийско-московском” или “греко-русском” стиле, как он его называет, следующее: “На земле нет более свободной, своеобразной, независимой от правил — словом, более романтической архитектуры, которая с такой фантазией сумела бы осуществить свои безумные капризы” (239). В другом месте он признается, что русский стиль он “хотел бы видеть повсюду в России”, ведь он “так хорошо соответствует православному культу” (62).

Когда Готье пишет о православной музыке, он также противопоставляет ей западную музыку: “У нас есть музыкальные произведения, конечно, более умелые (*plus savantes*) и прекрасные...” (303). И все же в православной музыке он находит “таинственное величие и невыразимую красоту” (303), воздействию этой музыки, подчеркивает писатель, “поддаешься, даже не разделяя вдохновившей ее веры” (362).

По этому типу построены и многие его высказывания об иконах: конечно, “в отношении самого искусства, например, живописи, русская церковь не может соревноваться с западной” (273, 250), но иконы и фрески “поражают воображение”, они “производят религиозное впечатление, которого не достигли произведения более развитого искусства” (228). Западное искусство для Готье “более развитое”, и когда он говорит о “чисто эстетической” оценке, то имеет в виду (сам, видимо, не сознавая этого) оценку с позиций европейской эстетической теории середины XIX в., ярким выразителем которой он был в своих статьях и предисловиях к своим произведениям. Эта теория подсознательно остается для него вершиной эстетической мысли, универсальной эстетикой, годной для оценки любого художественного произведения любой эпохи.

Кроме того, для Готье “чистое искусство” лежит вне какой-либо утилитарной функции. Как сторонник теории “искусства для искусства”, писатель отрицает функцио-

нальный характер “чистого искусства”; незаинтересованное эстетическое наслаждение — вот единственное, что должен дать художник зрителю или читателю. Но принципиальные различия между иконописью и живописью лежат главным образом не в функциональной области. “Эстетическое наслаждение”, пусть даже незаинтересованное, — тоже проявление одной из функций искусства. Главное же состоит в том, что эстетическое чувство при созерцании живописного произведения — самоцель, сознание зрителя обогащается эстетическими переживаниями и эстетико-гносеологическими открытиями, но оно остается в своих пределах. Иконопись же стремится не только произвести художественный эффект, но и оказать религиозное воздействие, эстетика для нее не самоцель, а средство для того, чтобы вывести сознание созерцающего икону за пределы изображенного, за пределы видимого, чтобы красотой вызвать молитву и через нее ввести в Богообщение. Поэтому для иконы прекрасно лишь то, что помогает молитве, икона решительно отсекает все могущее помешать молитвенному чувству, ее красота — аскетична.

Разница между эстетикой иконы и эстетикой картины, берущей свои истоки в эпохе Возрождения, пролегал в области мировоззренческой. Секуляризованное художественное сознание идет по пути идеализации, типизации или карикатуризации видимого и видимых форм и эстетического созерцания их. Религиозное сознание стремится путем творчества символов снять видимый покров с действительности, прозреть ее идеальную Божественную основу. Красота иконы поэтому противостоит красоте картины эпохи Готье, а это значит, что к иконописи нельзя подходить с мерками новой секуляризованной эстетики. И заметки писателя в своей критической части очень ярко свидетельствуют об этом. Готье быстро почувствовал бессилие своей эстетической теории по отношению к иконе и, хотя неясно и нечетко, но выразил это с помощью двух подходов, которые нередко сливаются у него в один, но двойственный подход. Тем самым косвенно он признал, что главное различие между иконописью и живописью лежит не в области эстетики, а

мировоззрения. Живопись — это плод секуляризованного мышления, иконопись — религиозного. Религиозного не по сюжету (таковой может быть и картина), но по духу.

В русском переводе книги Готье в одном из примечаний говорится: “Готье не раз высказывает свое отрицательное отношение к древнерусской иконописной и фресковой живописи, увиденной им в русских церквях и в частных коллекциях, утверждая, что она, по его мнению, нося неизменно только подражательный характер, не является областью подлинного искусства. Это, возможно, явилось причиной того, что Готье было отказано в работе над будущим многочастным изданием “Сокровища древнего и современного русского искусства” (вышла только первая часть), ради осуществления которого он и приехал в Россию” (282). Как мы пытались показать, взгляды Теофиля Готье на иконопись сложнее и противоречивее, чем следует из этого примечания. Некоторые высказывания писателя не потеряли своего значения до сих пор. Иногда он видит и понимает икону гораздо глубже и пишет о ней гораздо интереснее, чем его ученые современники, и тем более глубже и справедливее, чем почти через сто лет писали об иконах адепты вульгарного социологизма в Советской России 30-х, 40-х и даже 50-х годов. Заметки Готье превосходят их как своей самобытностью, свежестью взгляда, пронизательностью наблюдений, так и теоретическими обобщениями.

В своих работах Теофиль Готье ставит перед искусством следующую задачу: идеально перевоплощать действительность, изображать не предметы, а образы предметов. Это он относит к искусству вообще. В “Путешествии” он делает попытку дать определение иконописного искусства: это есть “символическая манера воплощать идею при помощи заранее канонизированных фигур” (284). Определение это с некоторыми оговорками и расшифровкой понятий в духе соборных постановлений об иконописании и иконопочитании, на наш взгляд, приемлемо и в настоящее время, хотя, бесспорно, сам Готье вкладывал в него несколько другой смысл. ■

А. СОЛЖЕНИЦЫН

НЕВИДИМКИ

(“Бодался теленок с дубом” — Пятое Дополнение)

В 1975 г. в издательстве «УМСА—Press» вышла книга А. Солженицына “Бодался теленок с дубом”. В состав ее, однако, не вошло Пятое Дополнение — “Невидимки”, написанное автором в 1974-75 годах в Швейцарии, сразу после изгнания. Эта глава — о грузях и помощниках, кто был рядом с автором в его писательском подполье. Более ста человек, упоминавшихся в “Невидимках”, — не могли быть тогда публично названы, ради их безопасности.

Теперь мы печатаем один из четырнадцати очерков этой главы.

Очерк 9

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА СТОЛЯРОВА

Когда в 1906 году на Аптекарском острове в Петербурге намечено было революционерами взорвать дачу Столыпина и так убить его вместе с семьей (и убили три десятка посетителей и три десятка тяжело ранили, с детьми, а Столыпин остался цел), — одна из главных участниц покушения, “дама в экипаже”, была 22-летняя эсерка-максималистка Наталья Сергеевна Климова, из видной рязанской семьи. Она была арестована, вместе с другими участниками покушения приговорена к казни. Сама Климова не просила помилования, но это сделал за нее отец, ни много ни мало — член Государственного Совета. По его просьбе император помиловал двух участвовавших женщин — Наталью Климову и Варвару Терентьеву, купеческую дочь. Заменяли им на вечную каторгу. (В ожидании казни Наташа Климова написала на волю

предсмертное письмо, которое было позже напечатано и вызвало печатный же отзыв С. Л. Франка: оно “показывает нам, что божественная мощь человеческой души способна преодолеть” даже страдания от неотвратимости насильственной смерти, “эти шесть страниц своей нравственной ценностью перевесят всю многотомную современную философию и поэзию трагизма“.) Начало срока Климова отбывала в Новинской тюрьме в Москве, там скоро очаровала и духовно подчинила надзирательницу — и с ее помощью устроила знаменитый “побег тринадцати” женщин. (В советское время был написан киносценарий об этом побеге, но съемка запрещена, так как среди беглянок не было ни одной большевички.) На воле уже их ждали. В ночь после побега Климову отвезли в дом либерального адвоката, где она и жила в безопасности месяц, пока жандармы стерегли рязанский дом Климовых и имение. Затем она приняла облик глубокого траура, и адвокат проводил ее на поезд, идущий в Сибирь. Она перебралась в Японию, а оттуда поплыла в Лондон — к Савинкову, снова в Боевую Организацию (террористическую). Под Генуей на “даче амазонок” собирались бежавшие из Новинской и другие политкаторжане. Тут она вышла замуж за революционера-эмигранта Ивана Столярова, родила от него двух девочек. В 1917 он уехал вперед, в петроградское кипенье, оставив жену беременной. Но третья девочка вскоре после рождения умерла от испанки, двух старших мать успела выходить, на сама тоже умерла.

Настолько тесно сходилась тогда в Париже вся революционная Россия, что нашелся из той же Рязани, с той же улицы, из соседнего дома сын рязанского судьи Шилловский, тоже политэмигрант, меньшевик, который удочерил и воспитал девочек (старшая из них — Наташа). Хотя говорят, что две любви не уместаются в сердце, у Наташи уместились и полночувственная любовь ко Франции и пронзительно-преданная к России (не к революции, которой служила мать). В начале 20-х годов, 11-летней девочкой, Наташа ездила в гости к отцу в Петроград (тогда это возможно было, еще и в Рязани центральный сквер тогда звался именем Климовой — родной дом ее непода-

леку, у того сквера) — и загадала, что непременно сюда вернется, — вот, когда ей будет 20 лет. Сестра ее Катя, оставшаяся во Франции, говорит: Наташа очень повторяла мать — яркостью характера, благородством всеобъемных намерений, высокими движениями души и вместе — взбросчивостью к действию, дерзостью в совершении его. Так и свой замысел — вернуться на родину, она провела неуклонно, при трезвых отговорах и справедливых огорчениях парижского эмигрантского круга: когда не ехал никто, когда это было безумием явным — в декабре 1934, сразу после убийства Кирова! (И — никогда не пожалела, даже в лагерной пропасти, а тем более теперь, уже и свои руки приложив к возрождению духа страны. Если б, как она, миллионы теснились бы так — в огонь и в опасность, может текла бы наша история побыстрей.)

Отец Наташи уже был и сослан под Бухару в эсеровской куче, и вытасчен оттуда Е. П. Пешковой (она и сама была эсерка в прошлом), теперь встретил дочь, — а на расстрел арестован уже после ареста дочери. Наташе дали все-таки два года если не России, то советской воли, арестовали в 1937 (добровольное возвращение в Союз? конечно шпионка; ну, не шпионка, так контрреволюционная деятельность). В первой же лубянской камере она встретила... товарку своей матери по побегу из Новинской тюрьмы! прошла жестокий общий путь (и он — не соскользнул с ее души, не забылся, горел) — и особенно жестко достался ей слишком “ранний” возврат на волю, в 1946, когда еще никто не возвращался, еще это было непривычно слишком, не готова была советская воля принимать отсидевших эзков. После многих злоключений она в 1953 сумела (и то — ходатайством Эренбурга и других влиятельных лиц) получить право поднадзорного житья в родной Рязани, откуда мать так легко ушла на революцию. Преподавала здесь французский. Годы ушли у нее и на бурную личную жизнь и, наверно, сама она еще не подозревала, что прикоснется ко взрывным действиям против советского режима.

Потом облегчалось время — разгибалась и Наталья Ивановна. В 1956 переехала в Москву; дочь Эренбурга (с которой Н. И. училась в одной школе в Париже) угово-

рила отца взять Н. И. секретарем. К нему как к знаменитости лились письма с просьбами, шли просители, и многие из них были бывшие зэки — так Н. И. пришлось очень к месту. (У Эренбурга и дослужила она до его смерти.)

В Рязани же бывший климовский сквер, в угрожаемой близости от обкома партии, горожанами теперь избегаемый и обкому ненужный, я застал безмянным, никакого следа никакой Климовой. Я узнал всю историю от самой Н. И., когда она объявила мне о нашем двойном землячестве: по Архипелагу и по Рязани.

Это сделала она весной 1962, схитрив (и невинная хитрость, и решительность — все ее): передала мне через Копелева, что нечто важное должна мне сообщить (а просто — хотела познакомиться; он объяснил мне, что — бывшая зэчка). То было время таинственных движений рукописи “Денисовича”, уже известно было, что в числе других, имеющих вес, читал Эренбург. (Никому только не известно, как он мог прочесть из первых, когда Твардовский меньше всего с ним собирался делиться. Все придумала Н. И. Прослышав о повести, она пошла в редакцию “Нового мира” и у Закса просила рукопись от имени Эренбурга. Закс поворчал, но такому имени отказать не решился. Посмотрела — а на первой странице новомирцами написанное: “А. Рязанский” — и ахнула. Тотчас отправилась к другу-фотографу — Вадиму Афанасьеву (“Кожаная куртка”, муж ее двоюродной сестры, он и для нас потом иногда работал, помогал). И лишь затем отнесла Эренбургу. — Бедный А. Т. не оценивал современных технических средств. И так запорхало по самиздату, к его недоумению и тревоге, к моей глупой тогда радости, на самом же деле — губительно-опасно для судьбы повести.) Теперь сообщение Н. И., очевидно, с какими-то новостями о движении рукописи, о мнении важных лиц? — и я довольно нехотя позвонил ей по эренбургскому телефону, как она предложила. Наталья Ивановна тут же настойчиво пригласила меня в квартиру Эренбурга. (Ничего не сказано было прямо, но из ее оживления и настояния так можно было заключить, что ее патрон сидит там рядом и изнывает.)

Я пришел. Эренбург (которому повесть, кстати, сильно не понравилась) оказался ни при чем и за границей, но сидели мы в его кабинете. Н. И. сплетала какие-то новости, однако их явно не набиралось, чтоб оправдать мой визит. (А она, наверно, искала, как подбодрить автора?) На кого б другого я б рассердился тут, но на старую зэчку с сохраненным живым чувством нашего племени и памятью наших островов не мог. Да и она звала меня не просто подивоваться, но и — проверить, убедиться, насколько устойчиво во мне мое направление, насколько готов я к ближайшим для меня испытаниям, не отмят ли меня в сторону, не засиропят ли. Разговор наш сразу обминул литературные темы, стал по-зэчески прост, и я невольно переступил границы осторожности, обязательные для советского, а тем более литературного, передатчивого мира; коснулись восстаний в каторжных лагерях, услышал от нее: “Так об этом же всё написать надо!” — не смолчал, не плечами пожал, но приоткрыл: “Уже написано!” И в ответ увидел — вспышку радости. Уже на пороге, вполголоса от эренбургских домашних, напутствовала: не ослабнуть, не свихнуться на предстоящей славе. “Не бойтесь! — заверил я спокойно, — не свихнусь!” (Потом говорила: “Именно отсюда и пошла моя к вам преданность. Да с каким предчувствием? — выйду из квартиры, спущусь на марш — вдруг сильно тянет назад. Что забыла? вернусь — и ваш телефонный звонок. И так — несколько раз.”) Уж это-то я знал твердо, что славой меня не возьмут, на стену советской литературы всходил напряженной ногой, как с тяжелыми носилками раствора, не пролить. А вот сегодня — не пролил? не сказал лишнего? Говорило сердце, что — нет, что и а ш а . Так и оказалось.

С установившимся между нами сочувствием виделись мы мельком раза два, существенного не добавилось, но доверие у меня к ней укрепилось. Странные у нее были сочетания: самых путаных представлений о мировых событиях — и неколебимого отвращения к нашему режиму; крайней женской беспорядочности, нелогичности, в речи, в поступках, — и вдруг стальной прямоты и верности, когда касалось главного Дела, четкого соображения,

безошибочно дерзких решений (это я потом, с годами, все больше рассматривал). Превосходного воспитания, чутко-тактичная, ненавязчивая, легкая — и надменно твердая перед ГБ (годами позже достались ей опять допросы, на Лубянке, только не нашу главную линию уследили).

Вдруг как-то через годок Н. И. со своими друзьями приехала в свою старую Рязань, заглянули ко мне. И почему-то в этот мимолетный миг, еще не побуждаемый никакой неотложностью (еще Хрущев был у власти, еще какая-то дряхлая защита у меня, а все ж не миновать когда-то передавать микрофильмы на Запад), — я толчком так почувствовал, отвел Н. И. в сторону и спросил: не возьмется ли она когда-нибудь *такую штуку* осуществить? И ничуть не поколеблясь, не задумавшись, с бестрепетной своей легкостью, сразу ответила: да! только — чтоб не знал никто.

Первороденное наше доверие сразу сделало скачок вперед.

Капсула пленки у меня была уже готова к отправке — да не было срочности; и пути не было, попытки не удавались. Но когда в октябре 1964 свергли Хрущева! — меня припекло: положение привиделось мне крайне опасным: острые зубы врага должны были быстро, могли и внезапно, лечь на мое горло. (Предусмотрительно приписывал я режиму его прежнюю революционную динамику, как рассчитывался он со многими до меня. Оказалось: динамика настолько потеряна, что для этого прыжка еще понадобится: до первого обыска — 11 месяцев, до первого решительного удара — 9 лет.) Известие застало меня в Рязани. На другой день я уже был у Н. И. в Москве и спрашивал: *можно ли?* когда?..

Отличали всегда Наталью Ивановну — быстрота решений и счастливая рука. Неоспоримое легкое счастье сопутствовало многим ее, даже легкомысленным, начинаниям, какие я тоже наблюдал. (А может быть — не легкое счастье, а какая-то непобедимость в поведении, когда она решалась?) Так и тут, сразу подвернулся и *случай*: сын Леонида Андреева, живущий в Женеве, где и сестра Н. И., они знакомы, как раз гостил в Москве.

Н. И. сощурилась и решила: попросит Вадима Леонидовича, уверена — не откажет!

Она назначила мне приехать в Москву снова, к концу октября. К этому дню уже поговорила с Вадимом Леонидовичем. И вечером у себя в комнатухе, в коммунальной квартире, в Мало-Демидовском переулке, дала нам встретиться. В. Л. оказался джентльмен старинной складки, сдержанный, чуть суховатый, отменно благородный человек, — и, собственно, это благородство уже и закрывало ему возможность выбора, возможность отказать в такой просьбе — для русской литературы да и для советских лагерей, где и его родной брат Даниил долго сидел. (Уверяла меня потом Наталья Ивановна, что В. Л. считал такое предложение для себя и честью.) И жена Ольга Викторовна, падчерица эсеровского лидера Чернова, была тут же, весьма приятная сочувственная женщина, одобрявшая решение мужа и разделявшая все последствия. И вот они, формально такие же советские кролики, как мы, не защищенные не только дипломатическим иммунитетом, но даже иностранным гражданством (паспорта у них были советские, в послевоенном патриотическом энтузиазме части русской эмиграции В. Л. перешел в советское гражданство, отчасти чтобы чаще и легче ездить на родину), — они брались увозить взрывную капсулу — всё, написанное мною за 18 лет, от первых непримиримых лагерных стихотворений до “Круга“! Да не знали, не вникли они, что именно там есть, но достаточно вникли, что — взрывчатое. И — везли, такое решение уже состоялось прежде нашей встречи.

Этот вечер тогда казался мне величайшим моментом всей жизни! Что грезилось еще в ссылке, что мнилось прыжком смертным и в жизни единственным — вот совершилось обыденно тихо, в вежливом негероическом разговоре. Я смотрел на супругов стариков как на чудо. О самой операции почти даже не говорили. Вынул я из кармана тяжелую набитую алюминиевую капсулу, чуть побольше пинг-понгового мяча, — приоткрыл, показал им скрутки — положил на чайный столик, у печенья, у варенья. И Вадим Леонидович переложил в свой карман. Говорили же — о синтаксисе, о месте прилагательного

относительно своего существительного, о жанрах, о книге “Детство” самого В. Л., вышедшей в СССР и которую я читал. А Наталья Ивановна подбила меня рассказать о самом поразительном, что я в себе носил, — о лагерных восстаниях. Старики-женевцы слушали, изумленные.

И неужели вот так просто сбывается — вся полная мечта моей жизни? И я останусь теперь — со свободными руками, осмелевший, независимый? Уже *такой* остроты, *такой* опасности — никогда не повторится! Вся остальная жизнь будет уже легче, как бы с горки.

И дар такой принесла мне Наталья Ивановна! — *Ева*, как я стал ее вскоре зашифровано называть. Случайность и даже лукавство было в нашей первой ненужной встрече у Эренбурга. А через такие неузнаваемые случайности врезалась лучами неизбежность: получить помощь от зэческого континента, и от осколков разметанной эмиграции, и от Рязани, — от России.

31 октября 1964 года, через 2 недели после воцарения Коллективного Руководства, моя маленькая бомба пересекла границу СССР в московском аэропорту. Она просто лежала в боковом кармане пиджака В. Л., он не знал никаких приемов, — а таможенник, по паспорту, поинтересовался: вы не сын писателя? И дальше пошел разговор о писателе, досмотра серьезного не было. Капсула прошла как бы под сенью Леонида Андреева. (Казалось тогда — благоприятной.) Ева провожала друзей, и те еще успели дать ей понять об успехе — переговариваясь с одной воздушной галереей на другую.

Когда через год провалился мой архив у Теуша, и следа уже не было прежней легкости от отправки, но вся жизнь, казалось, была погребена под навалом черных скал, я мрел на даче Чуковского, — вдруг к ужину как ангел светлый (но в темном поблескивающем платъи) приехала к Корнею Ивановичу по какому-то делу — Ева! — да только что из Парижа, еще овеванная тамошней легкостью, еще не адаптированная снова к нашей собачьей хватке. Она не ожидала меня здесь, я не ожидал ее! Ее приезд был просто сверхчудом (опасаясь дать след, я не мог бы ни позвонить ей, ни приехать, а так нужна была живая ниточка — *туда*, в свободный мир!). Мы сделали

вид, что незнакомы, и Корней Иванович снова знакомил нас. За ужином Ева слушала, слушала о нагроможденности здешних преследований и вырвалось у нее: “Да, в этой стране не соскучишься!” Это — сразу после Парижа (где могла она остаться навсегда), — но вот удивительно: опять без нотки сожаления и о своем нынешнем возврате! Потом надумал К. И. провожать ее на станцию, а мне-то надо было говорить с ней в этой вечерней тьме, секретно, — еле убедил я с полдороги К. И. и Люшу вернуться. А мы с Евой брели дальше на станцию, какой-то счастливый дождь на нас лил, мы говорили и уговаривались как всегда сбивчиво, с ней не сбивчиво нельзя, — и ощущение было просто небесной поддержки, такой всегда легкой, улыбчивой, бескорыстной.

Ева стала для меня — вторым воздухом. Только через нее моя подземная работа вдруг освещалась лучиком *оттуда* — как движутся *там* наши дела, перевод “Круга” на английский. Довольно было ей дать мне знать, выразить намерение, — мы встречались тотчас. И во всякий приезд в Москву я старался увидеть ее. Где только не вели мы с ней наших переговоров: то, встретясь будто бы случайно в книжном магазине в доме Эренбурга, бродили по проходным дворам и скверикам центра (так открыла она мне бахрушинский двор, где, не ведал я, с 70-го года будет жить моя будущая семья и откуда возьмут меня на высылку); то — бульварами; то — во дворе Петровского монастыря; то — приезжала она ко мне на дачу в Рождество, и мы отсаживались ото всех или уходили в лес, разговаривать привольнее. Необходимость стольких встреч, договоров, пере-уговоров и пере-пере-уговоров не столько диктовалась самим делом, сколько объяснялась свойствами нашей (она уже и с Люшей была *закорочена*) подруги: в живом разбросчивом разговоре, сама же нарушая его систему, она постоянно упускала что-то важное, потом тревожно звонила, что надо встретиться, — и выясняла (и то не окончательно) это упущенное. Я постоянно упрекал ее (а она — меня) в неосторожности, в опрометчивости, но вот поразительно: она путала во второстепенностях, а как наступало решительное — действовала четко, смело, куда все промахи? В самые опасные

моменты ее охватывало не только бесстрашие, но и крайняя “натуральность” поведения, — вероятно, как и у матери ее. (А как Ева читала готовый “Архипелаг”! — вот это ее стиль: потащила все три тома машинописи на свою службу — на квартиру Эренбурга. А он как раз в эти дни — да умер. Тут начнется — опись, комиссия? Кинулась уносить, жена Эренбурга задерживает: “Что выносите?” Вскипела: “Да неужели вы меня за столько лет не знаете, можете подозревать?!” Унесла.)

Напряженный темп *дела* очень гнал меня всегда, не хватало времени просто с ней поболтать или полюбоваться. Но эманациями ото всех, от многих встреч соединялось: какое прирожденное неусыпное благородство в ней (не допустить движенья на низшем уровне), как она пронизана щедростью, как соединяются в ней — гордость, и ненавязчивость, и совершенная дружеская простота. Только “под потолками” не разговоришься (квартиру Евы, теперь в Даевом переулке, я считал весьма ненадежной, Ева свободно встречалась со всякими иностранцами и презванивалась часто — а в этом-то и была ее дерзкая тактика открытости: иностранцы и французские дипломаты знали ее, и это укрепляло ее против властей).

Много раз я сталкивался с Евой в шутку, а то и серьезно, в оценке Запада. Высказывался я о Западе, по ее мнению, слишком хорошо — она разуверяла меня, бранила Запад, еще и сегодня с тою страстью, которая когда-то швырнула ее покинуть европейское благополучие и добровольно ехать на муки в Россию. Другой раз я почему-нибудь был раздражен на Запад, высказывался слишком резко, — почти с той же горячностью и даже крайностями она кидалась его защищать. И всякий раз главный ее тезис был: что я совсем не понимаю Запада и никогда его не пойму. Ева, правда, не отличалась стройностью политических взглядов. Она уехала из Франции уже 30, потом и 40 лет назад, хотя бывала наездами, и в самой Москве вот встречалась теперь со множеством иностранцев, уверена была, что сохраняет живое чувство Европы. Я — не был там никогда, но, ежедневно слушая несколько западных передач, не мог не составить тоскливого представления, что Запад падает волею, духом,

сознанием — перед большевизмом. Она высмеивала мои выводы, не допуская столь разительного изменения Европы.

Легкость руки Натальи Ивановны!.. В мае 1967, разослав 250 экземпляров “письма съезду писателей”, я отсиживался в Переделкине у Чуковского. Вот 11 дней прошло от письма, уже и съезд кончался, а — нигде на Западе не напечатали, не объявили. Откуда ни возьмись — Ева, на другой даче в гостях, но позвонила и мне, вызвала погулять. И похожего плана у меня не было, во мгновение у нее родилось: “А у вас есть лишний экземпляр? Давайте, отправлю сегодня!” (Она не без этой мысли и привезла в Переделкино французского искусствоведа Мориса Жардо, а у него хорошие связи с “Монд”, и она взяла с него обещание.) И через три дня письмо появилось в “Монд”, загромыхало — и кампания была выиграна! — Произошел ли казус с телеграммой “Граней”, надо было срочно понять, кто такой Виктор Луи, — являлась та же Ева, *deus ex machina*, и разъясняла: знала его по Карлагу, московский мальчик, предлагавший иностранцам обмен валюты, сомнительное поведение в лагере.

При самом начале не зря попросила Ева: только, чтоб *никто не знал*. Она определенно и именно имела в виду мою тогдашнюю жену Решетовскую. (Ева видела эту опасность несравненно раньше меня.) Однако веселые, дружеские, простецкие наши отношения с Евой не могли скрыться от жены. К тому ж наши непрекращаемые, никогда до конца не разъясненные дела все влекли нас пошептаться, отделиться, даже когда Ева приезжала просто к нам домой. Этого всего нельзя было ни достичь, ни объяснить иначе, как сказав жене, что мы занимаемся делами слишком серьезными, *теми*, то есть — *заграничными*. И Ева как будто это понимала. Но осенью 1965, когда уже разворачивалось следствие над Синявским, — Ева на скрытой встрече спросила меня: “Но ваша жена *ничего* не знает?” Да *прямо*, из моих уст, она не знала ничего, но имела глаза, но — видела. (Можно бы уверенно сказать, что только об участии Андреевых она не знает ничего, но и то: два года спустя у “Царевны” на квартире

при семи–восми собравшихся, среди них и моя жена, была такая встреча: привезенная Евою молодая Ольга Андреева–Карляйль из Соединенных Штатов вышла со мной шептаться на балкон.)

Над Евой уже тогда нависла тень опасности и, мрачна, черна, висит по сегодня. Предчувствие не обмануло ее за много лет вперед: в 1973 на Казанском вокзале Н. Решетовская прямо угрожала о Еве, н а з в а л а её, и только её одну, как пример, кому КГБ будет мстить за напечатанье “Архипелага”. (Именно эта угроза и понудила меня высказаться открыто летом 1974 в интервью CBS.)

Правда, уже два года скоро с того. Перевисевшие тучи не дают грозы. Храни Бог!

... Шло через Еву и дальнейшее развитие с посланной пленкой “Круга”. Она устраивала мои свидания то со стариками Андреевыми (те иногда приезжали в отпуск в СССР), то с Ольгой Карляйль, их дочерью, то с Сашей, их сыном.

В первых числах июня 1968 мы в Рождестве допечатывали “Архипелаг”, в Париже бурлили революционные студенты, восхищенный их подвигами Саша (Александр Вадимович) Андреев приехал на недельную командировку в Москву с группой ЮНЕСКО. Весело звонил он Еве, что везет ей подарки, вот расскажет о славных студенческих волнениях, которым москвичи так обывательски не сочувствуют (“чего бесятся? пожилы б у нас, узнали!”), — а у нее враз составилось, лишая покоя и сна: не судьба ли? не послать ли сейчас с Сашею “Архипелаг” на Запад?

Об этих нескольких грозных днях она тогда же написала короткие заметки, потом сожгла их; в 1974, уже после моей высылки, снова написала, Аля вывезла их, теперь я использую. И вот: и до и после этого Ева много рисковала с моими делами, но по запискам так рисуется, что всех прочих опасностей она не ощутила в меру, была ли внутренне беспечна? Нет, это манера у нее такая беспечная, внешняя. Но “Архипелаг” занимал для нее размеры выше всех наших судеб, размеры самой России. Эта операция далась ей десятидневным сверхнапряжением, не забываемым и сегодня.

Сперва: не дать же “Архипелагу” пропасть. Остаться ему вечно здесь — погибнуть. Но в сашиных руках попасть на таможне — еще большая гибель и книге, и автору, и всем, — сколько имен в “Архипелаге” названо, еще живых! — и ему самому. И опять — Андреев, допустимо ли его просить? И — согласится ли? Зато — *руки чистые* : не корыстные люди, с русским подлинным чувством, не используют дара во вред. Упустить этот случай — а когда представится сходный потом?.. Ева уже загорелась и остановиться ей было трудно. Приехала в Рождество, вызвала меня в лес. Из заметок видно, как трудно ей решение давалось, еще и не далось вполне, — мне же, помню, говорила с такой убежденностью (всегда победоносная!), что быстро поборолла мои сомнения. И правда, такое стечение: в самый день окончания “Архипелага” (и с запасом дней на пересъемку пленки), — и в чистые руки! Как отличить свободу нашего решения от Божьего начертания? Решили, без юноши: да! Впрочем, вспоминает Ева, я сказал ей: “Действуйте, *только* если будет 99% на успех, не иначе”. В операции этот процент был, пожалуй, сильно не достигнут.

Саша принял вопрос обреченно–спокойно, он, оказывается, и предчувствовал, что его будут просить. — Тебе не страшно? — Страшно. Но я все–таки русский. — Через день предложил он такой вариант: киномеханик будет отправлять контейнер с киноматериалами их группы, его и попросить сунуть туда и капсулу с нашей пленкой, сказать: “Это рукописи моего деда. Вывозить их из Союза официально — слишком хлопотно. Помогите.” (Второй раз тень Леонида Андреева сопровождала мой рулон.) Но контейнер ехал даже не опломбированный, не охраняемый дипломатическим статутом. В Троицыну субботу должна была вся группа улететь в Париж. Механик должен был ехать поездом на Духов день; во вторник Саша надеялся встретить его в Париже и вынуть из контейнера сам.

И, пожалуй, все прошло бы спокойно, если бы в четверг вечером не возникло впечатление, что за Сашей следят. Мы приняли слежку как несомненность, и задало это нам лихорадки на пять дней. Сперва — самой Еве:

продолжать ли операцию или покинуть? Кто не жил в конспирации, даже не вообразит этого отягощенного изматывающего состояния, когда, может быть просматриваемый, прослушиваемый, в недостатке времени, при невозможности советоваться, иногда в изнеможении от подступающего провала, ты не можешь освободить свою волю от ответственности и должен принять решение, от которого зависеть будут и многие дорогие тебе люди — и *дело*. Решила: “принять бой за родину в этой доступной нам форме, и именно теперь!” После этого Ева дозволилась до московского родственника Саше, наполнила разговор пустяками и вставила скороговоркой по-французски: “вчера вечером, когда вы возвращались домой, за вами следили”. (Уж если вплотную следят — то и эта фраза *взята* ...) Тот (хотя не знал никаких тайн) понял и на ночь увел Сашу ночевать в глухое место. Потом — размышления Евы с Люшей (пришла к ней брать капсулу). Чем больше раскладывали — тем казалось все опаснее. И, не выводом из того, а все своим напором чувства, Ева забрала “бомбу”.

На утро субботы под Троицу было у них уговорено так: в Кировском метро на условленном месте Ева встретила Сашу и передала ему — не “бомбу”, нет, — пакет игрушек для детей: если заметят и схватят эту передачу, то и — выкусят. Поговорили о вчерашней слежке. Сейчас как будто никого. Условились: во вторник утром, как только вынет капсулу из контейнера, Саша звонит в Женеву евиной сестре Катерине Ивановне (раненная в Сопротивлении, она стала инвалидом, и почти всегда дома), и та условную фразу передает по телефону Еве в Москву. А саму “бомбу” сейчас получит Саша не от нее, а на следующей станции, “Дзержинской”... (Все разыграно не хуже, чем у Климовой-матери.) Но когда на “Дзержинской” к Саше подошли сзади и взяли за руку — тот слишком вздрогнул. И передающий изменил решение: побыть с Сашей дольше, сделать поспокойнее. Он вывел его из метро на тихую улицу к своей машине. (И тут еще происшествие: какое-то такси стояло впритирку с поднятым капотом; тронулись — и тронулось оно вослед... Вослед?.. Не лишние ли подозрения? Отсталое.) Не нарочно, так

получилось: делали круг перед Большой Лубянской, вокруг “бутылки” Дзержинского — водитель, руки на руле, объяснил Саше, как ему руку протянуть и взять “бомбу” из сумки. **Передали “Архипелаг” на Лубянской площади!..**

Итак, хорошо ли, худо, дело было сделано, оставалось ждать. Но тут-то и ослабли уязвленные нервы всех: неразряженные угрозы теперь давили тупо. Пленка ушла из наших рук — но куда не дошла, висела без контроля и в опасности. Люша кинулась за мной в Рождество, я уехал в закрытую квартиру “Гадалки” (очерк 10), всегда для меня готовую, ключ у меня. Ева, чтоб не томиться праздничные дни в городе, уехала за город. А Люша звонила, не зная, Еве, а Гадалка из автомата звонила Люше, и отсутствие Евы пугало нас как уже начавшийся провал. (Теперь видно, что вся операция наша была любительски и шатко построена.) И на солнечном речном берегу солнце было Еве — черным пламенем. Беспомощное бездействие — тяжело.

Воротясь в Москву, Ева нашла путь дозвониться до того сашиного родственника по нейтральному телефону и выяснила, что Саша уехал без задержек. Сперва облегчилось, протянули понедельник.

Но вот уже вторник, середина дня, давно пора быть звонку из Женевы от сестры — а нет его, и нельзя позвонить первой самой: станет невозможен звонок с условным текстом.

Так промучились вторник — и отзыва не было. И похоже было — на разгром: уже читают “Архипелаг” на Лубянке.

Только в среду утром пришло освобождающее известие. (Оказалось: парижская забастовка, полуреволюция — парализовала связь из Парижа, пересеклась враждебно с нашим “Архипелагом”!)

В среду днем, уже не очень скрывая мою укрытую квартиру, друзья приехали освобождать меня. Они ликовали.

Но обидно оказалось, что избранные *руки*, от пары к паре меняясь, смазали всю нашу отправку — и не выручила она нас в грозный момент. Саша Андреев, не имея

никакой советской тренировки, вел себя героически. Вадим Леонидович дрожал над этой книгой, даже закупил набор шрифтов, чтобы быть самому первым издателем “Архипелага” по-русски. А дальше у Карляйлей влипла наша капсула — и многие годы американский текст “Архипелага” не был готов (об этом в другом месте). Стоило нам так торопиться, рисковать и гордиться! — все равно как и не отправляли. Лежал “Архипелаг” на Западе — и как будто не лежал. Понадобилось делать немецкий перевод, Бетта (очерк 12) попросила у В. Л. копию русского текста от дочери — он перепугался: разгласится (а он же — с советским паспортом), — и пришлось нам всю отправку “Архипелага” из СССР — п о - в т о р я т ь , очень тяжело и опасно. А не отправили бы снова, весной 1971, “Архипелаг” на Запад, то к моменту провала в 1973 у нас не было бы немецкого и шведского переводов; а русское издание, недоступное западному читателю, прозвучало бы как одиночный пушечный выстрел в ночи.

В последние годы Ева уже перестала быть единственной нашей связью с Западом (но то и дело что-нибудь *перекидывала* с изящной легкостью), однако неистощимо находила, в чем еще может быть полезной, на это у нее острый был взгляд. Вела себя Ева до конца по своей привычке и смелости — нисколько не прячется, не прикрывая дружбы (с Алей она была тесно дружна, несмотря на разницу в возрастах), открыто звоня и приходя хоть в самые тяжелые осадные моменты.

А после нашей высылки Ева — первая же из подозреваемых (да просто засеченная ГБ, облепленная доносами) — не только не замерла, не затихла в тот год, но с прежней самоуверенной отвагой вела свою свободную жизнь внештатной переводчицы, встречалась с иностранцами, а меж ними — с *нашими*, и, в месяцы перебоев, смены лиц, высылки корреспондентов, нарушения каналов, — возобновила с новой энергией пересылку нам целых сумок и чемоданчиков из архива. Теперь, весной 1975, это куда пристальней проглядывалось, куда опасней прежнего, и иностранцы робче. А с конца 1974, после

выхода “Из-под глыб”, открытую почту нам Москва обрубил в оба конца (ни даже открытку ко дню рождения ребенка не пропускает), — так Ева взяла на себя и нашу “левую” связь со всеми друзьями.

С осени 1974 в культурном отделе французского посольства появилось новое лицо — корсиканка Эльфрида Филиппи. Я никогда ее не видел, Ева так описывает: “Красивая, стройная, когда любит — обаятельная, когда не жалуется — ледяная. Мы подружались с первого взгляда, сразу в чем-то синхронны, без слов. Ее быстрая решительность, готовность испытать все страхи, опасение подвести кого-нибудь, живой интерес к России... Пронесла в опасных местах, обезоруживая улыбкой и грацией. Гениально быстра: топтун не успеет рта разинуть — а уже все сделано.” Так, хотели пакет для меня разделить на три поездки, она взвесила рукой, сказала: “беру все сразу!”, очень тем облегчив. (С ней вместе перебрасывала кое-что и Б. Л., — каждой паре помогающих рук спасибо.)

Этот огромный пакет от Евы и через Эльфриду Степан Татищев (см. очерк 13) принес нам в парижскую гостиницу D'Isly на рю Жакоб, на мансарду — и тут произошло совпадение более чем символическое, как умеет ставить только История. Принесший ушел, на диване грудой еще лежала неразобранная посылка от Наташи Климовой-младшей, — а по той же узкой чердачной лесенке через две минуты к нам взошел Аркадий Петрович Столыпин — тот маленький сын Столыпина, едва не убитый во взрыве на Аптекарском острове Наташей Климовой-старшей, — да и пришел ко мне обсудить эскиз моей главы о Петре Столыпине. С этим милым человеком мы сидели дружески, а рядом лежали пакеты, так же дружески присланные от дочери несостоявшейся его убийцы.

Так за две трети столетия повернулась Россия. Дочь с тем же талантом и порывом, как мать, теперь работала и рисковала в противоположную сторону. (Хотя и не свернув далеко с эсеровского стержня мышления: всё проклиная и Столыпина, и видя в советском строе прямое продолжение царского.) Все силы здоровой России вот уже соединились, вот уже действуют заодно.

ДОБАВЛЕНИЕ 1978 г.)

Осенью 1976 Еву даже выпустили в Швейцарию к сестре. Она никак не могла просить в советском посольстве визу в Штаты: и запрещено менять страну, и ясно будет, что — к нам. Но с нашей помощью (американцы выдали временный вкладыш в паспорт) счастливо приехала к нам в Вермонт, жила у нас весной 1977. Она тяжело переживала, что ею привлеченная Ольга Карляйль — вывихнулась, и книгу враждебную пишет, но и все уверяла, что ерунда. Читала “Невидимок” — и попросила этот 9-й очерк с собой (оставить копию в Париже — и еще взять в Москву, прочесть друзьям-Невидимкам, тогда сжечь).

Объясняя свой переезд в Россию в 1934: “Я — не на муки ехала, что вы, я терпеть их не могу, я ехала на радость. Но перетерпленные муки не притупили моей любви к России, а обострили ее.” А сейчас заманная перед ней стояла возможность: остаться на Западе навсегда. Она долго мучилась, долго выбирала. Ее решающее письмо передает, я думаю, лучше, чем мой пересказ. [45]

ДОБАВЛЕНИЕ 1986 г.

Наталья Ивановна и дальше продолжала конспиративные операции, и даже с отчаянностью. С 1975 и по 1984 год на ней держался не только весь наш скрытый почтовый и книжный канал с друзьями в СССР, но и важней: помощь нашего Русского Общественного Фонда в СССР, — и вряд ли без ее смелости и находчивости могли бы мы наладить такую полнокровную артерию. (О работе Фонда когда-нибудь кто-нибудь, я надеюсь, напишет подробней.) ГБ изо всех сил следило за ней — и все никак не поймало.

Н. И. в последние годы болела панкреатитом. В конце августа 1984 она внезапно почувствовала сильные боли, легла в больницу — и через неделю умерла. (Перед смертью успела передать для нас: “Сейчас надо на время замереть!” — видно чувствовала, как грозно сгущалось. Ускользнула из лап — может быть, в последний момент.)

Гебешники в штатском в немалом числе толпились на ее похоронах, высматривая. Из них же несколько пришли

описывать квартиру под видом “стажеров нотариуса”. Двоюродному брату Н. И. на допросе сказали: “Мы всё о ней знаем, давно ее пасем, и знаем, где лежала у нее каждая вещь.”

Хвастают! Знали, да не всё.

Неуловимая! — ушла от них... И с поздним оскалом лязгали о ней в газетах.

[45]

Париж, 29 октября 1977

Дорогой А. И. ! ... Ваши хорошие слова о моем возвращении ввергают меня в смущение — чуть неловко, словно люди тебя переоценивают, а ты помалкиваешь... А ведь все получилось благодаря Вам, представьте себе. Ваша помощь помогла мне прожить на Западе год, почти ни от кого не завися (ни за что бы иначе не выдержала). Из-за Вас мне вышло никому не достоящее счастье — спокойно, свободно, сильно, глубоко *выбрать*, с сознанием, *не* обремененным ни принципами (Бог с ними, ни разу не понадобились), ни “чувством долга” (противопоказанная мне категория), ни даже сознанием пользы, которую могу принести (даже к себе не отношусь утилитарно). Год назад золотой осенний Париж вызвал чувство: ну вот, я в своем городе и никуда из него не уеду. Ан не получилось. Полная свобода, казалось бы, и “струя светлей лазури”, и “луч солнца золотой”, а уж я ли не ценитель! — а в сердце живая рана — клубок из любви и ненависти к великой, страшной, замордованной, растоптанной, бессмертной, “желанной”, “долгожданной”.

... Сегодня бродила по коридорам метро с пакетами для Москвы, и вдруг услышала низкий русский голос у одного из тех нищих, что сидя на полу поют с гитарой. Смотрю — молодое русское лицо, и пел он “Полушко, поле...”. Пел хорошо, с тоской, многие останавливались. Я же постыдно плакала, отвернувшись к стене, плакала с такой горечью, словно год мне не давали выплакаться. О чем? О проклятии, висящем над нашей страной, о том, что люди — молодые, старые, хорошие, всякие — бегут, бегут, и каждый прав для себя, для своей единственной жизни. А “Россию — жалко”.

Казалось бы, гнет и страх испепелили даже само понятие свободы и достоинства, но тот же неумолимый пресс над духом неожиданно *удесятерил* потребность в свободе и достоинстве. Не так лагерь, как русская “воля” научила меня ценить как ничто на свете *свободу* (жить, двигаться, мыслить), которой мы так страстно добиваемся. И ради этой страсти, этой напряженной жизни, в которую мы — “акробаты поневоле” — тщимся вместить свободу и достоинство, ради этого я, собственно, и возвращаюсь. *Да, мне лучше жить там.* прислушиваясь к ночным шагам по лестнице, судорожно унося утром из дома все взрывное после долгого ночного звонка в дверь (потом выяснилось — ошибка скорой помощи), жить непрерывно обманывая “всевидящее око” (и ухо), и хоть частично используя то книжное богатство, которое так обидно-легко плывет ко мне в Европе, хоть частично удовлетворить вокруг себя неиссякаемую жажду к слову правды. Может быть, *потому* так ревниво блюла [во время западных путешествий — А. С.] формальную непорочность паспорта, отмечая возможность формального препятствия вернуться.

Вероятно, это мое последнее к Вам письмо, и потому попрошу — если хорошо ко мне относитесь, то не прикрашивайте меня. Помните, какая я жадная до жизни во всех ее видах, как я противоречива и *не* мучаюсь от этого, какая я сибаритка, не избегающая соблазнов, а бегущая им навстречу. Правда, я благодарна судьбе за жизнь, за необыкновенные встречи, из которых ни одной не забываю. Вы, в частности, были одним из моих великих соблазнов, сразу в первом разговоре осознанным и, как Вы помните, я Вас не отпустила, пока Вы меня не “услышали”.

Все приветы в Москву конечно передам, о нашей встрече, однако, мало кому смогу сказать. *Очень* будем ждать малоформатных книжечек. Плохо с каналами — кому охота долго ходить по канату в чужой стране, — но верю в чудо личного контакта, да и жизнь набита чудесами, моя во всяком случае, настолько, что я спокойно на них рассчитываю.

Обнимаю Вас и помню всегда.

Н. Столярова

К столетию О. Э. Мандельштама

(1891 - 1938)

— АНКЕТА “ВЕСТНИКА” —

1. Какое место занимает О. Мандельштам в Вашем пантеоне русских поэтов XX-го века? В Вашей личной жизни?
2. Назовите пять самых любимых Вами стихотворений Мандельштама.
3. Согласны ли Вы с утверждением самого Мандельштама, что он “кое-что изменил в структуре и составе русской поэзии”?
4. Многие считают, что Мандельштам поэт для немногих, жалуются на его непонятность. Какое Ваше отношение к непонятному у Мандельштама?
5. Надежда Мандельштам пишет, что русское и еврейское начало уживались в Мандельштаме спокойно. Согласны ли Вы с этим суждением? В какой степени и в чем именно сказалось еврейское происхождение Мандельштама?
6. Ощущаете ли Вы Мандельштама как поэта христианского?
7. Как Вы себе объясняете и как определили бы “божественную музыку” и “поэтическую мощь” Мандельштама?

С. С. АВЕРИНЦЕВ

1. Я предпочел бы избежать слова “пантеон”. Если это стершаяся метафора, она плохо подходит к разговору о поэте, так остро относившемуся к словам и смыслам. А конкретные коннотации слова ведут либо к профанированному храму на холме св. Женевьевы, либо прямо к язычеству; но каким бы ни было место Мандельштама в моей жизни, я никоим образом не могу и не хочу делать из него предмет языческого культа. Наконец, в слове “пантеон” есть некая статуарная импозантность: а Мандельштам видел себя как собрата Виллона, как жаворонка, не переставшего звенеть “пред самой кончиною мира”.

Покойница Надежда Яковлевна говаривала даже: “Оська был петушок”.

По существу же дело определяется для меня, во-первых, тем, что я верю в объективную исключительность ранга Мандельштама, Пастернака, Ахматовой и Цветаевой среди русских поэтов их поколения — не трех и не пяти, а именно четырех; а во-вторых, тем, что из этих четырех Мандельштам — для меня лично самый близкий, потому что самый точный. Чарльз Уильямс сказал: “Аду свойственна неточность”. Соответственно точность — оружие против Ада. Сосредоточенность на субстанциальных признаках, на объективном. Я бы сказал — аналог “феноменологической редукции”.

2. Из самых ранних — стихи о Голгофе: “Неумолимые слова...” Далее, “Сестры — тяжесть и нежность...”, хотя стихотворение это представляется мне иногда неровным: но траурный марш в 3-й и 4-й строках первого катрена — как же без него? Оба парных стихотворения 20 г. о нежном цветении русской культуры в ночи советской и на петербургском морозе — “В Петербурге мы сойдемся снова...” и “Чуть мерцает призрачная сцена...” И, наконец, самое целомудренное любовное стихотворение нашего столетия — “К пустой земле невольно припадая...”

А вообще было бы куда легче выбрать пять его стихотворений, которые для меня — *не* самые...

3. Да, конечно. Это не значит, что мне представляется возможным или желательным чересчур прямое влияние Мандельштама на русские стихи настоящего и будущего, так сказать, “Мандельштамовская школа”. Во-первых, совершенству не свойственно оказывать прямое влияние. Подсказки надо искать у поэтов гениальных, но несовершенных, не до конца реализовавших возможности собственной поэтики — как Мандельштам и его сверстники учились у Иннокентия Анненского. Но кто, спрашивается, “продолжил” Пушкина? В очень общем смысле — вся русская поэзия; в смысле конкретном — никто, ибо эпигоны не продолжают, а повторяют.



Осип Мандельштам. 1934 г. Фото из следственного дела.
(Опубл. в журнале “Огонек”, №1, 1991)

Во-вторых, трюизм, что мы давно не живем в мандельштамовскую эпоху. В 1899 г. русские люди ясно отдавали себе отчет в том, что не являются современниками Пушкина.

4. У Мандельштама есть стихотворения, сами в себе непрозрачные. Как правило, они относятся к кризисному периоду 20-х годов, периоду “Трифельной оды”, за которым пришла немота; и только за чертой немоты — новое прояснение. Кризис — это кризис: не просто болезнь (как не просто болезнь — состояние будущей матери), но переход, когда все сдвинуто, не равно себе.

Но мандельштамовская “классика” по обе стороны кризиса — по одну сторону “Камень” и “Tristia”, по другую сторону стихи 30-х годов, — как правило, достаточно прозрачна для внимательного читателя, держащего в уме большой контекст мандельштамовского корпуса в целом, готового к умственной работе, но одновременно имеющего вкус к свободной игре, к “блаженному, бессмысленному слову”. Не ребус, не тайнопись — а музыка. Без взаимоупора, без играющего спора двух видов точности — логической и музыкальной — мандельштамовская поэзия немислима. Но она ждет от читателя не усидчивости любителя кроссвордов, а веселого угадывания полуслова. И вообще ее надо не читать, хотя бы и пресловутым “медленным чтением” — а *слышать*. Как она создавалась “с голоса”, так ее и надо ловить: тоже “с голоса”.

5. Надежде Яковлевне было виднее. Мне кажется важным, что Мандельштаму несвойственно было оценочное отношение к своей идентичности, принимаемой как данность, возможно более просто. Пастернаковский вздох: “О, если б я прямой возник!” — у него невозможен: как возник, так и возник. Разговор с Клычковым о “еврейских мозгах” и “русских стихах” — в тоне чудной непринужденности. Возникает тоска по временам, когда такие темы можно было обсуждать без натуги... Впрочем, тосковать не надо — просто в тот черный час деление на породу убийц и породу убиваемых, как единственно важное, сделало невинной шуткой все другие деления: и по этому

счету Клычков и Мандельштам принадлежали, конечно, к одной и той же породе.

Здесь есть проблемы более сложные — но они скорее для статьи, чем для анкеты. Вообще же Мандельштам, не отрекаясь от своего происхождения, сделал выбор в пользу того, чтобы поэтом быть именно русским. Такова была его воля. И Мандельштам верно сказал тому же Клычкову — стихи его не “русскоязычные”, а действительно русские.

О чертах еврейской, как и любой национальной психологии, говорить не решусь: все несомненное будет тривиальным, все нетривиальное — очень сомнительным. И взгляд извне, даже искренне сочувственный, всегда видит не совсем так.

6. На этот вопрос можно ответить либо очень пространно — я это отчасти и сделал в своей статье, отчасти, даст Бог, еще сделаю; либо очень коротко. Отвечаю — утверждением.

Дело не в христианских “образах” и “мотивах”. Без глотка новозаветного воздуха мандельштамовская поэзия немислима как целое.

7. Что тут объяснять? “Всякое даяние благо и вся дар совершен свыше есть от Отца Светов”. Что тут определять? Поэтику разбирают — а музыку слушают, тем более “божественную”.

Борис ГАСПАРОВ

1. Я считаю Мандельштама, наряду и наравне с Пастернаком, величайшим русским поэтом XX в. Век был богат прекрасными поэтами — от Блока и Кузмина до Бродского. Но эти двое, вместе и порознь, в сопоставлении и противопоставлении их творческих личностей, ощущаются мною как явление такого же масштаба в истории русской культуры, как Пушкин. Поэзия такого уровня — это “губка”, впитывающая в себя не только прошлое и настоящее, но и будущее; ее значимость и осмысленность

только возрастают со временем, по мере того как она приобщает к себе опыт все новых поколений, с их языком, их историческим опытом, и их поэтами.

Сказать, что эти стихи оказали влияние на мою жизнь, представляется мне недостаточным. У меня такое ощущение, что не только я всю жизнь их читаю, но и они меня “читают”, усваивая мой опыт, вместе с опытом моего поколения и моего времени, и непрерывно изменяясь в своем значении. Так что в этом случае как бы теряется граница между “субъектом” и “объектом” чтения.

2. В хронологическом порядке: “Концерт на вокзале”; “Грифельная ода”; “Ламарк”; “День стоял о пяти головах”; “Стихи о неизвестном солдате”.

3–4. Каждый крупный поэт, самым фактом своего существования, изменяет весь “состав” поэтической традиции, к которой он принадлежит, поскольку его стихи изменяют историческую конфигурацию этой традиции, создают новую перспективу, в которой по-новому высвечивается творчество его предшественников. Но у Мандельштама были и свои особенные, индивидуальные основания для такой самооценки. Мандельштам вновь и по-новому, в качестве поэта XX в., внес в русскую поэзию пушкинскую дилемму: сочетание полной жанровой и декламационной ясности, почти тривиальности, с головокругительной эллиптичностью и многозначностью выражаемого смысла. И “непонятного” Мандельштама, и мнимо-“понятного” Пушкина легко и приятно декламировать: вам сразу открывается и общее эмоциональное “поле”, в котором разворачивается стих, и его жанровая природа — вот элегия, вот романс, вот философская лирика, вот стихи в фольклорном духе. Но когда вы пытаетесь воплотить для себя смысл этого стиха, оказывается, что в нем удивительно мало сказано прямо и до конца, и в то же время удивительно много затронуто, намечено едва проглядывающим силуэтом, дразнящим намеком; его поверхность — равнодействующая бесконечно многих разнонаправленных смысловых тяготений и валентностей. Каждое восстановленное смысловое звено,

каждая разрешенная валентность открывает новые потенциальные смысловые напряжения, прежде вами не замеченные, зовет к новому перечитыванию и смысловому перевоплощению. И у Пушкина, и у Мандельштама этот феномен наряжен в конвенциональный для своего времени поэтический костюм: ранне-романтическая “благозвучность” и текучая легкость у одного, пост-символистская пафосность и напряженная “косноязычность” у другого. Нужны некоторые усилия, чтобы заметить, что эта поэзия в такой же степени принадлежит своему времени, как выпадает из него, в такой же мере является важнейшей вехой в культурной истории, как и тупиком, который не имеет и не может иметь прямого продолжения. Феномен Мандельштама, с его суггестивной всепроницаемостью, представляется мне не столько звеном в цепи культурно-исторических превращений, сколько глобальным катализатором; его присутствие изменяет всю “химию” культурной традиции, весь ее “состав” — в большей степени, чем развивает эту традицию в каком-либо определенном направлении.

5. Может быть потому, что сам я — армянин по рождению, воспитанный в среде русского языка и культуры, и большую часть своей сознательной жизни проживший вне России, — я полностью разделяю “спокойное” отношение к проблеме еврейского начала у Мандельштама. Для меня нет никакого сомнения в том, что родина поэта — его язык; все остальное — его происхождение и физический облик, обстоятельства, в которых он рос и воспитывался, места, где он жил, книги и люди, которые были для него важны, — становится фактом его творчества и творческой личности через воплощенность в языке. “Нерусскость” служила для Мандельштама таким же важным творческим импульсом, как для многих других поэтов — от Пушкина и Державина до Ходасевича и Ахматовой. В своем творчестве он реализовал “еврейское начало” во многих ипостасях: поэт как уроженец библейской “страны субботней”, как наследник центрально-европейской еврейской элиты, органически приобщенной к немецкой культурной традиции, как

человек прикосновенный к “хаосу” местечкового быта, как изгой и отщепенец, чьи речи балансируют между пророческими обличениями и трамвайной склокой, как “маленький” советский “человек эпохи москвошвея”. Для меня эта сторона Мандельштама не более и не менее существенна, чем его увлечение католицизмом в молодости, или “паломничество” в Армению, или погружение в русскую почвенную, фольклорную стихию (и ее советское популистское преломление) в годы ссылки. В творчестве поэта и “голос крови”, действительный или воображаемый, и всевозможные другие голоса, в их разнообразных столкновениях и контаминациях, изъясняют себя на русском языке. Соответственно, и сам русский язык и русская поэзия становятся феноменом, характер которого неотделим от факта присутствия в его составе стихов Мандельштама.

6. Нисколько не желая умалить ни роль христианства в формировании Мандельштама, ни значение многочисленных христианских мотивов в его творчестве, должен все же сказать, что я не воспринимаю Мандельштама как христианского поэта — то есть такого, у которого самые основания его творчества были бы проникнуты христианским мироощущением. В этом отношении для меня Пастернак — в гораздо большей степени христианский поэт, хотя на поверхности его стихов христианские мотивы почти не появляются вплоть до последнего этапа его творчества. Мандельштам вообще, в отличие от Пастернака, — не метафизичен. Он укоренен в “теле” мировой культуры, в истории человеческого культурного опыта, воплощаемой в слове, — как Гете, или Пушкин, или Блок (несмотря на весь внешний “символизм” последнего), а не балансирует на границе опытного и трансцендентного, как Новалис и Рильке, Фет и Пастернак. Пастернак стремится вырваться из пределов человеческого опыта, зафиксировать попытку выразить нечто такое, что заведомо не может быть выражено. Мандельштам стремится к полному и всеобъемлющему выражению культуры, к бесконечным и неисчерпаемым ее сопряжениям; ему свойственна “тоска по мировой куль-

туре”, а не по тому, что лежит за ее пределами. Поэтому мне кажется, что христианство у Мандельштама скорее играет роль культурно-исторической рамки, очерчивающей и оформляющей его творческий мир, чем является категорией его поэтического мышления. Поэзия Мандельштама живет в “христианском мире” (в расширительном “средиземноморском” его понимании, включающем и иудейство, и античность), она сама является фактом христианской культуры — но про нее нельзя сказать, что она воплощает в себе “дух христианства”.

7. Чтобы как-то сузить такие неопределенные понятия, как “поэтическая мощь” и “божественная музыка”, попытаюсь подойти к ним как филолог, для которого главным предметом интеллектуальных интересов является проблема языка: вопрос о том, как удастся людям “выразить”, “зафиксировать” и “воспринять” какой-либо “смысл” в условиях бесконечно разнообразного, все время меняющегося и никогда не повторяющегося мира? С этой точки зрения, поэзия Мандельштама служит неисчерпаемым источником для размышлений и анализа. Короткий стих, в несколько десятков слов, оказывается воронкой, втягивающей в себя бесконечные слои смысла. Текст как будто бы раз и навсегда зафиксирован — но он устроен так, что каждое обнаруженное в нем соположение смысловых фигур открывает новые смысловые перспективы, требует новых соположений и экстраполяций, и так до бесконечности. Бесконечность возникает на наших глазах, более того — она воплощает себя в наших собственных усилиях прочесть и понять текст. Этот эффект генерации бесконечности, раздвигающей границы эмпирической реальности, и есть для меня “божественная музыка”. Поэзия Мандельштама, именно в силу своей укорененности в мире поосторонних, историко-культурных ценностей, воплощает этот феномен с особенной яркостью. Линейное течение истории синтезируется, преодолевая время; гигантские пласты смыслов компрессируются в поэтический текст под таким огромным давлением, что как бы преобразуются в подвижную и пластичную смысловую “плазму”, обладающую безгра-

ничными валентностями и способную к бесконечным превращениям. Мандельштам, как никакой другой поэт, помог мне увидеть, какой потенциал заложен в человеческом языке, заключающем в себе в спрессованном, синхронизированном виде весь исторический опыт народа.

Беркли. США

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

1. Именно Мандельштам ныне мне особенно дорог, и не только потому, что его стихи я люблю больше других. Для меня сейчас важен тот заряд, те энергии, что остаются после освоения, после “отжатия” текста.

В изящной словесности хватает стихов, часто даже и превосходных, написанных, однако, на пределе энергетического ресурса — таковы, кажется, в целом стихи Ахматовой. Стихи же Мандельштама — помимо совершенства и сладко растравляющей душу тайны — обладают еще и феноменально интенсивными энергиями, неослабно пульсирующими за текстом. Его творчество представляется именно неиссякаемым конденсатором и источником творческой силы; кажется, что на странице задействована лишь ее небольшая часть, что фонового кислородного поля достало б еще на много стихотворений. Именно благодаря тому, что энергетические запасы творчества Мандельштама значительно, повторяю, превышают конкретное количество выполненного текста, его стихи дают эффект славного усиления и нашего собственного воображения и нашего собственного творческого потенциала. От них “подзаряжаешься” не меньше, чем от таких естественных побудителей творчества как время года, всколыхнувшее душу событие, любовь и т. д.

2. “К пустой земле неволью припадая”, “С миром державным я был лишь ребячески связан”, “Еще не умер я, еще я не один”, “Возможна ли женщине мертвой хвала”, “Батюшков”... Впрочем, эти пять с легкостью заменю

на пять других, и еще... Легче сказать, что твердо не нравится: “Грифельная ода” — она несет на себе тень насильственного рождения, что у Мандельштама — редкость. Ибо, по точному определению Н. Я. Мандельштам, у него был “мощный контролирующий аппарат, чтобы распознавать качество и ценность импульсов”; Мандельштам писал только при наивысшем накале вдохновения...

3. Разумеется, как и каждый большой русский поэт, пожалуй, за исключением Бунина, стихи которого Мандельштам недооценивал — и напрасно. Позднему Мандельштаму удавалось чудесным образом преображать все, к чему б не прикоснулось его свободно и мощно работающее воображение: Средневековье и Возрождение, Данте и Рафаэль, натурфилософия и христианство, реалии советской Москвы, даже кольцовско-есенинские мотивы — все кипит и не остывает в тигле его несравненного стихотворчества. В какой-то момент — быть может, с Воронежа или перед тем — словно с глаз поэта окончательно спала житейская катаракта, и мир целокупно предстал в первозданной свежести. В этом есть нечто пушкинское, хотя Пушкин и глубже — не только за счет своего гения, но и, условно говоря, “реализма”: в “Маленьких трагедиях”, например, такая бездна смысла, что туда страшно заглядывать; концентрация психологизма там гуще, чем в Достоевском. Ассоциативному методу Мандельштама все это было уже недоступно...

4. Я люблю в поэзии тайну; Мандельштама интересно “разгадывать”: не смыслов, а на уровне интуиции. Многоступенчатость образных рядов Мандельштама — притягательна; они постоянно по-новому фокусируются в заинтересованном восприятии. И то, что непонятно в конкретности — понятно глубинно. Вот то же “К пустой земле неволью припадая” — я сто раз читал комментарий — о ком это, и каждый раз забывал. Ибо дело не в конкретных “прототипах”, а именно в постоянно будоражащей душу тайне, в узнавании неузнаваемого.

5. “Еврейское начало” Мандельштама, по-моему — в его известной политической “левизне”; будь он русским, то при своем уме и таланте, возможно, был бы “правее”.

6. Для такого взгляда и голоса, какой появился у позднего Мандельштама, необходимо прикосновение к чуду, осенение чудом. Думается, это произошло, когда Мандельштам понял, что обречен, и сам — в ответ — шагнул на *путь крестный*, что не только невыносим — но и праздничен во славу Христову. Отсюда и приподнятость и обреченность в лирике Мандельштама одновременно, а это — очень христианский сплав...

7. Стихи Мандельштама — суть фрагменты, подразумевающие *этику целого*, т. е. космогонию бытия человечества.

Мюнхен

Шимон МАРКИШ

1. Мандельштам был первым в моей жизни поэтом, которого я — подростком — открыл сам, без чьей бы то ни было подсказки или совета (более или менее случайно снял с полки отцовской библиотеки сборник 1928 г.) В “пантеон” он не вмещается. Он — просто Поэт. Мой Поэт.

2. Затрудняюсь ответить: “самых любимых” — по меньшей мере, десятка три.

3. Согласен.

4. Действительно “непонятного” (умышленно усложненного, запутанного, как бы зашифрованного) у Мандельштама, как мне видится, не так уж много даже в тридцатые годы. Но если я чего не понимаю, точнее — не чувствую, то просто опускаю, не пытаюсь распутывать. Не для меня, стало быть. Чужие расшифровки, часто остроумные и поучительные, ничего в этой ситуации не меняют.

5. Если речь идет о человеке, не имею ни права, ни оснований спорить с Надеждой Яковлевной. Если о текстах, как может согласиться с этим кто бы то ни было, прочитавший “Шум времени”, этот мучительнейший пример еврейского самоненавистничества? Зато поэзия осталась незатронутой происхождением (противоречащими этому редкими и весьма малозначительными исключениями можно и, мне кажется, должно пренебречь). Мандельштам — русский поэт, и только.

6. Не берусь ни судить, ни — тем более — ощущать.

7. Не могу ответить. Боюсь, что “божественная музыка” определению не поддается.

Женева

Олеся НИКОЛАЕВА

1. В моей жизни были периоды, когда я не расставалась со стихами Мандельштама, то бубня их, то напевая себе под нос. Однако, Мандельштам — из тех прельстителей и прелестников, которые могут заморозить насмерть: писать “под Мандельштама” легко, освободиться от него тому, кто попал под его чары — почти невозможно. Потому мне много раз приходилось отворачиваться от него и бороться с его музыкальной стихией собственным косноязычием и прозаизмом, быть может, умышленным и нарочитым.

2. “На страшной высоте блуждающий огонь”, “Веницейской жизни мрачной и бесплодной...”, “18 января 1921 г.”, “Нет, никогда ничей я не был современник...”, “Андрею Белому”, “Соломинка” и “Tristia”. Впрочем, я люблю *все* стихи Мандельштама.

3. Непонятное у Мандельштама — того же свойства и происхождения, что и непонятность самой жизни: ни больше, ни меньше.

4. Поэтика Мандельштама породила целое направление в современной русской поэзии, что не могло бы быть, если бы он не трансформировал по-своему ее структуры.

5–6. По моему глубокому убеждению, Мандельштам — поэт безусловно не христианский, если под этим определением понимать христианское исповедничество. Иное дело, что на его творчестве лежит отпечаток христианства, но христианства, уже опосредованного европейской культурой и воспринятого поэтом эстетически, “из вторых рук”.

Мне кажется, он вовсе не ощущал Христа как своего Спасителя и не имел в Нем нужды. Не ведал он и тайны Искупления и Воскресения. Его мировоззрение вполне укладывалось в рамки религиозного имманентизма: он полагал, что гармония может быть достигнута одной лишь перестановкой мировых сил (“богов”), то есть творческим усилием; преображение может совершиться и помимо Голгофы — некими естественными человеческими силами — культурой, искусством, поэтическим словом.

Что касается сочетания еврейского и русского начал в творчестве Мандельштама, которые, по словам Н. Я. Мандельштам, вполне в нем уживались, то в самом мироощущении поэта не было почвы для их конфликта: он совершенно не чувствовал религиозной подоплеки национального пути. (В отличие, скажем, от Розанова, который, как известно, и не будучи евреем, метался по этим путям, примеряя к ним свои эстетические критерии более, чем какие-либо иные). Мандельштам был детищем европейской культуры Нового Времени и не искал ни иного Отечества, ни иного наследства.

7. Поэтическая мощь Мандельштама — в его вдохновенности, и она не может быть объяснена и определена иначе как вдохновенная.

Никита СТРУВЕ

1. Осмелюсь сказать, Мандельштам самый значительный поэт XX века.

2. Задача непосильная. Если брать по одному на каждый большой отрезок, то назову “Образ твой мучительный и зыбкий” из *Камня*, “Золотистого меда струя” из *Tristia*, “Век мой — зверь мой” из стихов промежуточного периода, “Я вернулся в мой город” из *Московской тетради*. “Стихи о неизвестном солдате” из *Воронежских* — это те, что когда-то, в разные моменты открывания Мандельштама, меня повальнее других сразили. Легче было бы назвать сразу 25 самых-самых любимых...

3. Под напором вдохновения, соразмерного страшной из эпох, Мандельштам раздвинул границы поэтического языка. Пастернак, Цветаева, футуристы работали в том же направлении, но исходили из принципиальной, литературной установки, а не, как Мандельштам, из внутренней необходимости.

4. Поэт сверхприродной зоркости, чрезвычайно быстрых ассоциаций, “мыслящий опущенными звеньями”, Мандельштам требует от читателя колоссального внимания; многие звенья его ассоциативных ходов восстановить трудно, даже при вживании в текст, но темные места наделены не меньшей, а м. б. и большей смысловой нагрузкой, чем прозрачные.

5–6. Мандельштам ушел, по собственному признанию, от иудейского хаоса к европейскому, христианскому строю, не отрицая своей принадлежности к племени пастухов и пророков. Его “еврейские мозги” (выражение С. Клычкова) действительно требовали “практического единобожия” и привели его естественно к христианской вере в воплотившегося Бога (в этом его духовный путь сходен с путем его любимого философа и учителя Анри Бергсона).

О своем христианском миропонимании Мандельштам не раз говорил и в прозе и в стихах. Само искусство он определял как “подражание Христу”, но, что существен-

нее и беспримернее, личная его судьба обернулась подражанием Христу (вольная смерть...)

7. В органическом сращении эстетического, этического и религиозного начала, в тяготении к целокупности, полноте. Мандельштам преисполнен пространством, временем, космосом, радостью, страданием, Богом.

Борис ФИЛИППОВ

1. Осип Мандельштам, несомненно, один из шести-семи крупнейших поэтов XX в. (Сологуб – Блок – Клюев – Пастернак – Мандельштам – Ахматова – Заболоцкий).

2. Выделить пять любимых стихотворений любимого поэта всегда трудно. А, пожалуй, это и невозможно: не только список этот меняется с возрастом, но и включение того или иного стихотворения в такую пятерку зависит от обстоятельств и настроения данного момента, и т. д. Сейчас я бы назвал “Я изучил науку расставанья”, “Сестры — тяжесть и нежность”, Ленинград (“Я вернулся в мой город”), “Еще не умер ты, еще ты не один”, “Я скажу это начерно, шепотом”.

3. Несомненно, Мандельштам внес в русскую поэзию нашего века некую, доминирующую у него, музыкальность, сильно отличающуюся от музыкальности (романсности, иногда — частушечности) Блока, музыкальность, иногда оттесняющую его же собственный словообраз, но тем самым и побеждающую и убеждающую.

4. Разве может вообще существовать “понятная” поэзия, в том смысле, что стихотворение можно спокойно изложить прозой. Ведь если можно изложить прозой, — зачем тогда прибегать к стихам? Или это будут вирши — вроде добролюбовских:

Милый друг, я умираю,
Потому, что был я честен, —
Оттого родному краю,
Верно, буду я известен...

5. Мне кажется, что Н. Я. Мандельштам права: иудейские элементы в стихах и в прозе Осипа Мандельштама превосходно симфонизируются с христианскими (“Шум времени” — в прозе; в стихах, скажем, “Вернись в смесительное лоно”, “Среди священников левитом молодым”, и т. д.)

6. Конечно, Мандельштам — поэт-христианин. Но не в смысле творца *религиозной* христианской поэзии. Пушкин всецело прав, повторяя за Дельвигом, что поэзия — “чем ближе к небу, тем холоднее”. Подлинно поэзией поэзия христианская, вообще, религиозная, может быть только лишь культовая, а не “светская” — поэзия Романа Сладкопевца, Иоанна Дамаскина и др.

7. Как можно вообще что-либо “определять” в искусстве?! Прав Блок, когда в “Розе и Кресте” отвечает Бертрану устами Гаэтана: “Ты знаешь песню. Что сказать мне больше?”

Григорий ФРЕЙДИН

1. Место Мандельштама в пантеоне и личной жизни?

Я ставлю Мандельштама в первой пятерке, либо шестерке великих поэтов XX в. — Блок, Маяковский, Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Ахматова. Конечно же, Ходасевич или Кузмин, скажем, — тоже поэты высочайшего полета и по неповторимости голоса и по поэтической мудрости равны каждому из шести, а кое в чем, быть может, их и превосходят. Все же, я не могу назвать русский XX век, точнее первую его половину, веком Ходасевича или Кузмина. Но вот для меня несомненно,

что русский XX век, а, возможно, даже и европейский — это по-своему век Блока, век Маяковского, Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой и Пастернака — благодаря их глубокой причастности всему большому, что постигло наше столетие.

То, как сложилась большая русская литература в XIX и XX в., заставляет нас воспринимать поэзию как неделимую совокупность не только творчества и судьбы поэта как главного героя поэзии, но также и личной судьбы самого автора, который стоит за Поэтом, а иногда с ним и сливается. В той или иной степени, поэтическая концовка или развязка в творчестве каждого из шести совпала с последним этапом их жизненного пути. На фоне русской, во многом православной, культурной традиции такое совпадение воспринимается как мученическое, подвижническое действие — как искупительная жертва. Думаю, что основоположником этой традиции в истории русской поэзии был Блок, а дал ей первую внятную формулировку двадцатичетырехлетний Мандельштам в своей лекции “Пушкин и Скрябин”. Тынянов и Эйхенбаум по-своему повторили ее в своих статьях на смерть Блока, а Роман Якобсон — в своем плаче по Маяковскому (“О поколении, растратившем своих поэтов”). В судьбах же Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой и Пастернака, а в некоторой степени и Маяковского, роль главного подспорья в осуществлении “сценария” искупительной жертвы взяло на себя советское людоедское государство. Так русская поэзия в лице этой пятерки поэтов оказалась причастной ко *всему*.

Мандельштам в моей личной жизни?

Познакомился я с поэзией Мандельштама, точнее, с “Воронежскими тетрадами” в самиздатском издании, подготовленном Г. Суперфином и Ю. Гальпериным, году в 1960-м, когда мне было не то четырнадцать не то пятнадцать лет. Я тогда горел Цветаевой. Стихи ее, в которых я ровно ничего не понимал, работали как мехи, раздувая мои и без того полыхавшие юношеские страсти. Как и у Цветаевой, смысла никакого в самих стихах Мандельштама я не усмотрел, но звучали они по-дру-

гому, казалось, с большим, более мужеским достоинством. Они сразу гипнотизировали. Магия его поэзии, ее заклинательная сила захватили меня надолго, лет на двадцать пять, а именно до выхода в свет моей критической биографии Мандельштама — по-английски, в издательстве Калифорнийского университета, то есть, во всех отношениях на другом конце света. С тех пор я — сам по себе, Мандельштам — сам по себе. Помню, что в том далеком 1960-м году наизусть я выучил несколько стихотворений Мандельштама с наиболее доходчивыми фразами и с редкими у него хлещущими по нервам образами. “Твоим узким плечам под бичами краснеть”. “Небо, как палица грозное, земля словно плещина рыжая”. Последнее из “Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый” (их тогда стали опять продавать в Москве, и ими усердно терли виски томные напоказ молодые дамы). Ну, и “Возможна ли женщине мертвой хвала” — стихотворение, которое своей вестью о любви и смерти насквозь пронизало отроческое сознание. От него холодело разгоряченное сердце. Знал я также и знаменитую эпиграмму на Сталина, “мы живем, под собою не чуя страны”. Она вертелась в голове и подмывала на крамолу. И не без успеха. Пройдя такую поэтико-политическую школу, я принялся влюбляться, поглощать книги и бедокурить, отдавшись надолго поклонению литературным и политическим богам. Окружение было подспорьем. Друзья моей юности не меньше меня увлекались Мандельштамом, одно время были вхожи ко вдове поэта, а один из них, ныне член редакции “Нового мира”, Вадим Борисов, даже организовал знаменитый Вечер Мандельштама на Мехмате МГУ с Н. Я. Мандельштам, Эренбургом и Варламом Шаламовым. Эти люди говорили с нами через ров. Шаламов прочитал свой навеянный Мандельштамом рассказ “Шерри-Брэнди”. Голос был глухой, как будто рот был набит могильной землей. Это было одно из самых ярких событий моей московской жизни.

2. *Пять самых любимых стихотворений Мандельштама?*

Ответ: в разное время — разные и всегда намного больше пяти. Вообще же, при выполнении этой задачи, как человек, изрядная часть жизни которого была поглощена Мандельштамом, я испытываю приблизительно те же чувства, что и кошка, которую попросили разделить своих котят — кого оставить, а кого утопить. Но если сейчас составлять антологию русской поэзии первой половины века и выбирать пять стихотворений, лучше всего представляющих пять основных сборников поэзии Мандельштама, то из “Камня” — либо “Бессонница. Гомер. Тугие паруса” либо “Петербургские строфы” (“Над желтизной правительственных зданий”); из “*Tristia*” — “Золотистого меда струя из бутылки текла”, “Когда Психея—жизнь спускается к теням”, “Феодосия”, “Возьми на радость из моих ладоней”, ну и все остальные; из “1921–1924” — “Сегодня ночью не солгу” (самое магическое из всех стихотворений Мандельштама), “Концерт на вокзале”, “1 января 1924” и все остальные; из “Московских тетрадей” — “Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло” (из цикла “Армения”), “С миром державным я был лишь ребячески связан”, “Ленинград”, “Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма”, “Еще далеко мне до патриарха”, “К немецкой речи”, “Квартира тиха, как бумага”; а из “Воронежских тетрадей” — “Где связанный и пригвожденный стон”, и конечно же “Стихи о неизвестном солдате”. Последние затмевают все, хотя на них и не кончилось творчество Мандельштама.

3. *Изменил ли что Мандельштам “в структуре и составе русской поэзии”?*

Несомненно. Достаточно взять чуть ли ни любую подборку современных стихов в любом толстом журнале, и вы услышите отголоски Мандельштама. Вот протянул руку и наугад открыл Знамя за сентябрь 1990 г. Стихи Маши Володиной. На первой странице в первой строфе — отголосок из Мандельштама: “... сквозь тяжелые веки — бледно-розовый свет и малиновый звон ... багровые реки ... Отворите мне кровь, поднимите мне веки...” Это —

мотив гоголевского Вия именно в том ключе, как он разыгрывался у Мандельштама в “1 января 1924” (мандельштамовский ответ на “веков веки” Маяковского). Причем, думаю, что проник Мандельштам в эти стихи Маши Володиной не в форме скрытой цитаты, а просто как материал стиха, что Мандельштам и имел в виду, когда писал Тынянову о том, что он “наплывает [термин кино-оператора] на русскую поэзию и растворяется в ней. А вот Николай Заболоцкий. Когда осознаешь, что Заболоцкий считал себя во многом учеником не столько Хлебникова, что было бы поверхностно очевидно, а именно Мандельштама, становится ясно, что нити мандельштамовского стиха навсегда затканы в русскую поэзию.

4. *Непонятность Мандельштама. Мандельштам — поэт для немногих.*

Понятность — понятие растяжимое. Вот читаешь Лебедева–Кумача, и ничего непонятно, непонятно даже, как такое можно было написать. Или, скажем, музыка, “рассудительнейшего” Баха, как его называл Мандельштам? Понимал ли Мессу Баха только в воскресенье разгибающий спину немецкий крестьянин или поглощенный заботами бюргер? Несомненно, по-своему понимал. И Игорь Стравинский понимал Мессу Баха. По-своему. Я думаю, что с Мандельштамом дело обстоит точно так же. Есть у Мандельштама и сугубо сложные стихи, но их немного. Есть стихи, наполненные недолговечными реалиями, часто вполне бытовыми и “народными”, которые для нашего поколения превратились в предметы археологических раскопок. Не стоит забывать, что Мандельштам печатал немало из “трудных” стихов в массовой печати (например, “Полночь в Москве” — в “Литературке”, “Ламарк” — в “Новом мире”), т. е. предназначал их для весьма широкой, весьма средне образованной, а главное, совершенно современной ему аудитории. Для них, скажем, “подвижная лестница” эволюции по Ламарку естественно ассоциировалась с эскалатором строящегося в Москве метро, а мы — мудрствуем над этим. Таких примеров немало. Причем, вся поэзия Мандельштама, как и искусство современных ему европейских сюр-

реалистов, проникнута глубокой эстетикой *вещи*, умением увидеть в любом сколке быта связь со всем миром — вещей и людей. А вещи, как и люди, особенно недолговечны в эпоху войн и государственного террора. А незнание бытовых деталей довоенной, досталинской, а тем более дореволюционной эпохи нельзя отождествлять с непониманием собственно поэзии.

Я же глубоко убежден, что воспринять поэзию Мандельштама, быть ею глубоко тронутым может всякий. То, что близкие ему современники называли “заклинательной магией” его стихов — это доступно любому открытому поэзии человеку. Проникнуться этой магией, читая даже самое затемненное стихотворение — заслуживает того, чтобы называться пониманием не меньше, чем перевод поэтического слова на язык простых понятий. Более сложное понимание требует усилий иногда весьма значительных, и оно действительно доступно немногим, но оно стоит того, чтобы к нему стремиться.

5. Еврейское и русское начало в Мандельштаме.

Сегодня это — вдруг очень важная тема, хотя я и не совсем согласен с такой ее формулировкой. Здесь неудачно смешиваются понятия разного рода, причем понятия, которые претерпели резкую трансформацию при замене Российской империи на СССР. Еврей до 1917 г. — это подданный иудейского вероисповедания без каких бы то ни было двусмысленностей. Напротив, русский — было расплывчатым определением, скорее культуры, реже религии и почти никогда этноса как такового (см. у Даля). Как первое, так и второе стали расовыми категориями при отделении Церкви от государства, а с введением сталинской паспортной системы с ее “пятым пунктом” в 1932 г., — также и весьма эффективным орудием государственной власти.

Поэтому попытаюсь ответить на вопрос так, чтобы затронуть культурный, религиозный и расовый аспекты этих понятий.

Начну с не для всех очевидного утверждения: Осип Мандельштам — русский поэт, поэт русской христианской культуры. А вот автор Осип Мандельштам — вы-

ходец из семьи еврейского вероисповедания, к которому сам принадлежал по крайней мере до своего крещения в молодости у финских методистов (т. е., если доверять официальному свидетельству о крещении, которые тогда нередко добывались окольными путями для защиты от официальной дискриминации). Был ли автор Мандельштам евреем или христианином в жизни — утверждать не могу. С отцом он переписывался по-немецки, с матерью — по-русски, и в этом отношении мало отличался от многих соотечественников, включая членов императорской фамилии. Что же касается основного, причем, сквозного мотива поэзии Мандельштама, то это — погребение и воскресение поэта. Тянется он, по крайней мере, от тристиевых “и мысль бесплотная в чертог теней вернется” до воронежских “Да, я лежу в земле, губами шевеля, но то, что я скажу заучит каждый школьник”. Излишне доказывать, что мотив этот сугубо христианский, пасхальный, русско-православный. В своей лекции 1915 г. “Пушкин и Скрябин” Мандельштам, вслед за многими современниками и предшественниками, представлял современный ему мир впадшим в язычество и иудаизм (своеобразное разыгрывание идей Ницше о возвращении трагедии). В таком мире, полагал Мандельштам, задача поэта — напоминать людям об искупительной жертве христианства, подражая ей в поэзии. Не думаю, что в такой доктрине есть что-то сугубо еврейское. Скорее она характерна для человека, интеллигента, который либо вновь обрел христианскую веру, либо перешел в христианство. Еврейское происхождение Мандельштама могло здесь сыграть роль, как говорят в логике, достаточного условия для выбора этой темы, но никак уж не обязательного.

То же самое можно сказать и о мотиве изгойства в поэзии и прозе Мандельштама: вдыхающий бензин Евгений из “Петербургских строф”, поэт, который “никогда не был ничьим современником”, поэт, который “с миром державным был лишь ребячески связан, устриц боялся”, автор, путающий себя с бедным Парноком, с Ипполитом из Достоевского и гоголевским Акакием Акакиевичем, с разночинцами, ходившими “в разохлых сапогах.” Дейст-

вительно, мотив изгойства, ущербности, который вполне мог бы стать у Мандельштама сугубо еврейским мотивом, как это объясняется рядом мемуаристов (напр., Г. Иванов в “Петербургских зимах”), но он таковым не стал, а полностью сомкнулся, хотя и не растворился, в сугубо русской, да и шире европейской литературной теме “разночинства”. Заслуга Мандельштама еще и в том, что эта тема охватывает у него также и двусмысленное положение Российской империи в Европе: европейская ли это страна или, напротив, нечто “ассимилированное”?

Сложнее обстоит дело с темой, если можно так выразиться, факультативности выбора русской культуры для Мандельштама. “И с известью в крови для племени чужого ночные травы собирать” (“1 января 1924”), “Мне хочется уйти из нашей речи за все, чем я обязан ей бессрочно” (“К немецкой речи”). Проблема такого глобального духовного выбора между господствующей, часто нетерпимой культурой и еврейством (а последнее означало не только вероисповедание, но и особый образ жизни) да еще и в эпоху, когда любое меньшинство было обречено на культурно и социально маргинальное существование, такая *факультативность*, я думаю, наиболее характерна для европейских евреев периода ассимиляции. И все же нельзя утверждать, что тема эта исключительна для евреев. Аналогичную дилемму испытывали и ирландские католики в протестантской Англии, и выходцы из мусульманских народностей в России до и после революции, и эмигранты из Восточной Европы в Америке на рубеже веков. В той мере, в которой XX век, как никакой другой, является веком перемещенных лиц (из страны в страну, из провинции в столицу, из деревни в город, из профессии в профессию, из класса в класс, из эпохи в эпоху и обратно), эта, казалось бы, “еврейская проблема” давно уже вышла за рамки одного этноса и одного вероисповедания. Мандельштам поставил своего Поэта в одну шеренгу с “разночинцами”, что “рассохлые топтали сапоги”. Сделать по-другому означало бы, помимо прочего, поддаться соблазну расовых теорий и поставить во главу угла не разум, волю, воображение и совесть человека, а “пятый пункт”.

6. Мандельштам как христианский поэт.

Если имеется в виду тематика и основные мотивы, даже некоторые элементы техники стиха, то это несомненно так, что и видно из моего ответа на предыдущий вопрос. Если же имеются в виду вопросы веры, то, как нерелигиозный человек, я от комментария на этот счет воздержусь.

7. Как объяснить “божественную музыку” и “поэтическую мощь Мандельштама”?

Во-первых, самоочевидная одаренность. Во-вторых, одержимость этой одаренностью. Не всякий обладающий даром человек имеет возможность либо желание посвятить дару всю свою жизнь. Мандельштам несомненно обладал огромной волей. Она ему потребовалась для того, чтобы в зрелом возрасте не отказаться от избранного в молодости пути, причем, пути, который с высоты двадцатых и тридцатых годов должен был казаться избранным в навсегда отошедшем в небытие мире.

В-третьих. Одаренные люди, если только это не *idiot savant*, обыкновенно обладают несколькими исключительными способностями, каждая из которых может осуществиться неожиданным образом. Дар слова, например, может обусловить выбор карьеры литератора, юриста, политического деятеля, проповедника, профессора гуманитария и т. п. В каком направлении разовьется талант — определяется и наличием возможностей, и системой ценностей данной культуры. Мандельштам, выпускник Тенишевского училища, как и многие сверстники, пишущий стихи, интересующийся политикой, общественными и гуманитарными науками, стоял перед выбором пути в конце девятисотых годов. Маячила карьера в революции, мечтал пойти по стопам террористов Каляева и Гершуни. Потом Париж и поэзия. Могло случиться и наоборот. Сейчас кажется парадоксальным, но очевидно, что тогда по серьезности, самоотверженности, и главное — силе эффекта (политический терроризм, как и поэзия, по существу символически) оба пути могли представляться молодому интеллигенту из левой, да еще и еврейской семьи чуть ли не равнозначными. Вспомним юношеский

большевизм Маяковского. Не стоит множить свидетельства того, что лирическая поэзия того времени была соразмерна политической, революционной борьбе, иными словами, обладала самой широкой масштабностью и, если воспользоваться модным сегодня словом, весьма высоким престижем. Здесь не место углубляться в причины этого довольно редкого в истории явления, но признанное миром величие русской литературы пореформенного времени, расцвет искусств в начале века и, конечно же, вдруг распахнутая революцией 1905 г. дверь в будущее превратили поэта — фигуру, вообще склонную к пророческой позе — в “трагического тенора эпохи” (это — Ахматова о Блоке). Мы до сих пор испытываем катарсис, следя за игрой этих поэтов на трагической авансцене века.

Беркли, США

Н. Б. КИШИЛОВ (1934, Раненбург – 1973, Амбуаз)*

СУДЬБА МАНДЕЛЬШТАМА

*Моя страна со мною говорила,
Мирволила, журила, не прочла,
Но возмужавшего меня, как очевидца,
Заметила — и, вдруг, как чечевица,
Адмиралтейским лучиком зажгла.*

(Стансы)

Осип Эмильевич Мандельштам по его собственным словам был одним из очевидцев русской истории. История эта еще так свежа, что нет-нет да и пахнет на современника запахом человеческой крови. Слишком трагичен был удесятеренный бег ее по земле, слишком много было похорон, нельзя было присутствовать на каждых. Так ушел оплаканный, может быть, только близкими, в неизвестности, незаметно, один из великих русских поэтов — Мандельштам. Стихи же его остались навечно в русской поэзии драгоценным и неожиданным даром, оценить который настало время. В России эта необходимость сознается уже давно, о Мандельштаме все чаще и чаще говорят на Западе. Появились первые публикации его Воронежских тетрадей,¹ вышел из печати первый том полного собрания сочинений поэта. Появились и статьи о Мандельштаме и воспоминания, первые пробные оценки наследия поэта. Кое-что в этих оценках кажется неверным и поспешным. Кажется, некоторые русские писатели на Западе были огорошены и удивлены новым Мандельштамом, Мандельштамом московского периода 30-х годов и его посмертными “Воронежскими тетрадями”.

* Искусствовед, поэт Николай Борисович Кишилов, безвременно скончавшийся в первый год эмиграции, едва ли не первый в своем поколении написал статью-оценку о всей совокупности мандельштамовского пути. Статью он тогда прислал в “Вестник”, но, естественно, прикрыл свое авторство псевдонимом (см. №75/76). О Н. Б. Кишилове см. некролог в №108/110 “Вестника”, стр. 277–278.

Некоторые увидели даже известный спад и как бы надрыв в творчестве поэта.² Но это понятно. Принять целиком и сразу новые стихи поэта трудно. Слишком далеки они порою от того традиционного облика, которым наградила критика его творчество. М. А. Волошин писал:

... почетней быть твердым наизусть
и списываться тайно и украдкой.
при жизни быть не книгой, а тетрадкой.

Эти слова на долгие годы утвердили участь русских поэтов. Мандельштам при жизни не был и тетрадкой, стихи его в лучшем случае знали единицы, а большинство их читателю было недоступно. Списывали ночами поздно, спустя много лет после смерти поэта. Но тот благоговейный, почти священный трепет, с которым они были приняты, говорит о многом.

Было сделано, казалось бы, все возможное, чтобы похоронить наглухо его поэзию в кровотокающем месиве России. Были налицо все условия для этого — безымянная гибель, хрупкая неустойчивость бумаги, мягкие человеческие ребра. Но стихи выжили. Может быть потому, что оказались стихией и как всякая стихия были неподвластны и непреодолимы для человеческого хотения. Всеми правдами и неправдами дошли они в руки своего запоздалого читателя. Наверное такова судьба всякого подлинного искусства, не заботящегося о своем будущем, целиком полагающегося на волю Божию.

В истории не было, вероятно, эпохи более неподходящей для поэзии, более страшной и немилостивой для современника. И в эту эпоху прозвучал голос, чистый, как хрусталь, высокий и страшный, как откровение. И тогда, вдруг мы с удивлением узнали, что акмеист, эллинист, пушкинист Мандельштам, неисповедимыми путями русской судьбы, преломился в юрода, традиционного юридивого, исчезнувшего к этому времени с московских улиц и возродившегося чудом в несчастном московском поэте. Чтобы стать юридивым, надо прежде всего откинуть разум мира сего и гордость его и красоту. Вряд ли он готовился к такому поприщу, но все это он потерял в театральном предбаннике московского ада 1937 г. Он был выброшен писательской братией на задворки литера-

туры, он был нищий, в жизни неловок и нескладен. Он стал литературным пугалом и мишенью забавляющихся мерзавцев. Он почти кричал об этом в своей страшной “Четвертой прозе”: “первый и единственный раз в своей жизни я понадобился литературе, и она меня мяла, лапала, тискала, и все было страшно, как в младенческом сне”.

Шаг за шагом он терял на безжалостную землю прекрасные одежды своей классической музыки. И оказался голым.

В 1937 г., на пороге смерти, Мандельштам был абсолютно голым, гол, как сокол. Не было ни барской шубы, ни Невского, умолк трогательный голос античной флейты — остались Воронеж, зима, снег, смерть. Остались короткие, жесткие, твердые слова — нож, гроб, обух, ночь. Голый Мандельштам, гонимый и затравленный, жил в голом и мерзлом Воронеже, над которым кричали голые зимние вороны, над рекой, над полями, над всей мерзлой и мерзкой русской судьбой, мертвой русской зимой. Этот последний путь, голгофское шествие, запечатлен в Воронежских тетрадах. Смешно говорить об этих стихах с ноткой сожаления, жалеть тут некого и нечего. Юродивых не жалеют, только целуют их вериги и босые следы в снегу. Сетовать о его судьбе, сетовать о России можно, но бесполезно. Россия пьет свою чашу, она не вольна ее не пить, не вольна от нее отказаться. И вместе с Россией пригубил свою смертную чашу Мандельштам, пригубил, от судьбы своей не уклонившись, креста не отвергнувшись.

Так в своей судьбе иудей по рождению и эллин по призванию, Мандельштам исполнил таинственный евангельский завет “возьми крест свой и следуй за мной”. Был ли он в эти страшные годы в душе христианином, не нам судить. Но в судьбе своей он испил горькую добровольную чашу мученичества. Как он сказал однажды: “И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб безгрешен”. Это глубоко и по-настоящему сокровенно.

Он долго мучился, жил трудно и безвыходно. Был гоним, не имел пристанища, копейки, куска хлеба. Рассказывают о нем такой случай. Была светлая полоса. Он

добился квартиры. В новую квартиру с телефоном и удобствами пришел в гости Пастернак. Тот, вероятно, был полон веры в себя, внутреннего горения, его жизнь в то время была ключом. Был рад за Мандельштама, старался его подбодрить. Мандельштам слушал молча. Когда Пастернак ушел, он сел и написал свое стихотворение "Квартира", в котором сквозь тонкие переборки жилья сквозит надвигающийся ужас будущего. Нет, он не верил, что квартирой можно спастись от того, что суждено, избавиться от крестного пути, заслониться телефоном от смерти:

Тебе, старику и неряхе.
Пора сапогами стучать —

кончаются эти стихи обещанием жестокого стука сапог по деревянному полу лагерного барака. В это время написаны страшные пророческие стихи "Ленинград", "Неправда" и другие. Поэт сознает свою обреченность, он понимает безвыходность положения и принимает его:

Ну, а я не дышу, сам не рад,
Шась к порогу. Куда там! В плечо
Уперлась и тащит назад.
Ишь, да глушь у нее, вошь, да мша
Полуспальня, полутюрьма.
Ничего, хороша, хороша.
Я и сам ведь такой же, кума.

Временами ему становится страшно, он пытается стряхнуть с себя тяжелое наваждение этой страны, под которой по старому русскому выражению "на семь сажен вглубь огонь горит". Он теряет, ищет смысла своих мучений и не находит. Кругом сгущающийся, серый, липкий сумрак, насыщенный кровавыми призраками близкого будущего.

Нет, не спрятаться мне от великой муры.
За извозчицью спину Москвы.
Я трамвайная вишенка страшной поры.
И не знаю, зачем я живу.

Язык поэта грубеет, он говорит почти вульгарно, речь порою переходит в ругательство (курва). Надо оценить, какой шестипалый ужас смотрел ему в глаза, когда этот благородный и звучный эллин сменил свою протяжную, волнистую речь на грубый короткий жаргон московского притона.

Человек Мандельштам погибал и пропадал, художник Мандельштам рос. Вокруг мельтешил мелкий гаденький хоровод, мелькали кувшинные рыла, выраженные в новые костюмы, разгуливали на свободе, облеченные полнотой власти, как выходцы с того света, кровавые Скуратовы. А публика принимала ничего не понимающий вид и литераторы изъяснялись лакейским языком Булгарина, размазывая по нечистой бумаге чужую дымящуюся кровь, вместо химических чернил.

Ночь на дворе, барская лжа
После меня хоть потоп.
Что же потом, — храп горожан
И толкотня в гардероб.

Не правда ли достаточно краткая и исчерпывающая картина русского быта за долгие годы? И поэту остается, перекрестясь, положиться только на Господню волю, спускаясь все ниже и ниже по ступенькам темного и крошечного подвала русской истории.

В это время он пишет короткое и страшное стихотворение, в котором бедная муза, облекшись в грязный кухонный наряд, плачет на бельевой корзине такими слезами, какими не плакали еще никогда нежные музы со времен Данте:

Мы с тобой на кухне посидим.
Сладко пахнет белый керосин.
Острый нож, да хлеба каравай.
Хочешь, примус туго накачай.
Иль еще веревок собери.
Завязать корзины до зари.
Чтобы нам уехать на вокзал.
Где бы нас никто не отыскал.

Трудно пересказать тот ужас, в котором он безвыходно жил в это время. Но бывали и иные минуты, и тогда, как бы поднявшись на какую-то иную, недоступную высоту, он вдруг благословлял и принимал этот ужас и не просил о помиловании:

Лишь бы только любили меня эти мёрзлые плахи.
Как, прицелясь на смерть, городки зашибают в саду.
Я за это всю жизнь прохожу в железной рубахе
И для казни петровской в лесах топориче найду.



Фотография из следственного дела 1938 г.
(Опубл. в журнале "Смена", № 10, 1989)

И судьба не отказала ему в этом, всего отпустила полной мерой. Воронеж, тюрьма, лагеря. Воронеж был первым этапом этого человеческого пути и последним этапом поэтического. Здесь одинокий слышный Мандельштам пережил, может быть, самые глубокие творческие мгновения.

Тут он живет окончательными "моментами", как человеку ему уже нечего терять. И может быть поэтому так откровенна с ним земля, нашептывающая ему истины столь высокие, которые непостижимы никакому искусству без чьего-то таинственного вмешательства.

В лицо морозу я гляжу один.
Он — никуда, я — ниоткуда.
И все уютится, слоится без морщин
Равнины дышащее чудо...

А солнце щурится в крахмальной нищете.
Его прищур спокоен и утешен.
Десятизначные леса почти что те...
И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб безгрешен.

Такие строки подстать только совершенно чистому схимнику, подвижнику в монашеской рясе, освобожденному от земной человеческой суеты. А он был в кровавом беличьем колесе, затравленный в дымящейся пасти зверя.

Все житейское, временное, временами страшное и трогательное, сброшено, как одежды. Осталась ничем не скрытая, голая, жесткая трагедия без буффонады и зрителей.

В это время он представляется старым воронежским юродивым, таскающим по обледенелым улочкам городка, как вериги, свою свинцовую судьбу. Его муза приобретает здесь ясный, почти литургический строй. В "Тайной вечери" поэт содрогается, предчувствуется связь нашего сегодняшнего ночного неба с божественным напряжением последней евангельской трапезы. Ему становится ясно, что трагедия никогда не кончалась, она продолжается; и художник, расписывающий стену капеллы, пишет не иллюстрацию Евангелия, но отвечает Спасителю собственным крестом на Его вечный отеческий призыв. Мандельштам знает, что ему суждено и поручено дописать одну из сцен этой всемирной фрески, и с благоговением поднимает он кисть.

Небо вечера в стену влюбилось.
Все изрублено светом рубцов.
Провалилось в нее, отразилось.
Превратилось в тринадцать голов.
Вот оно это небо ночное.
Пред которым как мальчик стою.
Холодеет спина, очи ноют.
Стенобитную твердь я ловлю.
И под каждым ударом тарана
Осыпаются звезды без глаз —
Той же вечери новые раны.
Неоконченной росписи мгла.

И поэтому уже не преклонением ученика перед великими мастерами, а сознанием внутреннего равенства с ними звучат эти строки:

... и ясная тоска меня не отпускает
от молодых еще воронежских холмов
к всечеловеческим, синеющим в Тоскане.

Он знает, что причтен к лику искусства, святого искусства, и может быть за то, что придал в своей поэзии вечный всечеловеческий свет воронежским холмам, как когда-то старые итальянцы озарили трепетным светом тосканские холмы на своих иконах.

(1964)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Альманах "Воздушные пути", II, стр. 9–68; "Вестник РСХД", № 64, стр. 48–50; № 72/73, стр. 61–62.
2. Статья Вейдле в Альманахе "Воздушные пути", II, стр. 70–86.

Гр. БЕНЕВИЧ, Арк. ШУФРИН (Москва)

Из книги

"ВВЕДЕНИЕ В ПОЭЗИЮ МАНДЕЛЬШТАМА"

(глава "Личность и речь")

1921–1925

Смерть и Совесть.

На звучный пир, в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон.

Звучный пир в туманном элизиуме, элизиуме–иллюзии, где люди античные актеры, где Петрополь прозрачный как царство мертвых и принадлежит Персефоне, где жизнь праздник, театр, игра... Поезд уходит в прошлое.

Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это сон.

Так истощным кошмаром рвется гармония. Запах гниющих роз оповещает о смерти. "Концерт на вокзале" это тризна по другу, но это и тризна по "Tristia".

... на тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит. (1921)

* * *

В 21–м году погиб друг Мандельштама поэт Николай Гумилев. И новый период в поэзии мы объясняем в первую очередь новым отношением к смерти.

Смерть в поэтике "Tristia" — туманная переправа: из призрачного Петрополя в "полупрозрачный лес вослед за Персефой" — из элизиума в элизиум. Отлетает душа, оплакивается и обряжается тело. В "Tristia" как жизнь, так и смерть — обряд, таинственный и торжественный:

И праздник черных роз свершаем
Над аметистовой водой. (1917)

Здесь смерть — элемент античного действия, она театральна и празднична:

"На театре и на праздном вече
Умирает человек".

"Как от этой смерти праздничной уйти?" (1920)

Безымянная смерть не вызывает боли: "Человек умирает, песок остывает согретый". Умирание как убывание — закономерное и неизбежное остывание песка.

Мандельштам — поэт и философ — хозяин времени, лицедей любви, чародей смерти. "Сила искусства в непонимании смерти". Театральная смерть нестрашная, трагическая и прекрасная.

Настоящая смерть не трагедия, потому что и жизнь не театр. Смерть близкого человека это удар. Она не только утрата, но и осознание своей смертности. Вторгаясь в жизнь, смерть отвергает прекрасное как прикрашенное:

Чище смерть, солёнее беда.
И земля правдивей и страшнее. (1921)

В 21-м году Мандельштам впервые испытал страх не "в присутствии таинственных высот" (1912), но перед самой настоящей земной смертью. Удивительно, еще в 20-м году поэта пугало лишь зияние вечности, а ведь были и смерть, и голод, была тюрьма во врангелевском Крыму. Сам собою напрашивается вопрос: неужели Мандельштам ничего не боялся?

Ты шел бестрепетно, свободный гражданин,
Куда вела тебя Психея. (1917)

Психея — спутница "эллинизма" — помогала поэту только тогда, когда "эллинизм" был концепцией жизни.

Нарушая иллюзию равновесия, смерть разбивает любые концепции. Горе не согласуется с мифом. И мы замечаем: в поэзии Мандельштама "Психея" исчезла из словаря.

Новый период в поэзии Мандельштама мы объясняем в первую очередь новым отношением к жизни. Жизнь больше не театр. Так уже было в момент разрыва с Арбениной, но лишь на мгновение. Почему же не страсть, а смерть навсегда обратила поэта к жизни?

Страсть притупляет совесть, смерть — пробуждает ее. Умирание сопровождается соумиранием. Те же, которые остаются жить, считают себя неправыми. Это сознание своей вины и есть совесть,* т. е. соль земли, посыпанная на свежие раны.

И земля по совести сурова.

Можно ли утверждать, что в период "Камня" и "Tristitia" поэзия Мандельштама была продиктована совестью? Мы не знаем. Как бы то ни было, ни в стихах, ни в статьях Мандельштама до 21-го года ни разу не появляется слово "совесть". Она не была элементом его поэтики.

Теперь мы подходим к самому главному. Нам предстоит понять, как в языке поэта появляется новое слово.

Совесть — понятие идеальное и, говоря объективно, столь же незримое, как Психея. Реальность того и другого поверяется силой воздействия. Их различие в прикрепленном глаголе: душа влечет, совесть — приказывает. В 21-м году, повинувшись новой модальности, Мандельштам открывает в самом себе доселе молчавшее слово. "Совесть" заменяет собой "Психею".

Свойства души — тонко чувствовать, участвовать, откликаться. Душевная чуткость и душевный порыв составляют динамику социального театра. В игру включаются костюмы, манеры, сознание... все, только не совесть.

В игре люди и вещи выделяются. Совесть в понимании Мандельштама это суровость и грубость:

Чище правды свежего холста
Вряд ли где отыщется основа. (1921)

"Щварк раздираемого полотна может означать честность". Истинное бытие человека и вещи суровое, т. е.

*Этой мыслью мы обязаны Н. Федорову.

** Ср. у Лермонтова: "Тогда пишу. Диктует совесть..."

сырое, невыделанное. Обнаженная совесть это наша неприкрашенная основа.

Чем отличается обнажение от пробуждения? Главным образом, своей остротой.

Столкновение с жизнью сильно повлияло на речь поэта, вплоть до появления в ней новых слов: соль, совесть, беда, обида, правда, клятва, хребет, хрящ, холст, рогожа. Это приметы жесткости.

Реальное оказалось намного острее культурного: "Звездный луч, как соль на топоре", и звезда обнажает лезвие.

И. словно сыплют соль мощною дорогой,
Белеет совесть предо мной.

Смерть внесла в жизнь, а совесть в поэзию привкус соленый и острый.

Время, гибкость и хрящ.

Каждый этап в поэзии Мандельштама связан с особым темпом протекания жизни, а значит, с особенным восприятием времени.

В "Камне" время почти всегда неподвижно. Это застывшее время остановившихся форм:

"Как бы цезурою зияет этот день",
"И вечность бьет на каменных часах".

В "Tristia" время уже трогается с места, но медленнее, чем стекает мед или смола:

Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго ...

"В мире не существует сила, которая могла бы ускорить движение меда, текущего из наклонной склянки". Увязая в этом медовом времени, поэт движется ничуть не быстрее, чем оно. Время тянется, отягощая, как бремя:

У меня остается одна забота на свете:
Золотая забота, как времени бремя избыть. (1920)

В 21-м году Мандельштам сталкивается с набегающей на него лавиной — историческим временем.

Хорошо известна связь "Грифельной оды" с предсмертным стихотворением Державина:

Река времен в своем стремленьи
Смывает все дела людей.

"Люди голодны. Еще голодней государство. Но есть нечто более голодное — время".

Вода голодная течет,
Крутясь, играя, как звереныш. (1923)

Историческое время хищное и стремительное. Чтобы не быть сломленным или сметенным, надо, по меньшей мере, сделаться гибким.

Идея гибкости способна служить ключом к исследованию поэтики Мандельштама. В период "Камня" и "Tristia", внимательный к внутренней музыке и словно не замечающий стремительной современности, Мандельштам был подобием "мыслящего тростника":

Из омута злого и вязкого
Я вырос тростинкой шурша... (1910)

Помните, уже в "Камне" в качестве материала появилось сухое дерево. "Tristia" сама звучит как тростник, а вот некоторые элементы ее поэтики: сухое дерево, сухой песок, сухая пыль, шелестящий шелк, "невзрачное сухое ожерелье из мертвых пчел".

Ясно, что высушенный материал не является частью живой природы. Жизнь проявляется в дыхании и движении. И вот — в стихах 20-х годов — мы впервые встречаем у Мандельштама динамику жизни: гибко змеится стремительная вода,

и в траве гадюка дышит
мерой века золотой. (1923)

Два начала — сухость и гибкость — борются в стихах 20-х годов. Поэт отчетливо разделяет живую гибкость и "эллинизм" — шуршанье спичкой, ворошение соломы и "сухоньких трав звон".

Буйство крови как проявление жизни впервые у Мандельштама встретилось в "Tristia":

Но хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла.

“Эллинизм” отступает под натиском сильного чувства.

В 20-е годы вторжение крови в поэзию происходит, понятно, совсем иначе:

Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей. (1923)

* * *

Хрупкость человека и материала можно проверить только внешним воздействием. Кажется, поколение Мандельштама испытало на себе давление времени:

“Все стало тяжелей и громаднее, потому и человек должен стать тверже.”

Вес времени (выражение Шекспира) и его ускорение порождают в поэзии два качества — жесткость языка и стремительность речи:

Гварь, покуда жизнь хватает,
Донести хребет должна,
И невидимым играет
Позвоночником волна. (1923)

Позвоночник в поэтике Мандельштама — квинтэссенция стойкости и подвижности. Это и остов, сохраняющий от аморфности, и в то же время — возможность сделаться гибким.

Мы достаточно говорили о гибкости, необходимо сказать и о твердости. По мнению Мандельштама, отсутствие позвоночника то же, что отсутствие воли и вкуса, “а отсутствие вкуса есть ложь”. Т. о. понятие позвоночника имеет прямое отношение к совести.

Вслушайтесь в слово “честность”: у него как будто двойной остов — в корне и окончании — ЕСТЬ, ОСТЬ; есть остов и в “совести”.

Стихотворение Мандельштама “Век” посвящается разрушению человека. А сам XIX век, как справедливо заметила Л. Я. Гинзбург, “как бы двойник этого человека”. Т. е. если Мандельштам написал:

Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век! —

то это в первую очередь — личная катастрофа.

Разговор о цельности позвоночника не случайно возник в 23-м году. Именно в это время поэт почувствовал, что разбит позвоночник старый.

Кто свою кровью склеит
Двух столетий позвонки?

— это шекспировский вопрос о связи времен.

Мы позволим себе сравнить жизнь Мандельштама с историей Гамлета. (Ср. “Распалась связь времен... Не я ль рожден ее восстановить?”). Этим сравнением мы обязаны Льву Шестову, статье “Шекспир и его критик Брандес”. Шестов доказывает, что Гамлет до трагедии — это Жак из пьесы “Как вам это нравится”. Тот самый Жак, который произносит знаменитый монолог “Весь мир — театр”. И хотя “эллинизм” Мандельштама в целом далек от “мира-театра” Шекспира, общее для того и другого — условность.

Встреча Гамлета с тенью отца привела его в состояние, которое мы бы назвали стрессом. “Концерт на вокзале” — тризна по “милой тени” — также свидетельство духовного потрясения.

Стресс — “остановка мира” — распадение связи времен. И Гамлет, и Мандельштам от театра обращаются к жизни.

* * *

Корни Мандельштама в XIX веке. И поэт, не обладая достаточной гибкостью и при этом судорожно вцепляясь в свой Век, испытывает на себе деформацию сдвига:

Время срезает меня, как монету,
И мне уже не хватает меня самого.” (1923)

Подобно монете, у которой временем стачивается чеканка — ее историческое лицо, поэт начинает терять “ощущение личной значимости”, свою “биографию”.

* вариант: Корни Мандельштама в XIX в. И поэт, не обладая достаточной гибкостью, и к тому же начиная лысеть, почувствовал на себе непосредственное воздействие времени:

Холодок щекочет темя
И нельзя признаться вдруг —
И меня срезает время,
Как скосило твой каблук. (1922)

“Центробежная сила времени разметала наши венские стулья и голландские тарелки с синими цветочками. Ничего не осталось”. Потерявшие чеканку “медные, бронзовые и золотые лепешки с одинаковой почестью лежат в земле”.

“Я рядовой седок” — вот результат обмирщения при столкновении поэта со временем, личная смерть, достигшая своего апогея позднее, в “Стихах о Неизвестном солдате”. “Кто-нибудь”, “один из многих” ... стало золотой мерой века.

Обмирщение личности сопровождалось у Мандельштама огрублением, утяжелением речи. От мягкости эллинизма поэт переходит порой к архаической лапидарности:

И горячей рыбой мечет
В берег теплый хрящ морей. (1923)

Архаизмы это ископаемые слова, останки, остов языка, склеенный временем. В 22 г. Мандельштам писал: сейчас, когда “все кругом подается, все рыхло, мягко, податливо”, возникает желание “нащупать стены русской культуры”, найти орешек Кремля, акрополя. И находит его “в каждом слове словаря Даля”.

Заключение

Придя в себя после кризиса 21-го года, Мандельштам пытается жить по-старому — “тихонько гладить шерсть и ворошить солому” — вполне в традиции “эллинизма”. Он даже как будто обижается на жизнь за ее непрошенное вторжение, “за соленые приказы жестоких звезд”. В таком состоянии немудрено проявить немужественность и слабость:

... мне так нужна забота —
И спичка серная меня б согреть могла. (1922)

В 20-е годы тридцатилетний поэт, обижающийся на жизнь, кажется взрослым отроком в новорожденном государстве. Не по-детски ломается голос. Разнотем-

* Ср. у Ломоносова: “Не льдисты ль мещут огонь моря”.

бровые — эллинские и московские, хрупкие и суровые — стихии 20-х годов не укладываются в понятие книги, как “Tristia” или “Камень”.

Пытаясь гуманизировать надвигающееся столетие, породниться с XX в., поэт отчетливо сознает свою чужеродность:

Какая боль — искать потерянное слово.
Больные веки поднимать
И, с известью в крови, для племени чужого
Ночные травы собирать. (1924)

Болезненный разрыв с XIX-м веком привел Мандельштама к потере старых друзей, даже Ахматовой. Подобно Баратынскому решив вопрос о читателе (“читателя найду в потомстве я”), он остро чувствует необходимость “друзей в поколеньи”. Однако и революция, по словам Мандельштама, в дарах его “пока не нуждалась”.

Отметим, что в “дружеском” шарже “Заседание русской словесности” в журнале “Прожектор” (1923) Мандельштам с Пастернаком изображены отдельно от деятелей “буржуазной” культуры Ахматовой и Сологуба и в то же время отдельно от Маяковского и Светлова. Там же, в журнале “Прожектор”, Мандельштам поместил статью о поэте французской революции Огюсте Барбье по соседству с Н. Чужаком, ругающим “госпожу Ахматову”.^{*} Однако в искренности Мандельштама не приходится сомневаться: “Две недели назад были днями народного мятежа, минутами храбрости и энтузиазма. Теперь — возмущение совсем другого рода, восстание всех, добивающихся места. Они бегут в переднюю с такой же пылкостью, с какой народ шел на битву.”

Органическое неприятие такого перерождения затрудняет для Мандельштама социальную ориентацию, а

* Характерно, что высказывание о Гумилеве в “Шуме времени” (1923) — нарочито бесстрастное: “Один из моих друзей, человек высокомерный...” В то же время известно, что уже в 25-м году Мандельштам диктовал Ахматовой свои воспоминания о Гумилеве, а в 1928 г. в письме обращался к ней: “Дорогая Анна Андреевна, ... знайте, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми — с Николаем Степановичем и с Вами”.

следовательно, и творчество. Недаром в середине 20-х годов поэт впервые заговорил о лжи:

Кого еще убьешь? Кого еще прославишь?

Какую выдумаешь ложь?..

Эти вопросы не назовешь риторическими; искушению лгать Мандельштам противопоставляет молчание.

[. . .]

1930-1933

Личным усилием раннего Мандельштама было преодоление Тютчева и символистов: "Тютчев ранним склерозом, известковым окостенением ложился в жилах". В двадцатые годы уже не Тютчев и символисты, но весь XIX век закупоривает сосуды:

Век. Известковый слой в крови больного сына
Ивердеет. (1924)

Победить склероз может только усилие отстраняющей памяти. И в течение 20-х годов поэт пишет статьи "Девятнадцатый век" и "Барсучья нора", а также воспоминания "Шум времени". Мандельштам особо подчеркивает отличие своих воспоминаний от "Аксаковых Багровых внуков": "Повторяю — память моя не любовна, а враждебна и работает не над воспроизведением, а над отстранением прошлого". Что касается "отстранения", то в прозе Мандельштама 20-х годов мы видим не более чем сформулированную программу. Только в 30-м поэт окончательно отделяет себя от своей биографии:

Не говори никому.
Все, что ты видел, забудь —
Птицу, старуху, тюрьму
Или еще что-нибудь...

Или охватит тебя,
Только уста разомкнешь,
При наступлении дня
Мелкая хвойная дрожь.

Вспомнишь на даче осу,
Детский чернильный пенал.
Или чернику в лесу.
Что никогда не собирал.

(1930)

Все это (старухина птица, тюрьма во врангелевском Крыму, черника на даче в Павловске) было собрано еще в 23-м году, в "Шуме времени". Но книга все эти годы вероятно жила с поэтом.* Речь начинается, как последняя "хвойная дрожь" трогательного воспоминания.

* * *

Давайте договоримся сразу — поэт пишет только о том, что его волнует. Что же заботит сорокалетнего Мандельштама?

"Уж я теперь не юноша, не вьюн..."
"Я больше не ребенок!.."

(1931)

На "земле молодости" Мандельштам с юношеской запальчивостью отстаивает свой возраст. Окончательно отделившись от детства, поэт наконец минует пору взрослого отрочества, с трудом побеждая в себе обиду:

Еще обиду тянет с блюда
Невыспавшееся дитя.
А мне уж не на кого дуться.
И я один на всех путях.

(1931)

Так начались 30-е годы — первый период т. н. "зрелого Мандельштама", период настоящего возмужания.

В отношении возраста есть два полюса и два чувства — "стареющий сын" XIX в. становится молодым патриархом века XX-го: "Еще побыть и поиграть с людьми" звучит, как "поиграть с детьми", а

* Элементы автобиографичности есть и в "Египетской марке" (1927).

** Ср. в стих. 1924 г.:

Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,
Еще немного — оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.

Молодых рабочих
Таинственные узкие лопатки
И детские ключицы. Здравствуй, здравствуй

“Племя младое, незнакомое”) — переплетение отцовских чувств сорокалетнего Мандельштама и тридцатилетнего Пушкина.

“Могучий некрещеный позвоночник” — так характеризовал Мандельштам остов XX в. О собственном позвоночнике он больше не вспоминает.

Вкус и Совесть.

Мы думаем, понятие позвоночника имеет символический смысл. Действительно, в чем находит опору человек, чувствующий свою ненужность? Как ни странно это звучит, Мандельштам находит себе подобных, и не только “друзей в поколеньи” — нечто большее — целое племя: “Бородатые студенты в клетчатых пледах”, “литератор-разночинец в не по чину барственной шубе”, “веком гонимый взашей” Андрей Белый и, наконец, никем не понятый Дант — “внутренний разночинец старинной римской крови”. Всем “непризнанным братьям”, потерянным сыновьям века, Мандельштам приносит свою родовую клятву:

Для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги,
Чтоб я теперь их предал?
Мы умрем, как пехотинцы,
Но не прославим
Ни хищи, ни поденщины, ни лжи. (1931)

“Литература злится столетия и косится на событие пламенным косоглазием разночинца”. Любимым школьным предметом Мандельштама была “литературная злость”, а преподавал ее Гиппиус — “человек с колючим русско-монгольским лицом”.

Разночинец — незванный гость в русской литературе... Поговорим о татарщине. Во-первых, рабочие совершили татарский набег на историю:

... молодых рабочих
Татарские сверкающие спины

Могучий некрещеный позвоночник. (1931)

Во-вторых, сам Мандельштам совершил татарский набег на русскую поэзию: “Вот уже четверть века, как я наплываю на русскую поэзию, но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе.” Так и русский язык, будучи полонен татарами, все же выстоял, но остался в нем сабельным шрамом грубый татарский след.

Разночинец Мандельштам — ярый противник любой социальной и литературной барщины:

Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадьё.
(1931)

“Татаре”, “князья”, “разночинцы” — новые социальные символы в поэтике Мандельштама. Как же их понимать? Разумеется, не формально. Развалившись в креслах, в боярской шубе, “разночинец” Державин во что ни рядился, все равно оставался татаринном:

Сядь, Державин, развалился. —
Ты у нас хитрее лиса.
И татарского кумыса
Твой початок не прокис. (1932)

“Ей-богу, его гений думал по-татарски...”, — писал о Державине Пушкин. Не знаем как Пушкин, но Мандельштам понимал татарщину в первую очередь как подспорье в поэзии.

Дело представилось нам примерно так: первый татарский набег совершило время, и, “выбеленный пеной его гребня”, поэт “обретает язык”. До этого, по собственному признанию, он “учился не говорить, а лепетать”. Лепет определенно чего-то детского. Теперь появился жесткий мужской язык:

Звук сузился, слова шипят, бунтуют.

Трудно сказать, что такое сужение звука в фонетике, но, по крайней мере, узкий звук это звук резкий, как глаза татарина. “Вооруженный зреньем узких глаз” или “узких ос”... простите, все перепуталось.

В 29-м году вышла книга Тынянова "Архаисты и новаторы". Может быть откликом на нее явились стихи Мандельштама "О русской поэзии". Одно из них посвящено новатору Батюшкову с его "гармоническим проливнем слез", другое — архаисту Державину. Вот где слова толкаются, где слова бунтуют:

Капли прыгают галопом,
Скачут градины гурьбой
С рабским потом, конским топотом
И древесною молвой.

(1932)

Мы как будто на сабантуе татарских конников.

Чем хороша книга Тынянова? Тем, что в ней литературный процесс показан не как эволюция, но как борьба. С одной стороны, язвительная, с другой — нахрапистая:

И деревья брат на брата
Восстают. Понять спешите...

Архаисты — шипящие — Шишков, Шихматов, Шаховской — "тычут шпагами шишиги", новаторы — Жуковский и "нежный Батюшков". Мандельштам подбирает все, что лежит плохо. У архаистов — эстетику "шероховатости", "грубости" и даже "недостатков", "уродств", а у новаторов — "звуков изгибы", "шум стихотворства" и "говор валов".

* * *

Лучшие страницы в "Шуме времени" посвящены "литературной злости" — понятию, достойному особой статьи в Толковой Татарской Энциклопедии. "Мировая манила тебя молодящая злость" — это из стихов об Андрее Белом. А сколько "мучительной злости" связывает Некрасова с чудным племенем разночинцев!

Быть злым, горячечным, согреваться матерщиной-татарщиной, просто ругаться, "разговориться, выговорить правду, послать хандру к туману, к бесу, к ляду" — это ли не в России веселье?

В клубок свившиеся борцы — литератор и время, читатель и литератор — задача не победить, а выжать. Приготовление выжимки — вот участие "литературной злости" в жизни и в чтении.

"Злость" — это пристрастие, от слова "зело" — очень. Пристрастное чтение — чтение запретного, запряганного за строчками, между строчками — вытягиванье и воровство. А вот и пример: Иннокентий Анненский, "оригинальнейшей хваткой когтивший чужое", царскосельский директор, что "готовил настой таких горько-полынных стихов", которые иначе не назовешь, чем зелье.

Пристрастие приводит даже к разбою, "ведь не разбойничать нельзя". "Я читал бы по дороге самую лучшую книгу Зоценки и я бы радовался, как татарин, укравший сто рублей". У Мандельштама что ни чтение — кража. То ухватит словечко, то целую строчку. "Литературная злость, если бы не ты, с чем бы стал я есть земную соль?" Что поделаешь — снова кража. "С чем бы стал ты есть земную соль" — строка из стихотворения Пастернака.

Всю мировую литературу и всякое чтение Мандельштам делит на разрешенное и производимое без разрешения. "Первое — это мразь, второе — ворованный воздух". Где воздух? Между строчек: в пробелах, в "проколах", в "дырке от бублика". Что, например, нашел Мандельштам у дерптского студента Языкова — "щелканье и цоканье" его языка. Может быть, это:

Чаши чокались звонко.
Чаши, налитые жженкой...?

Или, что он нашел у дерзкого "славянина" Языкова — "щелканье и цоканье" его языка. Может быть, это:

Гворец бессмыслиц вопиющих
Явлений сухих и со-суших...?

* * *

Вкусовое пристрастие, непримиримость как следствие неравнодушия, — первая ступень к обнажению совести. Мы далеки от мнения, что совесть это и есть вкус, но "отсутствие вкуса есть ложь" — это правда. Поэтому мы переходим к вкусовому рецепту поэзии, которым в 31-м году Мандельштам поделился с Анной Андреевной Ахматовой:

Сохрани мою речь навсегда
за привкус несчастья и дыма.
За смолу кругового терпенья.
за совестный деготь труда ...
Как вода в новгородских колодцах
должна быть черна и сладима.
Чтобы в ней к Рождеству отразилась
семью плавниками звезда.

1. Ложка дегтя.

“Деготь труда” — это “черная повседневная работа писателя”, которую, как сказал Мандельштам, нельзя отделить от его “жизненной задачи”. Этой работой может быть и пристрастное чтение, и с трудом “отстраняющее” воспоминание, и страстное изучение итальянской речи, и просто молчаливая работа памяти; важно, чтобы труд был и совестливый, и злой. “И в кольцах сердится еще смола, сочась”... Смола — выжимка, трудовой пот растущего дерева. “Ход кольцевания” требует “кругового терпенья”.

Отношение Мандельштама к труду. “Есть блуд труда, и он у нас в крови”. Мандельштам презирает бесовский труд, “скрипучий труд”, что “омрачает небо”.

Омрачение неба — это помрачение совести, а скрипучий труд — это казенный скрип перьев:

... канцелярские птички
Пишут и пишут свои рапортчики. (1931)

это любой труд “тепличных юношей”, любой тли тленье: ведь

На миганье, мерцанье и тленье
Возобновляют всегда разрешение.

Скрип перьев означает насилие над пером. То ли дело отслаиванье грифеля! “Карандашей у меня много и все краденые и разноцветные”.

2. Ложка меда.

Хорошо известно перенесенное из античности представление о медовой основе поэзии и о самом поэте, как о пчеле:

Чтобы, как пчелы, лирники слепые
Нам подарили ионийский мед. (1919)

Почти из одного меда состояли стихи в “Tristia”. В 30-е

годы присутствие меда в поэзии выдает одно только слово — “сладима”. Речь стала мужественнее и суровее. И все-таки без меда поэзия не проживет.

Своего рода медом явилась для Мандельштама Армения, которая помогла поэту преодолеть молчание. Дружба является медом в человеческих отношениях. Кроме того, друг побуждает творить.

Поэзия начинается с пробуждения. “Я дружбой был, как выстрелом, разбужен” — так описывает Мандельштам свою встречу с биологом Б. С. Кузиным. “Ему я обязан тем, что внес в литературу период т. н. “зрелого Мандельштама”.

“Но ты живешь, и я с тобой спокоен” — это сладостная опора на “друзей в поколеньи”. И редкие медовые строчки в поэзии начала 30-х годов зачастую связаны у Мандельштама с именем Кузина:

И за эфес его цеплялись розы.
И на губах его была Церера. (1932)

3. Щепоть соли.

Тает в бочке, словно соль, звезда,
И вода студеная чернее ...

Черная вода, внешне не различимая с дегтем, — та основа, в которой должна отразиться и в которой должна раствориться, как соль, звезда.

Соль — литературная злость разночинца — “приправа к пресному хлебу понимания... заговорщицкая соль, с ехидным поклоном передаваемая из десятилетия в десятилетие в граненой солонке с полотенцем...” А Рождественская звезда в Евангелии сопутствует появлению Слова: “И, се, звезда, которую увидели они на востоке... остановилась над местом, где был Младенец” (Матф. 2. 9).

4.

“Привкус несчастья и дыма” внесли в поэзию “разночинцы”. Ведь разночинец всегда отщепенец, бедняк,

* Строчки из стих. “К немецкой речи”, посвященного Кузину.

неудачник... О "дыме отечества" впервые сказал Державин.

Итак, поэзия на вкус есть нечто горько-солено-сладкое. Соленое, как пот, кровь и слезы, сладкое, как мед, и горькое, как деготь и дым.

Поскольку мы заговорили о вкусе, следует сказать о его бесполезности. Разве вкус насыщает? Но вдохновение необходимо в поэзии, как и в кулинарии.

"Поэзия — роскошь, но роскошь насущно необходимая и подчас горькая как хлеб" (1933).^{*} Роскошь всегда вызывает зависть, на нее — то и зарятся, а там не далеко и до кражи. Вот почему о поэте можно сказать: в "роскошной бедности" живет бедняк разночинец.

1934-1937

В начале 34 г. умер Андрей Белый. И восемь стихотворений, появившихся в течение января, так или иначе связаны с его смертью.

Смерть Белого повлияла на жизнь Мандельштама не так, как смерть Гумилева. Принадлежавшие к разным течениям, оба поэта сблизилась только в 30-е годы.^{*} Не умаляя печаль Мандельштама об умершем человеке, можно сказать, что Белый в его глазах был последним угасшим символом смены столетий. И в первом стихотворении цикла ("Голубые глаза и горячая лобная кость"), посыпанном солью настоящей некрасовской злости, поэт с гневом отстаивает Андрея Белого перед грядущим и современным читателем. Новое отношение к слову появляется в стихотворении "10 января".

В понимании смерти мы все время спрашиваем совета у Федорова: "Из чувства утраты, из чувства сиротства рождается стремление к единению". Мандельштам участвовал в многолюдных похоронах. Мы знаем, как Россия хоронит своих художников.

^{*} Чем она и отличается от кулинарии.

^{**} В мае 1933 г., находясь в Коктебеле, Мандельштам читал Белому "Разговор о Данте".

Дышали шуб меха. Плечо к плечу теснилось.

Похороны Андрея Белого, как и 20 лет назад похороны Скрябина, оживили у Мандельштама идею соборности:

Быть может, мы — Айя-София
С бесчисленным множеством глаз. (1934)

20 лет спустя идея соборности приобрела совершенно иные реалии. Толпою назвал Мандельштам людей, собравшихся вокруг мертвого тела.

Два чувства поэта к толпе противоположно направлены. Первое — отталкивающее, враждебное. Сострадание Андрею Белому приводит Мандельштама к объединению с ним против всех, кто его окружает:

Да не спросят тебя молодые, грядущие, те.
Каково тебе там, в пустоте, в чистоте — сироте...

Чувство сиротства, о котором говорил Федоров, объединило Мандельштама и Белого, живущего и умершего. В этом проявилось соумирание.

То же самое чувство, вызванное утратой, порождает стремление ко всеобщему единению. Вслед за Пушкиным, в январских стихотворениях Мандельштам размышляет на тему "поэт и толпа". Оказавшись в гуще людей, объединенных событием, он почувствовал их дыхание и силу. Это чувство передалось в "Восьмистишия", где поэт говорит, что Гете, Шуберт и Моцарт "считали пульс толпы и верили толпе". В стих. "10 января" знаменитый гравер Фаворский, делающий посмертный портрет Андрея Белого, оказывается стоящим "посреди толпы". Наконец сам Мандельштам пишет, обращаясь к Фаворскому:

Как будто я повис на собственных ресницах
В толпокрылатом воздухе картин... (1934)

В этих двух строчках есть все об отношении художника и толпы. Поэт в толпе, но личность подчеркнута дважды, и местоимением "я", и прилагательным "собственных". Вглядываясь в происходящее, поэт выделяется из толпы своим пронзительным зрением.

В 37-м году Мандельштам возвращается к гравюрам Фаворского, и новые впечатления входят в стихи толпой, наводнившей знаменами и глазами грозную площадь:

Час насыщающий бесчисленных друзей.
Час грозных площадей с счастливыми глазами —
Я обведу еще глазами площадь всей —
Всей этой площади с ее знамен лесами.

Каким образом в языке воплощается новая для Мандельштама тематика? Густой человеческий материал требует такого же густого словесного. В отличие от речи, где каждое слово подобно гвоздю или крупице соли, стихи, посвященные человеческим массам, замешаны у поэта так густо, что невольно возникает сравнение с дегтем или смолою:

Ехала конная, пешая шла чернойверхая масса:
Расширюсь аорты могущества в белых ногах, нет
— в ножах —
Глаз превращался в хвойное мясо. (1935)

Мы чувствуем, как движимая потоком, черной человеческой жижей, строка вырастает из предыдущей, слово вытягивается из слова, как дерево из корней и ветки из дерева (“А в кольцах сердится еще смола, сочась”).

Не случайно на ум приходят растительные примеры. Ведь и сам Мандельштам уподобил припоминание феномену роста. “И здесь и там росток развивается не из себя, но лишь отвечая на приглашение, лишь вытягиваясь, оправдывая ожидание”. Ту же мысль находим в стихотворении “10 января”:

Как будто я повис на собственных ресницах,
И созревающий, и тянущийся весь ...

Пристальнее всматриваясь, вытягиваясь по направлению своего зрения, поэт пробивается сквозь густеющий словарный состав. Слова стоят в очереди, желая двигаться, но не двигаясь, как люди в очереди у гроба:

Сон в оболочке сна, внутри которой снилось
На полшага продвинуться вперед. (1934)

Та же языковая тенденция проникает в “Воронежские тетради”. Идет ли речь о потоке людей, тянущихся по этапу: “Сон был старше, чем слух, слух был старше, чем сон — слитен, чуток”; дает ли поэт метафору людского прибора: “Бежит волна, волной волне хребет ломая”; рассказывает ли о танковых маневрах:

В них оборона обороны
И брони боевой и бровь, и голова —

— всюду преодоление словесного материала, наращивание приставок, суффиксов и окончаний на корень, топтание слова на одном месте до тех пор, пока не будет написана целая статья из словаря Даля.

Стихотворение 37-го года, посвященное гравюрам Фаворского, еще глубже внедряется в тему “художника и толпы”. Мы уже затрагивали проблему соборности и сиротства. В 37-м году в своем переживании творческого одиночества поэт приходит к совершенно новому для себя опыту — чувству вины (“Я сердцем виноват”). Вторая строфа стихотворения “Как дерево и медь — Фаворского полет” кажется нам особенно важной и трудной. Помощь в ее понимании пришла неожиданно. Мы нашли ее в “Тетрадах”: у Валери: “Мне казалось, что эта толпа состояла отнюдь не из отдельных личностей ... я воображал ее ... какой-то лавиной частиц, совершенно тождественных и тождественно поглощаемых некоей бездной ... Я никогда не испытывал такого одиночества ... Я признавал себя виновным в грехе поэзии. Не был ли я внезапно исторгнут из лоно живущих, — в то время как сам лишал их всякого бытия?” *

Стояние Мандельштама в густой толпе, мы думаем, было не менее одиноким. Вот почему при разглядывании толп, насыщающих гравюры Фаворского, у поэта появляется чувство вины:

Я сердцем виноват и сердцевины часть
До бесконечности расширенного часа.

Чувство вины делает поэта причастным своему времени. Так Мандельштам решает вопрос, давно возникший в русской поэзии и оставленный без решения даже Некрасовым в “Поэте и гражданине”.

Сострадание умирающему народу, “миллионам убитых задешево”, — соумирание — нашло свое предельное воплощение в “Стихах о Неизвестном солдате”.

* См. Поль Валери “Об искусстве”, М., 1976, с. 143.

Стихотворение “10 января” является новой вехой не только с точки зрения тематики и языка. В нем впервые встречается редкая в русской поэзии интонация:

Где первородство? Где счастливая повадка?
Где плавкий ястребок на самом дне очей?
Где вежество? Где горькая украдка?
Где ясный стан? Где прямизна речей?

Вопросы, заданные в толпе, предназначены, разумеется, не современникам. Их смысл всеобщий, всечеловеческий. Перед лицом смерти чувство внутренней правоты из гражданского становится мирозданским.

Еще в 22-м году Мандельштам писал: “Есть более высокое начало, чем “гражданин” — понятие “мужа”. В чем отличие “гражданина” от “мужа”? “Гражданин” — понятие в первую очередь социальное, “муж” — в первую очередь человеческое.”

Находясь в толпе, прощаясь с одним из последних своих современников, поэт взывает к утраченным признакам человеческого. И его речь, впервые может быть, в русской поэзии, соединяет личное и космическое, подобно трагическим монологам Шекспира. “Трагедий не вернуть”, — писал Мандельштам, имея в виду красивую греческую трагедию — пластику пригвожденного Прометей.* И если в “Tristia” жизнь время от времени повторяла театр, то в середине века пафос трагедии становится способом осмысления сдвигов и катастроф. Речь выходит на уровень всечеловеческий, стирая границы государства, пространства и времени:

Воздушно-каменный театр времен растущих
Встал на ноги — и все хотят увидеть всех:
Рожденных, гибельных и смерти не имущих. (1937)

Что это — Апокалипсис или Ад, воспеваемый новым Данте?

* * *

* См. близкое приведенной строфе стихотворение 37-го года “Где связанный и пригвожденный стон”.

Образ жизни.

Воспоминания о Мандельштаме удивительно противоречивы. Современники не оставили нам достоверного портрета. Каждый из них строил свое представление о поэте. Оно и не удивительно, — оценивая человека, выходящего за пределы нашего разумения, мы невольно подгоняем его под схемы, наделяем понятными, типическими чертами. Вот откуда сложились два противоположных образа: юродивый, как-то странно одетый, низкого роста, чудаковатый, чуть ли не сумасшедший, и другой — человек сильный, высокий, с военной выправкой — Мандельштам, которого воронежские мальчишки принимали за генерала или священника.

Надо сказать, что пищу для таких расхождений давал сам Мандельштам. Кажется, изменяя в его облике подчинялись не ходу времени, но его содержанию — содержанию цикла или периода. Вот почему желающие составить себе достоверный портрет вынуждены ориентироваться исключительно на стихи.

В этой части мы попробуем обнаружить кое-что в облике Мандельштама; не его внешность, но, быть может, самое главное — отношение поэта к жизни, его способ мышления.

Я только в жизнь вливаюсь и люблю
Завидовать могучим хитрым осам.

В своем исследовании поэтики Мандельштама Л. Я. Гинзбург пишет: “Поэзия Мандельштама всегда возникала на стыке жизнебоязни и жизнелюбия”. Так ли это?

Имея в виду воронежские стихи, такая формула требует изменения:

Не разнять меня с жизнью, ей снится
Убивать и сейчас же ласкать.

В отношениях страстных любовников — жизни и Мандельштама — нет речи о жизнелюбии и жизнебоязни, здесь царит жизнестрастие. Впиваясь в жизнь, Мандельштам ставит себе в пример могучих и хитрых хищников.

Полноте, не иллюзия ли все это?! Не бунт ли это одинокого и “маленького человека”, которого современники

уподобляли птичке и который сам себя называет в стихах щеглом? Ни в коем случае.

Стихи о щегле насмешливые, иронические. Так же, в 27-м году, поэт подсмеивается над Парноком — своим двойником. Зато в 30-е годы в стихах Мандельштама появились пернатые хищники: орел (“там зрачок профессорский орлиный”), ястреб (“где плавкий ястребок на самом дне очей”), сокол (“и око соколиного пера”), коршун (“и коршун где, и желтоглазый гон его когтей, летящих исподлобья”).*

Что привлекало поэта в хищниках? Об этом сказано в “Разговоре о Данте”: “У Данте была зрительная аккомодация хищных птиц, не приспособленных для ориентации на малом радиусе: слишком большой охотничий участок”. Поэт-охотник, преследующий добычу, вооружается всеми пятью чувствами, и первое среди них — зрение. “Я быстро и хищно с феодальной яростью осмотрел владения окоема”.

В стихах 30-х годов — проявляя не жизнелюбие, а жизнестрастие — Мандельштам охотно предается самому страстному занятию на земле — поэзии:

Песнь одноглазая, растущая из мха.
Одноголосый дар охотничьего быта.

Зрение Мандельштама никогда не скользит по поверхности, его глаза имеют зубы и когти. “Зубы зрения” хватили добычу в Армении, а у воспетого в Воронеже коршуна когти, как и глаза, “летят исподлобья”.

В одном из весенних стихов 37-го года поэт говорит о мгновенной дезориентации зрения: “Заблудился я в небе: что делать?” Нужно представить себе равнину весеннего неба, чтобы понять: в небе не за что уцепиться. А еще раньше, зимой, на открытых просторах, в пустых полях, не найдя, на чем бы остановить взгляд, поэт в отчаянии крикнул: “Повязку бы на оба глаза!”

Своим охотничьим зрением Мандельштам замечает все, во что он может вцепиться, хоть “куст один”. Любая

* Еще в 1916-м Марина Цветаева напутствовала поэта:

На страшный полет крещу вас:
Лети, молодой орел!

неоднородность пространства, избыток вызывает, вытягивает зрение на себя. Вот почему голые равнины и небо днем были ему “недугом”, вот почему звезды притягивали его зренью ночью. “Нам союзно лишь то, что избыточно”.

Четверть века назад, в “Камне”, отказываясь от туманного символизма, поэт писал:

... и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?

Под старость зрение Мандельштама только усилилось. И что же — он еще не доволен своими глазами, ведь

едва научились они во весь рост
различать одинокое множество звезд. (1937)

В стихах воронежского периода Мандельштам называет зрение своим главным оружием: “Вооруженный зреньем узких ос...”. А немного раньше, в стихотворении 36-го года, поэт сравнил человеческие глаза с зенитками:

И зенитных тысячи орудий
Карих то зрачков иль голубых...

Глаза-зенки-зеницы-зенитки — таков скрытый в тексте оборонный порыв. Глаза это оружие — оружие для охоты, орудие для обороны.

Пора вернуться к охоте:

Песнь одноглазая, растущая из мха.
Одноголосый дар охотничьего быта.

Одноглазая песня, вырастая из мха, вытягивается вверх, подобно стволу дерева, — “глаз превращается в хвойное мясо”. Чтобы лучше увидеть, Мандельштам закрывает один глаз, другой, которым и стреляют, и целятся — это ствол орудия или дерева.

И всего-то две строчки, а мы заблудились в них ... кажется, они неотвязны. Снова и снова обращаемся вокруг образа, каждое слово скрывает в себе другое: одноглазие рождает одноголосость, поэтический дар, в контексте охотничьего эпитета, оборачивается добычей. На примере двух строчек мы вплотную столкнулись с тем, что Мандельштам назвал “обратимостью поэтической речи”. А посмотрите, что происходит со зрением: не человек, а песня владеет глазом, а тот, вытягиваясь, ведет за собой песню.

У поэтических ассоциаций нет однозначного толкования, значит, и не надо их толковать. Важно другое — то, что не вызывает сомнений: поэзия это охота, глаз это орудие, взгляд это ствол вырастающего из глаза хвойного дерева.*

Где-то Манделъштам написал, что глаз это орудие мышления. Мы уже свыклись с метафорой растущего из глаза орудия. Теперь предстоит сказать про вырастание мысли.

Говоря откровенно, вопрос этот очень сложен. Мы не привыкли задумываться, как появляется мысль. Кажется, либо она родилась, либо ее еще нет. Иными словами, мы привыкли к тому, что мысль “осеняет” внезапно, падает, сваливается на нас:

Кто камни нам бросает с высоты?

А вот пример поэтического откровения:

Немногие для вечности живут.
Но если ты мгновенным озабочен.
Твой жребий страшен и твой дом непрочен.

Эта мысль из ранних стихов Манделъштама кажется надписью, высеченной на камне.

В середине 30-х годов поэт открывает возможность принципиально иного мышления. Оно порождает не формулы, а текущую и формирующуюся речь. Такое движение мысли, сравнимое с ростом растения, Манделъштам назвал органическим. Процесс постижения яви направляется волей художника:

Я б слушал под корой текущих древесин
Ход кольцеванья волокнистый.

* Вспомним впечатление Манделъштама от Араратской долины: “Кругом глазам не хватает соли”. А задолго до этого в стих. “Нашедший подкову” сосны, а по-гречески “пинии”, “предлагали небу выменять на щепотку соли свой благородный груз”. Об этом же говорит поэт в стих. “Кама”:

И хотелось бы гору с костром отслоить,
Да едва успеваешь леса посолить.

Леса посолить — глаза посолить. Соль — это суть, самое главное, острая приправа к мысли и зрению.

Органическое мышление, воплощаемое в поэзии, — это одновременно рост мысли, слова и зрения. Мыслью поднимается человек над самим собой, преодолевая материальную замкнутость, и тогда “голуботвердый глаз” проникает в законы природной тверди, а “ушная раковина истончается” и получает новый логический завиток:

И тянется глухой недоразвиток.
Как бы дорогой, согнутою в рог. —
Понять пространства внутренних избыток
И лепестка и купола залог. (1934)

Закрученное в рог умное ухо, глаза — спутники мысли, сильные своей памятью пальцы, ноздри — следопыты знакомых запахов, и даже язык — сладстена и увалень — вот орудия органического мышления. Используя все пять чувств, поэт доходит до пространственного избытка умом, дотягивается слухом и дорастает зрением.

Как сказал Манделъштам, органическое мышление является не придатком творчества, а его целью; а значит и стихотворение — не изъявлением чувств, а самим процессом созревания-понимания-превращения.

Как появляется поэтическая материя? —

растет, как будто каждый ствол
На арфу начал гнуть Эол
И бросил, о корнях жалея.
Жалея ствол, жалея сил:
Виолу с арфой пробудил
Звучать в коре, коричневая.

Способность к росту и орудийному превращению объединяет музыку, зрение и растение. Не так ли в стихотворении 37-го года мужественная и звонкая флейта “зрела, маялась, шла через рвы”?

Особенности органического мышления мы иллюстрировали стихами по содержанию “биологическими”. Можно было привлечь и другие стихи. Помните, мы говорили о вырастании из толпы, вытягивании и созревании ресничного зрения (стих. “10 января”). Неудивительно, что в стихах 36–37 гг. то же направление в речи повторяется снова, ведь этот “медленный одышливый простор” так и располагает поэта к напряженному всматриванию и вслушиванию в ожидании всадника, путника или вести.

Мы хватаемся за последнее слово. Слово вырастает из слова: ... в ожидании всадника, путника или вести:

Я обращался к воздуху — слуге.
Ждал от него услуги или вести ...

Вслушайтесь, весть означает свет! — так в начале книги мы будили поэтическое внимание читателей.

Не белый свет, ровно разлитый в воздухе, а направленный луч волнует наше воображение.

“Книжка моя говорит о том, — писал Манделъштам о “Путешествии в Армению”, — ... что свет есть сила”.

Начиная с двадцатых годов в поэзии спорят, как следует говорить: громко (“во весь голос”) или тихо (“начерно, шопотом”). Маяковский считал, что стих его до будущих времен дойдет “не так, как свет умерших звезд доходит”. Иную позицию занимал Манделъштам. Он сообщался с будущим единственно возможным (в физике и поэзии) способом — излучением света:

Он только тем и луч.
Он только тем и свет.
Что шопотом могуч
И лепетом согрет.

По признанию Манделъштама, его свет согревается нежным лепетом. Но могущество речи в другой составляющей —

Звонким шопотом честолюбивым,
Вспоминающим топотом губ ...

Лирический шопот как элемент задушевности ассоциируется с “робким дыханием” Фета. В стихах Манделъштама шопот иного свойства. Он восходит к смутным пророчествам Пушкина,* к “топоту”, “ропоту” Сологуба.**

* Что ты значишь, скучный шопот?
Укоризну или ропот
Мной утраченного дня!
От меня чего ты хочешь?
Ты зовешь или пророчишь?

** Я ухо приложил к земле,
Чтобы слышать конский топот,
Но только ропот, только шопот
Ко мне доходит по земле.

Но в отличие от предшественников, наделяющих шопот силой полночной, мистической, Манделъштам достигает в поэзии слепящей отчетливости:

Я скажу это начерно, шопотом.
Потому, что еще не пора:
Достигается потом и опытом
Безотчетного неба игра.

Что общего между речью и зрением? Говоря о доблестях лирического поэта, Манделъштам во главу угла ставил его способность к особой аккомодации глаза.

Когда поэт вступает с материей в близкое действие, его зрение становится близоруким, приближается к осязанию:

Шестого чувства крохотный придаток
Иль ящерицы теменной глазок.
Монастыри улиток и створчаток,
Мерцающих ресничек говорок.

Здесь речь вместе с дрожью ресниц приобретает все признаки лепета. Суффиксы, уменьшительные и ласкательные, “обмолвки” и “оговорки” согревают стихи, нячат, оберегают каждое слово.

Свет далекой звезды всегда холоден. В нем удивляет другое — могучая проникающая способность. Растеряв тепло, он доносит самое главное:

Весть летит светопыльной дорогой
.....
От меня будет миру светло.

Только несколько раз Манделъштам позволяет себе аккомодацию на бесконечности, например, в “Стихах о Неизвестном Солдате”. А в конце стихотворения “Может быть это точка безумия” поэт просит прощения у близкого человека за недостаток тепла в своей речи.

Между тем, в поэзии, как и в природе, всегда соблюдается закон сохранения. Каждое подлинное свидетельство заключается в излучении некоторой суммы тепла и света. Соотношение между ними задается аккомодацией зрения.

* О теменном глазке как о промежуточном органе между зрением и осязанием см. напр. в БСЭ.

В стихах, где доминирует лепет, поэзия напоминает игру. Глаз с его “мерцающими ресницами”, чудака щегол в “клеветущей” каждой спицею клетке, улитки, створчатки и прочая мелюзга — все разыгрывается, согревается говорком.

Там, где вступает могучий шопот, поэзия — не игра, а война. Тогда и поэт называет себя солдатом:

Наливаются кровью аорты
И звучит по рядам шопотком:
Я рожден в девяносто четвертом,
Я рожден в девяносто втором ...

К выходу в свет книги О. Мандельштама

“КАМЕНЬ”

(Ленинград, 1990)

Серия “Литературные памятники” пополнилась в конце минувшего года новой книгой: Осип Мандельштам. “Камень”. — (издание подготовили Л. Я. Гинзбург, А. Г. Мец, С. В. Василько, Ю. Л. Фрейдин. Ленинград. “Наука” Ленинградское отделение, 1990, 398 стр. Тираж 150.000. Цена: 10 р.), — появление которой станет заметным событием и для специалистов, и для всех, кому интересна история поэзии и литературной жизни начала XX столетия. Книга эта — первое в России собрание всех ныне известных текстов Мандельштама, относящихся к периоду 1903–1915 годов.

Основной корпус стихотворений воспроизведен авторами по второму изданию сборника “Камень”: Стихи. Петроград. Гиперборей, 1916, с дополнением двух стихотворений, “исключенных ранее военной цензурой”, и устранением искажений и опечаток.

Вторую часть книги образуют восемь разделов, объединенных под общим заголовком: “Дополнения”:

1. Стихотворения 1908–1915 гг., вошедшие в последующие сборники.
2. Стихотворения 1908–1915 гг., не вошедшие во второе издание “Камня” и последующие сборники.
3. Два юношеских стихотворения 1906 г.
4. Статьи и фрагменты прозы.
5. Рецензии О. Мандельштама на книги И. Эренбурга, И. Северянина, Дж. Лондона, Ж. Гюисманса, И. Анненского, С. Городецкого и П. Кокорина.
6. Письма к родным и знакомым 1903–1915 гг.
7. Рецензии на “Камень”.
8. Фрагменты дневниковых записей и переписки С. П. Каблукова, связанные с именем Мандельштама.

В последней, третьей, части книги, озаглавленной “Приложения”, помещены статьи Л. Гинзбург “Камень” и

А. Г. Меца “Камень” (к творческой истории книги), а также “Избранные даты жизни О. Э. Мандельштама”, комментарий, шуточные стихотворения, дополнения и справочный аппарат.

Авторы стремились как можно более полно указать все источники текста, прижизненные публикации и, что особенно важно, все редакции текста.

Внимание читателей в России привлекают разделы II и VI “Дополнений”, в которых представлены стихотворения и письма, печатавшиеся ранее только в ВРСХД, собраниях сочинений Мандельштама и других изданиях, выходящих на Западе. За исключением отдельных разрозненных томов, случайно оказавшихся в спецхранах крупнейших советских библиотек, издания эти вплоть до нынешнего времени остаются практически недоступными даже для исследователей. Тем ценнее кажутся и чрезвычайно аккуратно выполненные примечания, в которых указания на место первой публикации приводятся верно и в тех, довольно частых, случаях, когда эти публикации осуществлялись в изданиях эмиграции. (К сожалению, некоторые советские исследователи все еще как бы стесняются /отчего бы?/ вводить в научный оборот у себя на родине многие западные публикации, то ли намеренно не замечая их, то ли не ведая о самом существовании подобных публикаций, чем зачастую значительно понижают качество собственных работ.)

Очень удачным, на наш взгляд, представляется и помещение в книге тщательно собранных рецензий на первое (1913 г.) и второе (1916 г.) издания сборника “Камень” (5 и 18 рецензий соответственно).

Отдельно остановимся и на части VIII “Дополнений” — дневниковых материалах С. П. Каблукова.

Записи Каблукова (преподавателя математики, действительного члена СПб Религиозно-Философского общества), посвященные Мандельштаму, большей частью были впервые опубликованы в журнале ВРСХД, №129, 1979 и использованы Н. А. Струве в “Делах и днях” Мандельштама — последнем разделе его книги “Осип Мандельштам” (Лондон, 1988).

В небольшом предисловии, посвященном С. П. Каблукову (автор А. Г. Мец) допущена неточность. На с. 357 сказано, что среди дневниковых материалов Каблукова, хранящихся в Публичной библиотеке в Ленинграде (фонд №322), отсутствует тетрадь с записями за 1 января–16 февраля 1908 г. Такое указание неверно, ибо Каблуков начинает вести свой дневник только в 1909 г., и, думаем, неточность эта является следствием досадной опечатки.

Некоторое недоумение вызывает и подпись под фотографией, помещенной на листе шестом вкладки. На снимке изображены С. П. Каблуков и его друг С. В. Лурье, играющие в шахматы. Подпись под фотографией гласит: “С. П. Каблуков (слева) и С. В. Лурье. Москва, 3 января 1914 г.” Такая же подпись помещена и в списке иллюстраций (с. 376).

Между тем, более внимательное прочтение записей дневника не оставляет сомнений в том, где на указанном фотоснимке изображен автор дневника. Наиболее замечательны в этом отношении записи за 30–е июля (ф. 322 №5, л. 354) и за 19–ое августа (ф. 322 №6, л. 388) 1909 г.

В первой, излагая свои впечатления от поездки к художнику Илье Ефимовичу Репину в “Пенаты” (станция Куоккала Финляндской железной дороги, ныне поселок Репино), Каблуков среди прочего замечает: “И. Е. Репин сказал, что я очень похож на Соловьева в его молодые годы, /... /”. Во второй, в самом конце, Каблуков отметил: “Да еще запишу для памяти, что И[лья] Е[фимович] вновь много раз говорил, что я изумительно похож на Вл. Соловьева и лицом и тембром голоса (даже)”. Одного взгляда достаточно, чтобы, исходя из этих замечаний, определить, что из двоих изображенных на снимке людей более соответствует такому описанию мужчины, сидящий справа.

К сожалению, отсутствует указание на место хранения другого снимка, также изображающего Каблукова (помещен на л. 5 об. вкладки).

В заключительной части книги, “Приложения”, обращает внимание статья А. Г. Меца, который не только с большой тщательностью разбирает состав всех дошедших до нас источников текста сборника “Камень”, но и пуб-

ликует дарственные надписи поэта на экземплярах первого и второго изданий сборника:

на экземплярах первого издания — М. Л. Лозинскому, Анне Ахматовой, К. В. Мочульскому, две надписи Вячеславу Иванову, З. А. Венгеровой;

на экземплярах второго издания — С. Э. Радлову, Георгию Иванову, Г. В. Адамовичу, М. И. Цветаевой и Рюрику Ивневу.

Составители ограничились публикацией лишь избранных дат жизни поэта. В книге же, выходящей столь значительным тиражом, конечно, хотелось бы видеть более подробный очерк биографии Мандельштама.

Аккуратно выполнен обширный справочный аппарат.

Остается пожелать только, чтобы и другие выпуски серии "Литературные памятники" соответствовали высокому уровню подготовки первого сборника Мандельштама.

К*

МАНДЕЛЬШТАМ В ПАРИЖЕ

Перед нашими глазами формуляр записи Осипа Мандельштама в Сорбонну, извлеченный из Национального Архива по нашей просьбе госпожой Пигети (шифр: *Archives Nationales — AJ¹⁶ 5002*)

Формуляр не только подписан, но и заполнен рукою Мандельштама, о чем свидетельствует сходство подписи и вписанной фамилии, а также неловкие обороты или ошибки французского языка. В графе второй (место и дата рождения) О. Мандельштам пишет "2^{me} janvier", типичный перевод с русского (по-французски в датах порядковое число не употребляется). В графе третьей (место проживания) Мандельштам написал *rue Sorbonne*: надо *rue de la Sorbonne*. В графе пятой (степень) М. написал "Certificat de Russie" (буквально: диплом России), что означает аттестат зрелости, но звучит дико, не по-французски. Отметим также, что свою фамилию латинским шрифтом М. писал через два "М", соответственно ее немецкому происхождению.

Семнадцатилетний студент Мандельштам прожил в Париже с осени 1907 г. по лето 1908 г. Свой обыкновенный парижский день он описал в письме к матери от 20 марта 1908 г. (впервые напечатанном в "Вестнике РХД №97):

"... Время провожу так: утром гуляю в Люксембурге. После завтрака устраиваю у себя вечер — т. е. завешиваю окно и топлю камин и в этой обстановке провожу два-три часа... Потом прилив энергии, прогулка, иногда кафе для писания писем, а там и обед... После обеда у нас бывает общий разговор, который иногда затягивается до позднего вечера, это милая комедия. К последнему времени у нас составилось маленькое интернациональное общество из лиц, страстно жаждущих обучиться языку... и происходит невообразимая вакханалия слов, жестов и интонаций под председательством несчастной хозяйки...

Вчера, например, я до самого вечера говорил с неким молодым венгерским писателем о превыспренних материях, состязаясь с ним в искажении языка. Этот талантливый поэт настойчиво употребляет странное выражение: "мустар" для обозначения горчицы (мелко, но характерно). /... /"

UNIVERSITÉ DE PARIS

FACULTÉ DES LETTRES

N° du registre d'immatriculation: 1070

Année 1907-1908.

N° de la quittance: 8356

Ordre d'études: Certificat d'études

françaises

Nom, prénoms: Joseph Mandelstam

Lieu, date de la naissance: Varsovie, 2^{me} Janvier, 1891

Adresse de l'étudiant: Rue Serbelloni, 14

Adresse des parents:

ou

Résidence du tuteur: Pétersbourg, Sergievskaja 60

Grades dont l'étudiant est pourvu: Certificat de Russie

Prépare-t-il un examen? Lequel? Certificat d'études français

Est-il pourvu d'une fonction universitaire?

Est-il élève d'une école ou d'une autre faculté? Certificat de Russie

Se destine-t-il à l'enseignement?

SIGNATURE DE L'ÉTUDIANT:

Mandelstam

Дом*, в котором он снимал комнату, сохранился, в нем расположена школа. Он соседствует с домом №10, в котором знаменитый французский поэт Шарль Пэги имел свою книжную лавку и издательство, но ни в статьях, ни в письмах Мандельштама нет упоминания имени Пэги (хотя обоих связывало увлечение Бергсоном).

Какие лекции слушал О. Мандельштам, пока установить не удалось.

H. C.

* Но в напечатанном нами письме стоит номер 12, а не 14. Поиска, или Мандельштам переехал в соседний дом?

**ЗАМЕТКА О ЧЕТВЕРОСТИШИИ
АННЫ АХМАТОВОЙ**

В №156 "Вестника РХД" напечатано несколько мало-известных стихотворений А. Ахматовой. Одно из них, а именно четверостишие:

И клялись они Серпом и Молотом
Пред твоим страдальческим концом:
"За предательство мы платим золотом,
А за песни платим мы свинцом".

— обращено несомненно к Н. С. Гумилеву. Со слов Надежды Григорьевны Чулковой, близко знавшей А. Ахматову, — четверостишие сказано ею, когда она утром вышла из своей комнаты, накануне узнав о расстреле Н. Гумилева.

Таким образом следовало бы уточнить датировку стихотворения — не 1960 гг., а определенно 1921 г.

* *
*

АНКЕТА Н. С. ГУМИЛЕВА

Привожу также анкету, заполненную Н. С. Гумилевым, вероятно, в 1919 г. :

(штамп)

..... (неразборчиво)

(Комитет Профессиональных дел)

АНКЕТА

I

- | | |
|--|--|
| 1. Фамилия | Гумилев |
| 2. Имя | Николай |
| 3. Отчество | Степанович |
| 4. Год рождения | 1887 |
| 5. Общее образование | Сорбонна |
| 6. Когда начал литерат. деятельность | 1905 |
| 7. Наименование работы | стихотворческая |
| 8. В какой степени литература является и являлась вашей профессией | в полной |
| 9. К какому литературному течению принадлежите | к акмеизму |
| 10. Чем занимаетесь в настоящее время | розничной продажей домашних вещей |
| 11. Какие обстоятельства мешают заниматься литературным трудом | низкая оплата труда, закрытие рынков в связи с отсутствием пайка, большая семья. |

II

- | | |
|--|---|
| 1. Семейное положение | |
| А) Число работоспособных членов семьи | (прочерк) |
| Б) Число неработоспособных членов семьи с указанием кто именно | 4
мать, 67 лет;
жена (больна);
сын Лев 7 лет;
дочь Елена 1,5 г. |
| 2. Адрес | Преображенская, 25. |
| 3. Подпись | Н. Гумилев |

Издательство « YMCA-PRESS »
11 rue de la Montagne-Ste-Geneviève, 75005 Paris, F.

П. Н. ЛУКНИЦКИЙ

“ А С У М И А N A “
ВСТРЕЧИ С АННОЙ АХМАТОВОЙ

том I : 1924-1925 гг.

Первое полное издание дневника юного
Эккермана Ахматовой

*“Ахматова встает перед нами как живая без при-
крас. одновременно в своем величии и повседневности”* (из предисловия Н. А. Струве).

347 стр.

цена: 120.- фр.

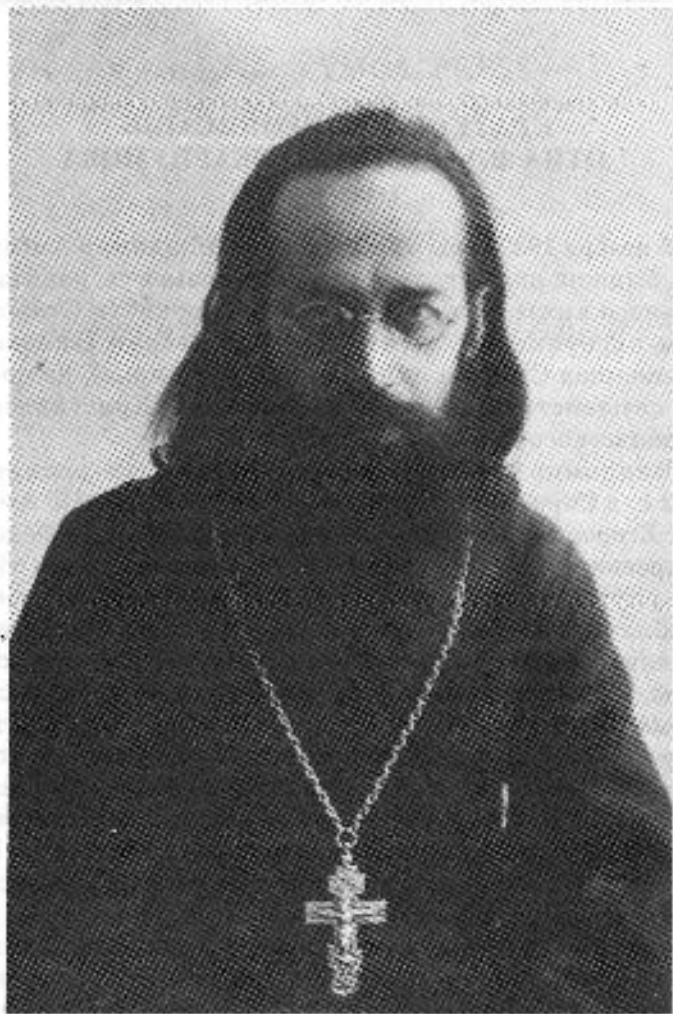
**КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
ОТЦА ВЛАДИМИРА АМБАРЦУМОВА**

(1892-1937)

5 ноября 1937 г. был расстрелян о. Владимир Амбарцумов, бывший настоятель московских храмов св. равноапостольного князя Владимира, что “на горке” (в Старосадском переулке) и святителя и чудотворца Николая у Соломенной Сторожки (на Ивановской улице), до принятия священства один из руководителей Христианского студенческого движения в России.

Владимир Амбарцумович Амбарцумов родился в 1892 г. в Саратове в лютеранской семье. Его отец, Амбарцум Егорович, чистокровный армянин, вместе с Федором Андреевичем Рау был одним из основоположников обучения глухонемых в России. Мать, Каролина Андреевна Кноблех, происходила из немцев Поволжья. По вероисповеданию она была лютеранкой, в ее роду были миссионеры. Каролина Андреевна вышла замуж из-за сострадания к овдовевшему Амбарцуму Егоровичу и его трем осиротевшим детям. От второго брака у Амбарцума Егоровича было еще трое детей, младший из них — Владимир.

Свое образование Владимир начал в Московской Петропавловской гимназии. Он увлекается физикой. Конструирует различные электрические приборы. Однажды соорудил электрическую “пушку”, которой насквозь прострелил стену бревенчатого дома. По окончании гимназии он поступает на физико-математический факультет Берлинского университета, где знакомится с Христианским студенческим движением. В середине июля 1914 г., проснувшись утром, он почувствовал, что надо возвращаться в Россию. В один день завершив все дела, он садится на поезд. Впоследствии выяснилось, что это был один из последних поездов, пришедших из Германии в Россию перед началом I Мировой войны.



о. Владимир Амбарцумов
вскоре после принятия сана

Вернувшись в Москву, Владимир Амбарцумович заканчивает свое образование в Московском университете. В Москве он становится членом Христианского Студенческого кружка (ХСК) и переходит из лютеранства в баптизм.

В 1916 г. он женится на кружковке Валентине Георгиевне Алексеевой. Смыслом жизни супругов была проповедь Евангелия среди учащейся молодежи.

Во время Гражданской войны из-за голода в Москве Владимир Амбарцумович с семьей и рядом близких друзей переезжает в Самару, где в это время активную проповедническую деятельность проводит Владимир Филимонович Марценковский. Владимир Филимонович читает лекции на темы “Молодость и подвиг”, “О смысле жизни”, “О смысле красоты”, “О создании характера” и другие темы в различных учебных заведениях. К этому времени в Самаре Петром Ивановичем Чекмаревым с друзьями уже была сделана попытка организовать студенческий христианский кружок. После же приезда москвичей всю организационную работу взял на себя Владимир Амбарцумович. Возможно, что структура кружка была им заимствована из христианских кружков Германии. В кружки записывались после публичных лекций В. Ф. Марценковского или на общих собраниях кружков. Была создана двуступенчатая система: сочувствующие и действительные члены. Последние получали значки: **с Рх** (Российские Студенческие Христианские кружки)

Позже, уже в двадцатые годы, была введена и еще одна ступень — “работники” — лица, утвержденные в вере, которые обладали даром речи, вели кружки и которые в приказном порядке могли быть посланы в любой город в помощь любой местной секции.

В Самаре существовало около 10 кружков, с количеством членов от 10 до 15 человек. Собирались на частных квартирах, по договоренности с хозяевами.

Первое время москвичи жили в доме Чекмаревых. Затем по инициативе Владимира Амбарцумовича был приобретен одноэтажный дом пятистенок. Сам Владимир Амбарцумович принимал активное участие в ремонте этого дома. Дом был разделен пополам. В одной половине

дома жила семья Владимира Амбарцумовича, в другой, три комнаты, по воскресеньям проводились общие собрания кружка, а в будни и просто занятия кружков. Владимир Амбарцумович в это время занимался только кружком и жил на его содержании, за счет членских взносов и пожертвований.

В 1920 г. в Самаре Владимира Амбарцумовича арестовывают в первый раз и увозят в Москву, где выпускают с подпиской о невыезде. Валентина Георгиевна с сыном также возвращается в Москву, где Владимир Амбарцумович восстанавливает связь с студенческими кружками.

Он находит брошенный дом в Кречетниках и с помощью студентов приводит его в порядок. В этом доме проводились собрания и занятия кружка и жили активисты кружка, в том числе и семья Владимира Амбарцумовича. До сноса этого дома в 60-х годах перед строительством проспекта Калинина в нем жили многие из бывших кружковцев: Лидия Николаевна Афанасьева, Мария Ивановна Гертер, Александра Васильевна Филинова. Последняя практически до конца своей жизни в 1968 г. вела христианскую проповедь среди молодежи, создавая небольшие (4–5 человек) группы по изучению Слова Божия. Численность этих групп ограничивалась конспиративными причинами.

Вслед за организацией базы в виде дома Владимир Амбарцумович организует Центральный Комитет Христианских Студенческих Кружков, который объединяет все кружки в России и возглавляет его. ЦК ежегодно организует съезды, на которые съезжались представители кружков из разных городов России. Последний легальный съезд проводился в 1924 г. у немцев меннонитов.

В двадцать третьем году скоропостижно умирает супруга Владимира Амбарцумовича, Валентина Георгиевна, оставив ему двух детей: сына Евгения и дочь Лидию. Перед смертью Валентина Георгиевна притянула к себе Владимира Амбарцумовича и сказала еле слышным голосом: “Володенька! Я умираю, но ты не очень скорби обо мне. Я только прошу тебя: будь для детей не только отцом, но и матерью. Поручаю тебе их и Женечку,

и Лидочку, и Никиту.* Времена будут трудные. Много скорби будет. Гонения будут. Но Бог даст сил вам и все выдержите...”

К сожалению, дальнейшее содержание этого прощания не сохранилось, хотя Владимир Амбарцумович сразу записал его и разослал по кружкам. Многие экземпляры этого прощания погибли при последующих многочисленных арестах кружковцев.

Отношения Владимира Амбарцумовича к жене хорошо характеризуются следующим эпизодом. Как-то во время занятия какой-то желающий все знать студент спросил:

— Владимир Амбарцумович! А когда вы больше любили свою жену, до свадьбы, когда она была вашей невестой, или после женитьбы?

Владимир Амбарцумович ответил:

— До свадьбы я ее очень, очень любил, а после женитьбы я плохо различаю, где кончаюсь я, а где начинается она.

Владимир Амбарцумович очень переживал смерть супруги, но внешне держался спокойно. Большой поддержкой ему в его горе были многочисленные письма от друзей и сотрудников по христианскому студенческому движению, пришедшие не только из многочисленных городов России, но и из-за рубежа.

Похороны Валентины Георгиевны пришлись на Троицкую субботу. Много позже, уже приняв сан, отец Владимир встретил одного человека, рассказавшего ему историю своего обращения к Богу.

Однажды в весенний день он шел по Москве и встретил похоронную процессию. Хоронили молодую женщину. Все провожавшие ее в последний путь были одеты в белые или светлые одежды и пели радостные песнопения. Никакого уныния и скорби на лицах не было. Это так поразило рассказчика, что он пошел вслед за гробом на кладбище. Перед погребением много молились и говорили речи. Особенно его поразила речь молодого супруга ушедшей. Такое необычное отношение к смерти заставило рассказчика задуматься о смысле жизни и в конечном итоге привело его в лоно Православной Церкви.

Выслушав рассказ, о. Владимир сказал: “Это были похороны моей жены”.

Незадолго до смерти Валентина Георгиевна говорила с Марией Ивановной Гертер относительно молитв за усопших. Обе были баптистками, отрицавшими значение молитв за усопших. И вот на сороковой день Валентина Георгиевна явилась во сне Марии Ивановне, и та стала рассказывать ей о Володе, о детях, но она сказала:

— Это не то, а вы молитесь за меня? Молитесь, молитесь, это нужно.

После смерти Валентины Георгиевны заботу о детях взяла на себя Мария Алексеевна Жучкова. Она всегда была православной, и в 1925 г., когда Владимир Амбарцумович стал приближаться к православию, она стала крёстной матерью его детей. Сам же Владимир Амбарцумович посвятил себя целиком кружку. Жил он в основном на средства кружка, лишь иногда на короткое время устраиваясь на какую-нибудь работу, не требующую от него большой отдачи. Подмогой были ежемесячно получаемые посылки от имени Всемирного студенческого христианского движения из Америки. Посылки, как продовольственные, так и промышленные, были двух типов: именные, приходившие на имя конкретных активистов христианского движения, и приходившие на имя ХСК. Последние выдавались ЦК особо нуждающимся членам кружка.

До 1924 г. Христианское студенческое движение и отдельные кружки были зарегистрированы и пользовались всеми правами легальных общественных организаций. Официально по городу развешивались афиши, отпечатанные в типографии, с объявлениями о публичных лекциях на религиозные темы, снимались дома и залы для лекций, в том числе и в Политехническом музее. В 1924 г. вся деятельность кружка была запрещена. Большинство руководителей движения были готовы выполнить требования властей, но Владимир Амбарцумович запротестовал:

— В такое бурное, сложное время мы не можем прекратить проповедь Слова Божия. Будем работать нелегально.

И работа кружка была продолжена нелегально. Также проводились занятия на частных квартирах. Также собирались членские взносы, на которые содержались активные работники кружка, в том числе и Владимир Амбарцумович. Также проводились съезды. Один из них состоялся в Ростове. Последний был летом 1928 г. Он проходил где-то в Подмоскowie.

Вслед за запрещением на кружок обрушились репрессии. Аресты, ссылки. Но в этот момент Владимир Амбарцумович чудом избежал ареста. Однажды он ночевал в доме Николая Евграфовича Пестова, активного члена ХСК, впоследствии известного в России духовного писателя. Ночью пришли чекисты. Следователь, проводивший обыск, не знал, что Владимир Амбарцумович является председателем ХСК, и, продержав его всю ночь, пока шел обыск, наутро арестовав Николая Евграфовича, отпустил Владимира Амбарцумовича. Рано утром Владимир Амбарцумович пошел по Москве от одних друзей к другим, но у всех в этот ранний час горел свет — шли обыски. Проходя по городу до открытия парикмахерских, Владимир Амбарцумович сбрил бороду и усы, постриг волосы, затем сменил обычные очки на пенсне. И в тот же день встретился на улице со следователем, арестовавшим Николая Евграфовича. Следователь не узнал его, хотя по прибытии в ГПУ он понял свою служебную ошибку, что отпустил руководителя студенческого движения, и выговаривал Николаю Евграфовичу, что тот не объяснил ему, кто такой Владимир Амбарцумович Амбарцумов.

После этого Владимир Амбарцумович полностью перешел на нелегальное положение. Он не имел постоянного места жительства. Ночевал у друзей, иногда снимал на короткое время какую-нибудь комнату. Нередко бывало, что, войдя в какой-нибудь дом, при выходе он одевал другую шапку, чтобы быть менее узнаваемым. А его дети, которые вместе с Марией Алексеевной Жучковой также не имели своего дома и жили в Подмоскowie,

молились об отце: “Господи, дай, чтобы папа опять был с бородой”.

Но несмотря на опасность положения Владимир Амбарцумович продолжает работу в кружке. В эти годы в кружках, в которых он непосредственно вел занятия, занимались: Николай Овчинников, впоследствии схииеромонах Нектарий, клирик собора г. Ельца; Валерий Поведский, умерший священником в г. Таллинне; Василий Евдокимов, будущий священник Ташкентской епархии; Сергей Утешев, впоследствии известный врач-хирург.

В середине двадцатых годов Владимир Амбарцумович под влиянием своих друзей православных сближается с православием. Он знакомится с известным московским священником о. Валентином Свенцицким и в начале 26-го года принимает православие. Он активно участвует в жизни руководимого о. Валентином прихода церкви св. Николая “Большой Крест”, что на Ильинке (храм не сохранился). Прислуживает и читает на службах, летом двадцать шестого года активно участвует в организации и осуществлении большого паломничества прихожан в Саров.

В 1927 г., по рекомендации о. Валентина, Владимир Амбарцумович едет в г. Глазов к преосвященному Виктору, епископу Ижевскому и Воткинскому (Островидову), который 4 декабря в Преображенском соборе рукополагает Владимира Амбарцумовича во диакона, а 11 декабря во священника. Через некоторое время о. Владимир переводится в Московскую епархию, где назначается настоятелем храма св. кн. Владимира “на горке” близ бывшего Ивановского монастыря. Там он служит до 1930 г. вместе с о. Сергием Барделиусом (впоследствии иеромонах Феодор, скончался в 30-х годах в заключении). В это время о. Владимир расходится с о. Валентином Свенцицким из-за крайних неповиновенческих взглядов последнего и становится духовным сыном старца Данилова монастыря архимандрита Георгия Лаврова. Отец Владимир был близок с епископом, впоследствии митрополитом, Мануилом (Лемешевским, † 1968), который ча-

сто служил в храме кн. Владимира, о. Сергием Мечевым (расстрелян в 1941 г.), с Сергеем Алексеевичем Никитиным, впоследствии епископом Калужским и Боровским († 1963).

В 1930 г., по завещанию своего друга о. Василия Надеждина, погибшего в лагере в Кеми († 19. 2. 1930), о. Владимир переводится настоятелем храма св. Николая, что у Соломенной Сторожки, в районе Тимирязевской академии. Его службы и проповеди собирали полный храм. Всегда было много молодежи, пел молодежный хор, велика была и его духовная паства. В этом храме с ним служил о. Михаил Шик, расстрелянный 27 сентября 1937 г.

В 1932 г. благочинный округа предложил духовенству определить свое отношение к заместителю местоблюстителя патриаршего престола митрополиту Сергию. Было предложено признать декларацию митр. Сергия от 1927 г. и почитать его как местоблюстителя. В случае несогласия с этим предлагалось выйти за штат, чтобы не попасть под запрет. В отличие от о. Валентина Свенцицкого, о. Владимир признавал иерархическую власть митр. Сергия, но сомневался в каноничности его местоблюстительства, хотя и не решался отрицать это его право, поэтому он решил выйти на покой.

Выйдя за штат, о. Владимир работает научным сотрудником в ряде научно-исследовательских организаций, занимается разработкой и конструированием различных приборов и установок, о чем имеются авторские свидетельства. Находясь на гражданской службе, о. Владимир продолжает активную духовно-религиозную работу, особенно среди молодежи. Он продолжает руководить своими духовными детьми, совершает службы в домах наиболее близких из них.

Сам испытал тяготы лишения, он разыскивает семьи репрессированных священников и организует им постоянную материальную помощь. В этот момент он сам имел неплохой заработок, значительную часть которого он отдавал неимущим. Кроме того, он прикрепляет своих духовных чад, имеющих достаток, к определенным

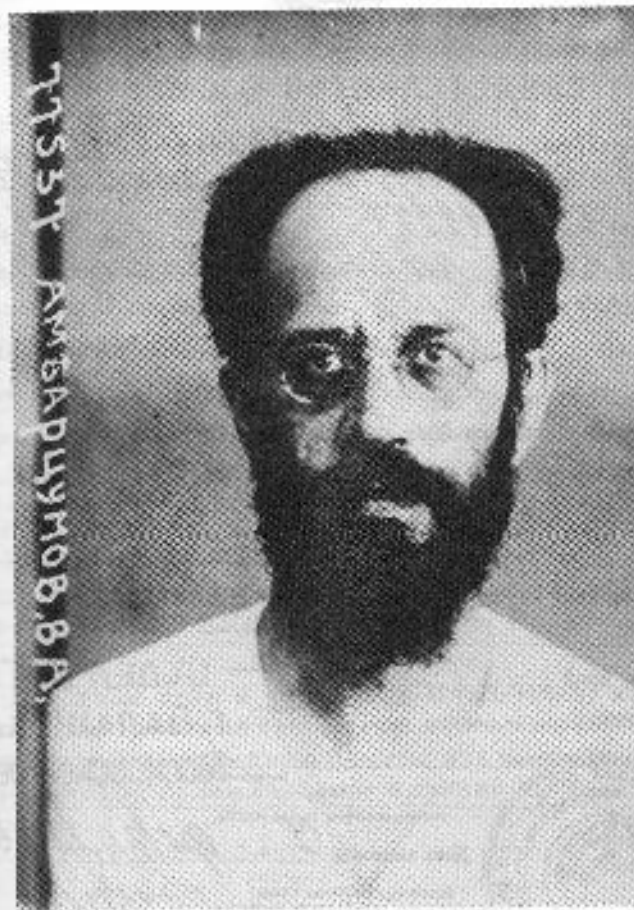
семьям лишенцев, требуя, чтобы эти семьи регулярно в строго определенный срок получали определенную сумму денег. Среди семей, которым помогал о. Владимир, были, в частности, семьи о. Михаила Соловьева, впоследствии архиепископа Тихвинского Мелитона († 1987), о. Сергия Сидорова, о. Василия Надеждина и др. Своей семье он оставлял самый минимум, не допуская никакого излишества.

Отец Владимир очень любил своих детей, но до зимы 34–35 года он не имел возможности жить с ними. Дети вместе со своей крестной матерью, Марией Алексеевной Жучковой, жили в Подмосковье, снимая комнаты то в одном, то в другом месте, а отец Владимир продолжал скитаться из угла в угол по своим московским друзьям. Иногда, войдя в чей-нибудь дом, он видел, что там и так много народа, и уходил, ища пристанища на ночь, в другое место. Соскучившись по детям, он ехал их навещать, говоря: “Я поехал в Лидино”.

Когда дети стали старше, он старался приезжать регулярно, хотя бы раз в неделю, занимаясь их воспитанием и образованием. Он читает с ними Слово Божие. С большим сыном, не имеющим возможности посещать школу, он занимается физикой и математикой. Полученных во время этих занятий знаний его сыну, когда он стал студентом-филологом, будет достаточно, чтобы подрабатывать себе на жизнь репетитором по физике и математике.

Отец Владимир обладал прекрасным музыкальным слухом и красивым голосом. Он любил петь духовные песни, особенно гимн “Непобедимое дано нам знамя”, аккомпанируя себе на фисгармонии. В молодости он играл и на скрипке. Он хорошо знал и любил церковные песнопения. Любимым его гласом был седьмой. Этим своим талантом он делился с детьми, обучая дочь пению и разучивая с ней песнопения октоиха.

С юных лет отец Владимир любил природу, бродить по лесу, слушать пение птиц. Он умел вторить пению птиц и на слух прекрасно определял, кто поет. Он мечтал иметь целое окно птиц.



Фотография из следственного дела



СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

Гражданин (ка) Амбарцумов
Владимир Амбарцумович
 умер (ла) 54 XI - 1937 число, месяц, год
тысяча девятисот тридцать
седьмю (фамилия и прописью)
 в возрасте лет, в чем в книге регистрации актов о смерти
 19 90 года Февраль месяца 14 числа
 произведена запись за № 1-6
 Причина смерти расстрел

Место смерти: город, селение неизвестно
 район
 область, край ОТДЕЛ ЗАГС
 республика Г. БАЛАШИХА
 Место регистрации Московской обл.
наименование



местонахождение органа ЗАГС
 Дата выдачи 14 Февраль 19 90 г.
 Заведующий отделом (бюро)
 записи актов гражданского состояния ИЗМУ

VI-ИК № 405036

МТ Гознака. 1988.

Свидетельство о смерти, выданное родственникам
через 52 года после расстрела

В апреле 1933 г. о. Владимир был арестован с обвинением в участии в контрреволюционной церковной организации. Фактически же арест был связан с непризнанием о. Владимиром декларации митр. Сергия 1927 г. По этому делу было арестовано более ста человек духовенства и мирян, непоминающих митр. Сергия, в том числе и большая группа бывших прихожан Соломенной Сторожки. Отец Владимир был условно осужден на три года ссылки, но по ходатайству АН СССР, где он в то время работал, был освобожден и оставлен в Москве.

8 сентября 1937 г. о. Владимир был арестован в третий, последний раз. После его ареста родственникам было сказано, что он осужден на 10 лет без права переписки. В конце 50-х годов, при получении справки о реабилитации, было сообщено, что он якобы умер 21 декабря 1943 г. от воспаления почек. В течение долгих лет дети и внуки молились Господу с просьбой узнать правду о последних днях жизни отца и деда. 3 ноября 1989 г. в Управлении КГБ г. Москвы родственникам было сообщено, что 52 года тому назад — 3 ноября 1937 г. — постановлением тройки отец Владимир был приговорен к расстрелу и 5 ноября того же года расстрелян.

Вместе с ним по одному делу были осуждены и расстреляны Владимир Алексеевич Комаровский, художник-иконописец, и Сергей Михайлович Ильин.

Духовные дети и ученики о. Владимира, миряне и принявшие духовный сан, на всю жизнь сохранили о нем светлую и благоговейную память, как об иерее, оказавшем большое положительное влияние на их духовное развитие.

* Никита — приемный сын Владимира Амбарцумовича, чуваш, из беспризорных, впоследствии нашедший родственников и уехавший на родину.

ВТОРИЧНОЕ ОБРЕТЕНИЕ СВ. МОШЕЙ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО

Слух о повторном обретении св. мощей преподобного Серафима Саровского чудотворца распространился в Ленинграде еще в конце декабря. Но официальное подтверждение этого последовало лишь в самый день Рождества Христова, 7 января (н. ст.) 1991 г., когда митрополит Ленинградский и Ладожский Иоанн после совершения Божественной литургии объявил духовенству и мирянам, что св. мощи преподобного действительно обретены вновь, на этот раз — в Казанском соборе, в фондах музея, до сей поры не выехавшего из здания кафедрального собора бывшей столицы. Тогда же было сообщено, что торжественное перенесение св. мощей из собора для временного помещения их в стенах Александро-Невской Лавры будет совершено в 16 часов в пятницу 11 января.

Утром в пятницу в город прибыл патриарх Алексей, с сопровождающими епископами, духовенством и мирянами. Церемония возвращения св. мощей началась после встречи в соборе патриарха, митрополита Иоанна, митрополита Ювеналия, еп. Арсения Истринского, еп. Виктора Подольского и еп. Евгения Тамбовского. Присутствовали братья Валаамской обители и монахини Иоанновского монастыря, что на речке Карповке (Пюхтицкое подворье в Ленинграде), а также духовенство епархии. Мирян, которым позволили войти в собор незадолго до начала церемонии, было необычайно мало. Значительная часть помещения храма, алтарную часть которого по-прежнему занимают экспонаты атеистического музея (в основном — св. сосуды и церковные облачения), оставалась не занятой. Основная экспозиция была отгорожена ширмами, и, таким образом, духовенство разместилось в центральной части собора, а верующие и корреспонденты — справа и слева от главного придела и, частично, в алтарной части (главный иконостас и иконостас левого придела в храме отсутствуют).

Затем на середину храма были вынесены из-за ширмы св. мощи в новой металлической раке примерно полутораметровой длины, предоставленной патриархией. Рака имеет две крышки, что позволяет, не открывая самые мощи, открывать для лобызания главу преп. Серафима.

После подписания официального акта возвращения был отслужен краткий молебен преподобному — первый за последние более чем 60 лет.



*Патриарх Алексей II прикладывается к мощам
преподобного Серафима Саровского*

По окончании молебна, в 17 часов 20 минут, на машине патриарха, мощи были перевезены в Александро-Невскую Лавру, где у лаврской надвратной церкви (ныне — дирекция Музея городской скульптуры) были встречены еп. Новгородским Львом с сонмом духовенства и мирянами. Здесь же был отслужен краткий молебен и крестным ходом св. мощи были внесены на территорию Лавры и в 18 часов помещены в Свято-Троицком Соборе, где и были совершены благодарственный молебен и Всенощное бдение. Храм был переполнен. Затем всем молящимся была предоставлена возможность лобызать св.

мощи. Крышка раки была для этого открыта. Ожидается, что весной нынешнего года св. мощи будут перевезены в Москву, а после — в Дивеево.

Из разговора с директором музея удалось выяснить, что о существовании в фондах музея мощей преп. Серафима было известно уже давно. Но до последнего времени оставались сомнения (теперь, впрочем, рассеянные) в их подлинности. Было сообщено также, что администрация музея не располагает документами, могущими пролить свет на то, когда и откуда поступили в фонды св. мощи преп. Серафима. (Это, по словам директора, касается и всех остальных мощей, возвращенных уже Церкви из Казанского собора — св. кн. Александра Невского и свв. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких). Из того же источника стало известно, что мощи преподобного сохранились хорошо. Полностью сохранилась глава преп. Серафима и все косточки скелета (следует помнить, какое огромное число частиц было отделено от мощей этого подвижника более чем за 20 лет, прошедших с момента его прославления в 1903 г. до закрытия его обители и исчезновения мощей).

Радостное событие, правда, не помогло пролить свет на два волнующих многих людей вопроса: когда же, наконец, кафедральный собор Петербурга опять станет главным храмом города, и когда же мы узнаем, мощи каких святых подвижников все еще скрыты от верующих в фондах столь странного теперь уже музея?

К. А.

Т. В. БУЗОВА

К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИИ МОЛОДЕЖИ РОССИИ К РЕЛИГИИ И АТЕИЗМУ

(на материалах Западного Урала)

Начавшийся с середины 80-х годов период гласности позволил определить реальное отношение российской молодежи к религии и атеизму, а следовательно, выявить тенденции духовного развития российского общества.

Первое, что необходимо констатировать, — это ложность утвердившегося в годы застоя тезиса об атеистичности российской молодежи. Это утверждение основывалось на данных многочисленных исследований. Действительно, и по нашим данным, процент молодежи, относящей себя к категории верующих, не превышал в Западно-Уральском регионе в 70–80-е годы 5 процентов.

Но индифферентное или даже негативное отношение к религии, в том числе и к христианству, парадоксально сочеталось с субъективной, нередко неосознаваемой идеалистичностью взглядов тех, кто определял себя в анонимных анкетах как “материалист” и “атеист”.

Нематериалистические ориентации проникали в годы застоя даже в такую идеологически “непорочную” среду, как комсомольские работники, люди, чьей профессиональной обязанностью являлась пропаганда атеизма и чья политическая карьера напрямую зависела от глубины их материалистических убеждений. Сошлемся на цифры.

В 1987 г. нами было проведено тестирование комсомольских работников г. Перми, областного центра с более чем миллионным населением, ответственных за проведение атеистической пропаганды в городе и области.

- 17% опрошенных допускали существование высшего духовного начала, создавшего мир и управляющего им.
- 13% полагали, что душа может существовать отдельно от тела.
- 56% считали, что религия приносит больше пользы, нежели вреда.

При оценке этих данных следует делать скидку на то, что какой-то процент опрошенных не был откровенен в своих ответах. Действовал по принципу: "Хотя тест и анонимный, но осторожность не повредит..." Следовательно, можно предположить, что процент симпатизирующих нематериалистическим ценностям был еще выше.

Для сравнения приведем еще некоторые цифры. В том же 1987 г. было проведено тестирование других категорий молодежи города Перми — учащихся, студентов, рабочих, деятелей искусства. Среди них процент нематериалистически ориентированных был еще выше. Так, больше половины опрошенных допускали существование высшего духовного начала либо не отрицали такой возможности. 30% опрошенных допускали, что душа может существовать отдельно от тела и обладает бессмертием.

В этом смысле Западно-Уральский регион не представлял исключения. Еще в 1986 г., по данным научно-технической конференции "Актуальные проблемы неомистицизма", от 15 до 20 процентов представителей студенчества, интеллигенции, опрошенных в различных городах страны, были ориентированы на нематериалистические ценности.

Почему разочарование в ценностях, пропагандируемых официальной идеологией, не привело к всплеску интереса к христианству? Одна из причин этого — крайняя сложность доступа информации о христианском вероучении.

Положение изменилось в т. н. перестроечный период, давший возможность христианским проповедникам выйти с широкой проповедью к людям, в том числе и через средства массовой информации. Анализ массового сознания показывает, что отношение к христианству стало намного более благожелательней. Рушатся стереотипы: "религия — опиум народа", "верующие — отсталые, ущербные люди" и т. п. Но мировоззренческие основы христианства по-прежнему остаются неизвестными для большей части молодежи.

Приведем данные наших наблюдений. Современная ситуация позволила христианским миссионерам выходить в молодежные аудитории вне церкви с проповедью. Так, за 1990 г. более 400 студентов различных специальностей Пермского политехнического института прослушали проповеди молодых христиан веры евангельской. В целом, реакция на услышанное была доброжелательной. Огромным спросом пользовалась предлагаемая религиозная литература. Однако, ни один из студентов не воспользовался приглашением посетить молитвенные собрания.

Об отношении молодых людей к христианству говорит характер наиболее типичных вопросов, звучавших в этих аудиториях. Приведем некоторые из них: "Как можно верить в Бога, если религия давно опровергнута наукой", "Кто создал Бога", "Что дает религия в земной жизни", "Кто такой Христос"?

Знания о религии почерпнуты большинством из пропагандистской литературы. Так, из 400 человек лишь двое знакомы с Библией.

Среди вопросов и реплик не было ни одной, выражавшей сомнение в морально-этической ценности христианства. Но интерес к сути христианства, к проблемам богопознания проявляли единицы. К примеру, были такие вопросы: "Где можно обрести силы, чтобы сохранить себя", "Как обрести веру", "Как обратиться к Богу, если я хочу это сделать"? Не исключено, конечно, что эти проблемы так или иначе переживаются многими молодыми людьми внутренне. Несомненно и то, что встречи с христианской молодежью оказали влияние на мировоззренческие ориентации молодежи, ломая сложившиеся стереотипы мировосприятия.

Ломка отношения к религии идет и среди атеистически настроенной молодежи. К сожалению, мы пока не располагаем данными социологического исследования, но можем привести данные по анализу недавно проходившего в Перми (1990 год) семинара пропагандистов атеизма.

Сетования на изменение политики государства по отношению к религии и церкви, типа “Почему нет управы на средства массовой информации, открыто пропагандирующие позитивные стороны деятельности религиозных организаций”, “Почему так много выступлений творческой интеллигенции по телевидению с богоискательскими репликами” отнюдь не определяли общего настроения участников.

Признание социальной значимости религии и церкви, претензии к КПСС и советской власти, допустившим репрессии по отношению к верующим, критика законов, ставивших церковь в неравное положение, — таков был определяющий круг поднимаемых проблем.

Однако, и здесь прослеживалась уже отмеченная нами тенденция: признание социальной значимости религии и церкви и непонимание, незнание и даже боязнь мировоззренческих основ религии.

Надо отметить, что нередко сами православные служители при встречах с народом вне церкви не касаются мировоззренческих вопросов, сосредоточивая внимание на раскрытии социальной практики религиозных организаций. Сошлемся на такой факт. Ни один из священнослужителей города Перми не дал согласия участвовать в дискуссии с философами по проблеме “Есть ли Бог?” (ноябрь 1990 г.).

Гораздо большую активность в пропаганде мировоззренческих основ христианства проявляет протестантская молодежь.

Каковы перспективы христианской проповеди в России? Духовный голод российской молодежи несомненен, несомненен и интерес среди определенной части молодых, прежде всего, студенчества и интеллигенции, к религиозной проповеди и литературе. Однако, нигилизм, усугубляемый ситуацией небывалого после войны экономического кризиса, политической нестабильности, низвержением пусть ложных, но все-таки идеалов, касается не только отношения к официальной идеологии, но и отношения к религии.

Рост насилия в самых разных его проявлениях, в том числе и в виде немотивированной преступности, говорит о том, что общество нуждается в очень сильном духовном врачевателе. Видимо, не одному поколению христиан придется потрудиться, чтобы возродить в массовом сознании российского общества общечеловеческие принципы добра и ненасилия.

Пермь, 1990.

Письмо в редакцию

Уважаемый Никита Алексеевич!

Спаси Вас Господи за вдохновенный последний 159-й номер "Вестника". Самое тревожное событие в церковной жизни России последнего времени, это открытие "Зарубежным Синодом" своих приходов на территории нашей Церкви. Мы очень любим Ваш журнал и с нетерпением ждали очередного номера, потому что были уверены — Вы не сможете не откликнуться на это горестное событие. Очень рады, что Вы заняли такую позицию. Это поразительно! Всю жизнь прожив вне России, в трудный момент ее церковной жизни Вы смогли очень глубоко и, главное, изнутри взглянуть на проблему, дать ее краткий, почти исчерпывающий анализ и, что очень важно, авторитетным голосом Вашего журнала призвали "Зарубежный Синод" еще раз подумать о своих действиях или, вернее, одуматься. Совершенно согласны с Вами, что деятельность "Синода" носит явный раскольнический характер, что оправдание этой деятельности основывается "на грубой исторической неправде и на богословском наивнейшем или умышленном заблуждении", что "сергианское" большинство пострадало так же, как и несогласные с митр. Сергием. Но самое печальное в Послании "Синода" это косвенно, но откровенно и явно выраженное (чудовищное!) мнение о безблагодатности священноначалия Русской Поместной Церкви. О богословской несостоятельности этого утверждения Вы сказали. Но от имени моих друзей и знакомых, братьев и сестер о Господе, которые всю сознательную жизнь отдали Церкви, не могу не задать вопроса: так значит десятки миллионов людей, рискуя свободой, работой, семьей, иногда жизнью, в течение 70 лет вавилонского пленения ходившие в церковь и приступавшие к таинствам, ходили и приступали напрасно? Можем только по-детски сказать: приезжайте и посмотрите в глаза этим людям, оставшимся верными Церкви-Матери.

Возражать же что-либо подробно считаем бесполезным, как бесполезными оказались бы и споры церковно-политического характера. "Вестник", кстати, раньше об этом немало и хорошо писал. Действительно, как Вы пишете, Церковь у нас сейчас нуждается в помощи зарубежья. И Зарубежная Церковь, которая всегда претендовала на выражение истинно православной точки зрения, на истинно православную позицию, наконец, на единственную выразительницу интересов гонимой Православной веры в России, в важный исторический момент в каком-то ослеплении начинает действовать во вред нашей Церкви. И оказалось, что "Вестник", никогда не претендовавший на такую роль, острее, точнее почувствовал нужды русского Православия, чем "Зарубежный Синод".

Может быть, нам особенно больно говорить об этом, потому что мы принадлежали к числу "апологетов карловацких позиций", как выразился в том же номере "Вестника" Д. Поспеловский. И мы до сих пор искренне благодарны "Зарубежному Синоду" за его издательскую деятельность, за его помощь книгами. Помню, как пришло "Добротолюбие" (изд. Джорданвиль), которое буквально перевернуло жизнь некоторых из нас. Но не оттолкнуло от Церкви, а воцерковило. И вот мы с болью и недоумением читаем "Послание". Что на него ответить нам, бывшим "апологетами"? — Только то, что "Зарубежный Синод" потерял самых искренних своих друзей и что, как нам кажется, вообще потерял неизмеримо больше, чем приобрел. И все же, обращаясь к Вам, Никита Алексеевич, нам хотелось бы присоединиться к Вашим словам. Пафос Вашего обращения — "Да не будет!" И к этим словам готова присоединиться вся Церковь в России. Да не будет нового раскола, да не будет отпадения "Русской Зарубежной Церкви" от Вселенского Православия.

Позвольте еще сказать, что самое скучное в журналах и газетах обычно передовицы и колонки редактора. Но о Вашем журнале этого не скажешь. Получая очередной номер, в первую очередь читаем краткое, но всегда глубокое "От редакции" с Вашей подписью. Да хранит Вас

Господь! Господь да благословит деятельность всех сотрудников и авторов "Вестника". С любовью о Господе,

В.Л.К.

P. S. Пишу от имени своих братьев во Христе и друзей из Москвы, Ярославля, Владимира и Петербурга. Мы не группа, а очень разные люди в разное время обменявшиеся мнениями относительно всего написанного. (Если кому-нибудь из читателей это важно, то "мы" — это около пятнадцати человек). Еще раз с любовью о Господе и Христовой надеждой на возрождение Православия на нашей многотрадной Родине.

ПЕРЕПИСКА МЕЖДУ в.л. ИОАННОМ ШАХОВСКИМ И о. АЛЕКСАНДРОМ МЕНЕМ

Ваше Высокопреосвященство
дорогой Владыко!
Поздравляю Вас с праздником Рождества Христова.
Прошу молитв

Прот. А. Мень
8 янв. 1979

Всечестнейший и дорогой о. Александр, благодарю Вас за Ваше доброе приветствие и пожелание. Оба письма дошли. Если бы я когда собрался в места московские, где увидел свет сей земли благословенной, несомненно захотел бы повидать Вас и навестить Ваш Семхоз (сколь понимаю, это Семенное хозяйство?). Очень нужное, для страны и для души, место. Все мы работники в наивысшей квалификации этого дела... А к Моск. Дух. Академии это совсем подходит, это как раз "Семенное Хозяйство".

Недавно я получил хороший фотографический снимок — Крестный ход вокруг одного из северных храмов России. Какие хорошие, чистые лица, отсвет жизни настоящей на них и, словно, внутрь смотрят себя. И два священника — еще молодые (лет по 35–40), тоже молитвенно идут. Это хороший подарок мне родины земной — поглядеть на ее лица. Прошу Господа благословить вас всех, тружеников дела Его... А если будете посланы (с какой-либо делегацией М. Патриархии) в С. Ш. — надеюсь, встретимся. Впрочем, думаю, главное дело Ваше — не братски-дипломатические разговоры с иностранцами в разных странах, а кормление детей своих, слетающих к Вам. Вам дал Господь этот дар хождения не среди

отвлеченностей (хотя бы самых священных), но среди лиц бессмертных... (В юности моей много утешало в этом именно меня мое священство).

Надеюсь, я правильно разобрал Ваш адрес на конверте, и письмо дойдет без проволочек.

Обнимаю Вас и желаю сил и радости в служении Вашем. И дому Вашему мир.

С любовью.

+ А. Иоанн
1 февр. 1979 г.

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко!

Был глубоко тронут Вашей открыткой и молитвенной памятью о маме. По удивительному "совпадению", за несколько дней до смерти, она читала одну из Ваших старых, еще довоенных брошюр и очень ею восхищалась. Вообще, она прочла у Вас все то же, что и я. Мне трудно оценить — чем я ей обязан, с того дня, когда восьмимесячным младенцем привезла меня крестить — в Загорск. Тем самым она как-бы отдала меня под покровительство преп. Сергия, которое ощущаю и теперь, на пятом десятке лет. Еще в детстве прочел я о нем лекцию Ключевского и осознал, что нужно делать (единое на потребу). Возвращать незаметно те духовные богатства, которые нам завещаны. В этой глубине посевы могут взойти еще не скоро, но, как сказал апостол: "один насадил, другой поливал, а взрастил Господь". И то, что преподобный не замыкался в своем лесу от проблем жизни (тогдашних), тоже послужило мне уроком. Эта сторона поразила меня и в Вашей "Биографии юности", которая свидетельствует, насколько автор ее был открыт к людям и течениям (это видно и в последующих этапах его трудов). В таких ключах стараюсь решать все и благодарю Бога, что нашел в Вас пример и молитвенника.

Посылаю Вам привет от родных сосен и елей, которые смотрят в мое окно (лес стоит здесь со времен преподающего).

Пусть пошлет Вам Господь сил и здоровья. Прошу архипастырского благословения.

Всегда Ваш

прот. А. Мень
16 марта 1979

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко!

Давно собирался написать Вам, радуясь тому, что отношения между нашими церквями нормализовались. "Биография юности" послужила еще одним стимулом. Она производит глубокое впечатление своим светом и гармонией, какой-то органичностью избранного пути, без резких ломок и ударов, хотя времена были кризисные. Меня всегда привлекал такой опыт, он казался глубоко подлинным, желанным — противоположным той болезненности веры, которая порой теперь культивируется под влиянием книг Кьеркегора да и вообще из-за невротической атмосферы века. Это я чувствовал и в других книгах Ваших. Читал все, кроме "Разговора о бессмертии". Читал и стихи Странника и думал, что ему пришлось быть отцом для скитальцев иных поколений (об этой Вашей заботе мне тепло писали).

Как-то я получил Вашу открытку и был этим тронут. Молитвенная связь такая драгоценная вещь. И она помогает. Я часто думаю, что держусь главным образом по молитвам других. Сил не всегда хватает. Бывает, что за неделю нет свободного часа сесть за стол. А при этом, я давно сузил рамки своего труда до пределов храма и дома.

Ваши замечания о книге по древним религиям весьма пронизательны. Что касается критики Писания, то я полагаю, что она давно должна получить права гражданства в православной литературе. И не просто как "уступка веку", а как необходимый элемент познания Библии. Без нее очень многое так и оставалось за семью печатями и рождало соблазны. Когда Вы говорите о духовном ядре этой истории, то больше всего оно видно в разделе о

пророках. Культурно же — исторический фон есть своего рода пролегомены к проблематике, читателю часто чуждой и малопонятной. Во всяком случае, книга менее “рационалистична”, чем многие современные католические труды. К слову сказать, для меня “рационализм” не отрицательное понятие (если, конечно, его не брать в узком смысле). Слишком много греховного и злого порождало обратное — иррационализм. Разум — дар Божий, и страсти наши — это утрата “света Разума”.

От души желаю Вам, дорогой Владыко, здоровья и долгих лет.

Прошу архипастырских молитв.

С любовью во Христе

*прот. А. Мень
26 июля 1979 г.*

Ваше Высокопреосвященство, досточтимый Владыко! Поздравляю Вас с праздником Рождества Христова. Всегда с любовью думаю о Вас, о Ваших трудах и удивительном жизненном пути. Дай Бог Вам и дальше оставаться светильником Церкви, чтобы Ваш голос был свидетелем ее высшей Правды. Ваше руководство по пастырству, хотя и давно написано, но продолжает играть роль для многих, кто начал и кто проходит путь служения.

Прошу молитв.

*Ваш прот. А. Мень
27 дек. 1979 г.*

[Из письма архиеп. Иоанна к Н. А. Струве.

Конфид. посылаю Вам строки о. А. Мень. Очевидно, он тут говорит о входе в Самиздат моей книги (времен архимандритства моего европейского) “Философии Православного Пастырства”. Большая часть этой книги вошла в Сборник “Надежда”, кн. 1-я, Зои Крахмальниковой, что переиздан “Посевом”. Сей труд “вернулся в зарубежье”, как советский Самиздат...

12 янв. 1980]

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко!

Еще раз воспользовался случаем написать Вам не по почте, а с оказией, чтобы можно было говорить, не оглядываясь на бдительную цензуру.

Рискнул Вас побеспокоить вот по какому поводу: больше 15 лет назад я написал для новоначальных две книги, одну о Христе, другую о православном богослужении. Они разошлись по России в сотнях списков, ввиду явной нехватки у нас книг такого содержания. В 1968 и 69 гг. брюссельское издательство “Жизнь с Богом”, которое и сейчас занимается апостольской и экуменической деятельностью, издало их (каждая книга имела два тиража за это время). Сейчас назрела потребность написать эти книги в новом ключе, для более подготовленного читателя. Об этом мне настойчиво говорили многие (как епископы и священники, так и миряне). Я последовал их совету. И вот теперь, по милости Божией, обе книги готовы (о Христе, кажется, уже в печати). Поскольку мне, православному автору, приходится, в силу ряда причин, публиковаться в католическом издательстве, мне очень было бы ценно иметь небольшое предисловие *православного* иерарха или богослова. Издатели снабдили первое издание книги о богослужении краткой преамбулой православного епископа, имени которого не назвали. Так вот: сейчас я осмеливаюсь обратиться к Вам с этим вопросом. Не могли бы Вы написать хотя бы несколько строк от своего имени? Александра Николаевна Чиликина писала мне и передавала благосклонный отзыв Ваш о моих опусах. Это-то и ободрило меня и побудило написать Вам. Если Вы сможете — я буду Вам бесконечно признателен. Ваше имя для многих имеет значение авторитетное. Практически у меня нет возможности списаться с издательством. Остается только просить Ваше Высокопреосвященство написать им в Брюссель. Они смогут прислать Вам копию рукописи или гранки. Если книга о Христе уже издана, то — хотя бы — не-

сколько слов к книге о богослужении. Я ее отправлю им вскоре.

Прошу Ваших архипастырских молитв,

прот. А. Мень
16. 2. 1980

P. S. В отличие от прежних изданий, эти планируется выпустить под моим именем. Об о. Д. пока ничего нового не известно.

Дорогой о. Александр,
близится Пасха... Троекратно обнимаю Вас и всех близких Ваших:

Христос Воскресе! "И мертвый ни один во гробе" — для чистого ока веры и сердца очищенного... Получил я месяца три тому назад и на днях весть о Вас. И прошу Господа укрепить все Ваши пути по Его земле... Охотно, с радостью, что в силах, исполню, "ad majorem Gloriam Dei", как все мы хотим (и как дается нам радость — творить)...

Сейчас у меня пару дней прогостил в Калифорнии находящийся (ненадолго, "но с вдохновением"), горячий сердцем московский житель (о Москве помышляющий с любовью), бодрый, для своих 65-ти лет, друг Шаврова историка. Он с большой теплотой рассказал мне про покойную Вашу мать, близких и Вас и Ваши пути... Он еще удивлялся, как Вы все успеваете делать, помогать и ближним, и ближним-дальним. Это бывает, когда преломляется рыбка наша и хлебец... Да будет так в жизнях наших. И тех, кого мы поминаем пред Лицом Господа.

С любовью, Ваш

А. Иоани

Иногда ночью слушаю интересные передачи Московской Радиостанции — морякам Севера дальнего, — их разговоры, приветы близких, утешение их музыкой, песнями... Хорошие передачи. Нужно людям — укреплять дух плавающих и путешествующих среди льдин и холода мира. Человечное это дело.

Не знаю, где сейчас живет (и жив ли, вообще) приезжавший несколько лет назад в Париж глубокий старец К. С. Р.* (быв. пчеловод). Он жил — некогда — в квартире писателя Пришвина, а после смерти его вдовы, может быть, и не живет там: [дан полный адрес]. Хотел бы сему доброму старцу сказать только "Христос Воскресе". В этом — вся любовь Божия и человеческая (он верит и в ту и в другую): он ранее ездил на могилу моего отца в село Матвейково. Храм там был, но "не работающий". У меня есть фотография части храма и около стены его три холмика: отца, его матери и ее сестры (от 20-х годов).

* Двоюродный брат наш Константин Сергеевич Родионов. Он жив и плодотворен и сейчас, на 97-м году пишет свои воспоминания. Пришвин написал о нем в рассказе "Заполярный мед".

26 марта 1980 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ О ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛУЖЕНИИ

Эту книгу московского протоиерея о. Александра Меня, выходящую в динамичном христианском издательстве "Жизнь с Богом", — не нужно комментировать. Она сама выразительно комментирует себя, раскрывает нужную для многих тему.

Ее можно было бы назвать "Богослужебным Катехизисом", — так внимательно автор касается всех сторон церковной молитвы, ведет читателя по всему кругу двухтысячелетних молитв Церкви Христовой, льющихя от земли к небу. Видно, как многого лишают себя те, которые не входят в эту волну общей молитвы и таинств веры, о которых говорит о. Александр.

Читателям его книги открывается возможность лучше понять вселенскую молитву Церкви и погрузиться в высокий мир ее символов и реальностей, ведущих нас от временного к вечности.

Мы все, люди, имеем дар коснуться сердцем и умом очищающего нас этого чудесного Бытия, Царства Божия,

— данного вере и любви. Отец Александр Мень избегает абстрактных терминов. Он говорит кратко и просто, языком понятным и точным.

Это *книга пастыря* и, добавлю, *доброто пастыря*. Он дает душам не только общие учительные истины, но и реальность самого Божьего дела в мире, как *нашего* дела — *быть открытыми благодати...* Пастырь Единый Господь Иисус Христос, чрез Своих добрых пастырей, ведет, укрепляет и утешает души, не только в области Московской, где живет автор этой книги, но и во всех областях мира.

Слова этой книги о служении человечества Богу, живые и нужные, пусть упадут не при дорогах суеты, не в терния страстей и не на камень бесчувствия, но на благодатную землю живых сердец.

Архиепископ Иоани Шаховской

ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ КИРИЛЛА ФОТИЕВА

В августе минувшего года в Мюнхене скончался от рака на шестьдесят втором году жизни протоиерей Кирилл Фотиев.

Имя это, широко известное в русском зарубежье, было небызвестно и в России: член уважаемых там журналов “Вестник РХД” и “Посев”, отец Кирилл воспринимался нашим сознанием как личность, связанная со столь почитаемыми на родине традициями Богословского св. Сергиевского института (оконченного им в 50-е годы). Священническая деятельность о. Кирилла проходила, в основном, в США и Южной Америке, но последние годы он провел в Мюнхене, ведя религиозные передачи на Радио Свобода...

В Мюнхене мы и познакомились — несколько лет назад. Точил ли уже тогда о. Кирилла недуг — не знаю, но казался он старше своих лет и был, как правило, утомлен, выглядел устал. С первой же встречи нельзя было не обратить внимания на своеобразие его личности, на антиномичные в ней начала: духовности и тонкого гедонизма, энтузиазма и, повторяю, усталости.

О чем было и говорить в Мюнхене, как не о Тютчеве, где столько прожил наш великий поэт, где и донныне здравствуют потомки его второй жены баронессы Пфелфели. Отец Кирилл превосходно знал тютчевскую поэзию и за бокалом вина обязательно вспоминал то или иное стихотворение. Любил Ахматову, Мандельштама, Г. Иванова.

В наш мюнхенский “карловацкий” приход не ходил: ездил в Зальцбург — к своему старому другу отцу Георгию (Сидоренко); только там я и видел его в храме, сосредоточенно молящимся в алтаре.

Знаток Италии, Греции, почитатель Вячеслава Иванова, о. Кирилл не был снобом, живо интересовался современностью, Россия всегда была в центре его внимания.

Уже больному, исхудавшему, измученному недугом и лечебными облучениями — я привез ему из Оптиной маленький бумажный складень, и — со слезами на глазах приложил он его к губам, жадно расспрашивал о церковной жизни в отечестве...

Умирание отца Кирилла было мучительно, но закончить этот некролог уместно строфой столь тоже почитаемого покойным Евгения Баратынского — из стихотворения “Смерть” (1828 г.):

Недоуменье, принужденье —
Условье смутных наших дней,
Ты всех загадок разрешенье,
Ты разрешенье всех цепей.

Ю. Кублановский
Мюнхен

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА СОПРОВСКОГО

Смерть, гибель близкого, литератора, друга — кажется особенно щемящей и драматичной не в глухую пору безвременья, когда и живые представляются заживо погребенными, а в дни надежды, на пороге столь чаемого и возможного воскресения родины.

Воскресение это, разумеется, не однодневное, долгое, со срывами и откатом, жизнь же человеческая еще более хрупка и обрывна.

Владимир Кормер, Венедикт Ерофеев, Александр Величанский, а вот теперь и тридцативосьмилетний Александр Сопровский — невосполнимые утраты последних лет.

За границей, как ни парадоксально, Сопровский шире известен читателям, чем в отечестве: не имея возможности там печататься, он в брежневщину и позже не боялся публиковаться в органах русского зарубежья; его стихи, статьи и эссе контрастно выделялись здесь своею своеобразной талантливостью, почвенностью и здравым смыслом. (См., например, превосходную статью “Вера, борьба и соблазн Льва Шестова”. *Вестник РХД*, №136).

... Так случилось, что после восьмилетнего перерыва мы встретились с Александром именно на открытии выставки *YMCA-Press* в московской Иностранной библиотеке. Саша оказался не из тех, кто “нашел себя” и социально вписался в перестроечные процессы: по-прежнему изгой, сторож, он жаловался, что в толстых журналах “те же люди”, что печатают “все ту же команду”, что “человеку со стороны” публиковаться чрезвычайно сложно...

Сопровский хорошо писал, верно мыслил, хотя литературное слово, быть может, слишком плотно соединялось в его сознании со словом политическим, публицистическим; в этом плане, Александр наследовал традиционным убеждениям русской интеллигенции. Тем не менее, его опыт, его сознание были обогащены и “Вехами”, и русским религиозно-философским насле-

дием. Кажется, он стоял на пороге синтеза: этического с культурным, религиозного с эстетическим. В свинцовые годы он много сделал — и в публицистике, и в поэзии, но еще более ожидалось от него в будущем, и теперь, когда так велик дефицит бескорыстных работников на ниве культурной и общественной жизни. Но судьба распорядилась по-своему, в конце декабря 1990 г. Александр погиб под автомобилем.

Человек бескорыстный, безытнй, изо дня в день живший лишь надличными внеэгоистичными интересами, Александр Сопровский был личностью, укорененной именно в тех "полуподпольных" условиях: это тип литератора, москвича, "человека из самиздата", чье бытие — служение правде, чья деятельность — служение Высшей истине.

Как больно, что Александра Сопровского уже нет в живых, без него Москва сделалась сиротливее.

Вечная ему память.

Ю. К.
Мюнхен

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции — Н. Струве 3

БОГОСЛОВИЕ, ФИЛОСОФИЯ

Евангельские образы. Благовестие св. евангелиста
Марка — *еп. Григорий Лебедев*..... 5

■ **Вокруг о. Павла Флоренского**

Письма из Соловков — *свящ. Павел Флоренский*..... 33

Материалы из следственного дела 71

Записка о старообрядчестве — *свящ. Павел Флоренский* 79

Священство Павла Флоренского — *П. В. Флоренский*... 84

П. А. Флоренский и "Новое религиозное сознание" — *Н. Бонецкая* 90

Наука и религия во взглядах П. А. Флоренского
— *А. Паршин*..... 113

О границах искусства у Вяч. Иванова и о. Павла Флоренского — *А. Шишкин*..... 118



Владимир Соловьев и его югославянские друзья
— *И. Голенищев-Кутузов* 141

Русская икона в восприятии Теоф. Готье — *В. Лепахин* 155

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

Невидимки (из 5-го Дополнения — "Бодался теленок с дубом"): *Н. И. Столярова — А. Солженицын*..... 167

■ **К столетию О. Э. Мандельштама**

Анкета "Вестника": *С. Аверинцев, Б. Гаспаров, Ю. Кублановский, Ш. Маркин, О. Николаева, Н. Струве, Б. Филитов, Гр. Фрейдин*..... 187

Судьба Мандельштама — *Н. Кишилов (1964)*..... 213

Из книги "Введение в поэзию Манделъштама"
 — Гр. Беневич, Арк. Шуфрин.....221
 К выходу в свет книги О. Манделъштама "Камень"..... 251
 Манделъштам в Париже — Н. С.....255



А. Богословский
 — Заметка о четверостишии А. Ахматовой
 — Анкета Н. Гумилева 258

СУДЬБЫ РОССИИ

Краткое жизнеописание о. Владимира Амбарцумова
 (1892–1937) 261
 Вторичное обретение св. мощей преподобного Серафима
 Саровского — К. А.274
 К вопросу об отношении молодежи России к религии
 и атеизму — Т. Бузова277
 Письмо в редакцию 282
 Переписка между еп. Иоанном Шаховским и о. Алек-
 сандром Менем 285
 Памяти прот. Кирилла Фотиева — Ю. К. 293
 Памяти Александра Сопровского — Ю. К. 295

SOMMAIRE

Editorial — N. Struve 3

THEOLOGIE – PHILOSOPHIE

Méditations sur l'Évangile selon saint Marc — évêque Grégoire
 Lebedev 5

■ **La vie et l'œuvre du P. Paul Florenski**

Lettres de captivité — P. Paul Florenski 33
Extraits du "Dossier d'instruction" de Paul Florenski 71
Note succincte sur les vieux-croyants — P. Paul Florenski 79
Le sacerdoce du P. Paul Florenski — P. V. Florenski 84
Paul Florenski et la "Nouvelle conscience religieuse"
 — N. Bonetskaya 90
Les sciences et la religion dans la pensée du P. Paul Florenski
 — A. Parchine 113
Des limites de l'art chez Viatch. Ivanov et Paul Florenski
 — A. Chichkine 118



Vladimir Soloviev et ses amis yougoslaves
 — I. Golenichtchev-Koutouzov 141
L'icône russe dans les écrits de Théophile Gautier — V. Lepahine 155

LITTERATURE ET VIE

L'escorte invisible : Natalia Stoliarova — A. Soljénitsyne
 ("Le chêne et le veau" – 5^e Complément) 167

■ **Centenaire de Ossip Mandelstam**

Enquête du "Messenger" : S. Averintsev, B. Gasparov, Ju. Koub-
 lanovski, Sh. Markish, O. Nikolaeva, N. Struve, B. Filip-
 pov, Gr. Freidine 187
Le destin de Mandelstam — N. Kichilov (1964) 213

<i>Extraits du livre "Introduction à la poésie de Mandelstam"</i>	
— Gr. Benevitch, Ark. Choufrine	221
<i>Mandelstam édité en URSS : "La Pierre" (Léningrad 1990)</i>	251
<i>Mandelstam à Paris</i> — N. S.	255



A. Bogoslovski	
— <i>A propos d'un quatrain de A. Akhmatova</i>	258
— <i>Réponse de N. Goumilev à une enquête officielle (1919)</i>	259

DESTINEES DE LA RUSSIE

<i>La fin tragique du P. Vladimir Ambartsumov (1892-1937)</i>	261
<i>Nouvelle invention des reliques de saint Séraphim de Sarov</i>	274
<i>Les jeunes et la religion en URSS (résultats d'une enquête dans l'Oural)</i>	277
<i>Courrier des lecteurs</i>	282
<i>Correspondance de l'archevêque Jean Shakhovskoy avec le P. Alexandre Men</i>	285

In Memoriam

— <i>P. Cyrille Fotiev</i>	293
— <i>Alexandre Soprovski</i>	295

Издательство « YMCA-PRESS »
11 rue de la Montagne-Ste-Geneviève, 75005 Paris, F.

все художественные сочинения

А. С. П У Ш К И Н А

В ОДНОМ ТОМЕ

600 стр. (в две колонки)

с изд. Петрополис-Берлин
переплет. золотое тиснение

цена для читателей "Вестника":

200 фр. до 31 июля 1991

Заказы направлять в магазин

Les Editeurs Reunis,

11 rue de la Montagne-Ste-Geneviève, 75005 Paris, F.

Издательство « YMCA-PRESS »
11 rue de la Montagne-Ste-Geneviève, 75005 Paris, F.

Прот. Сергей БУЛГАКОВ

ХРИСТИАНСТВО И ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС

Впервые собрано все, что о. Сергей писал об избранном народе и об отношении к нему христиан

"Размышления о. Сергея Булгакова несколько не устарели: более того, они особенно нужны в наши смутные дни, когда к еврейскому вопросу слишком часто подходят упрощенно и плоско. Раскрывая религиозно-метафизические корни вопроса, о. Сергей возводит его до того уровня, где всякий антисемитизм изобличается как антихристианство и, тем самым, исключается" (из предисловия Н. А. Струве).

171 стр. цена : 80.- фр.

Переиздание :

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

(с изд. «YMCA-PRESS» 1946, 6 редких фотогр.)

166 стр., 80.- фр.

Издательство « YMCA-PRESS »
11 rue de la Montagne-Ste-Geneviève, 75005 Paris, F.

В. Н. ИЛЬИН

ЗАПЕЧАТАННЫЙ ГРОБ, ПАСХА НЕГЛЕНИЯ

Объяснение служб страстной Недели и Пасхи
Издание исправленное, с изд. *Ymca-Press* 1926 г.
Необходимый для всякого верующего ключ к великой тайне Голгофы и Воскресения

126 стр. цена : 80 фр.



архиепископ СЕРАФИМ (Звездинский)
(1883-1937)

ЖИТИЕ - ПИСЬМА - ПРОПОВЕДИ

(серия "Русские подвижники и праведники XX столетия")

201 стр. цена : 80.- фр.



архимандрит СОФРОНИЙ

О МОЛИТВЕ (сборник статей)

Духовный сын св. Силуана Светогорца, ныне настоятель православного монастыря в Англии, архим. Софроний рассматривает в этой книге разные аспекты молитвы: "молитва как нескончаемое творчество", "молитва как путь к познанию", "Молитва Иисусова" и т. д.

207 стр. цена : 75.- фр.

Заказы направлять в магазин

Les Editeurs Reunis

11 rue de la Montagne-Ste-Geneviève, 75005 Paris, F.

ВНИМАНИЕ !

С 1990 г. открывается подписка в СССР с прямой пересылкой из Парижа.

Подписная плата : 36 рублей в год (за 3 выпуска)

Представитель „ВЕСТНИКА“ в СССР :

Богословский А. Н.
Проспект Мира, д. 110/2, кв. 291,
129626 Москва.

■ ■ ■

ПРЕДСТАВИТЕЛИ « ВЕСТНИКА » на Западе

в Америке (West) :

Mrs Olga Hughes-Raevsky, P.O. Box 1207, Berkeley, Ca 94701, USA
Alexander Dorman, 321 Warick Str., Jersey City, N. J. 07302 U.S.A.

в Канаде :

«Parish News», 1175 A rue de Champlain, Montreal, P.Q. H2L 2R7

в Англии :

«Aid to the Russian Christians», P.O. Box 200, Bromley, Kent, BR1 1QF

ACHEVÉ D'IMPRIMER
LE 10 MAI 1991
PAR L'IMPRIMERIE
DE LA MANUTENTION
A MAYENNE
N° 170-91

Русское Студенческое Христианское Движение за рубежом имеет своей основной целью объединение верующей молодежи для служения Православной Церкви и привлечение к вере во Христа равнодушных к вере и неверующих. Оно стремится помочь своим членам выработать христианское мировоззрение и ставит своей задачей подготовить защитников Церкви и веры, способных вести борьбу с современным атеизмом и материализмом.

Р.С.Х.Д. утверждает свою неразрывную связь с Россией. Наша принадлежность к русскому народу и к русской православной Церкви налагает на нас духовные обязательства, независимо от того, мыслим ли мы себя временными изгнанниками-эмигрантами или решили связать свою жизнь с другой страной. Подлинная русская культура неотделима от Православия: поэтому в хранении и продолжении ее мы видим наш долг. Мы видим наш долг также в свидетельстве перед миром о подлинном лике России, в напоминании о страданиях русского народа.